U 316/388

316
388

# КОГДА НАЧАЛЬСТВО УШЛО...

1905—1906 г.г.

В. Розановъ.

С.-ПЕТЕРБУРГЪ
MCMX

1910

# КОГДА НАЧАЛЬСТВО УШЛО...

Всесоюзная
БИБЛИОТЕКА
имени
В. И. ЛЕНИНА
32412-45.

2007053239

Типографія А. С. Суворина. Эртелевъ, 13

# ОГЛАВЛЕНІЕ.


СТРАН.

Предисловіе. . . . . V

## 1901 г.

Всемірная скука . . . . . 3
Homines novi . . . . . 13

## 1904 г.

Кислородъ и углеродъ въ исторіи . . . . . 31
Война и политическое творчество . . . . . 37
Лучшая жертва на алтарь отечества. . . . . 39
«Кабинетъ». . . . . 41
Въ тяжелый часъ исторіи . . . . . 50

## 1905 г.

Будьте справедливы. . . . . 57
Скорбныя мысли проф. Демьянова о Земскомъ Соборѣ . . . 62
Государство и общество . . . . . 68
Русскіе истор. портреты на выставкѣ въ Таврич. дворцѣ . 82
Женщины и представительство . . . . . 87
Историческій переломъ . . . . . 96
На митингѣ . . . . . 102
Среди анархіи . . . . . 123

## 1906 г.

Гамлетъ въ роли администратора . . . . . 145
О «переживаньяхъ» и «пережившихъ» . . . . . 152

| | стран. |
|---|---|
| Въ пасхальную ночь 1906 года. . . . . | 168 |
| Пѣгій человѣкъ. . . . . | 185 |
| Послѣднее похожденіе Кречинскаго . . . . . | 192 |
| На зарѣ парламента. . . . . | 197 |
| Въ Таврическомъ дворцѣ . . . . . | 209 |
| Левіоанъ шевелится . . . . . | 267 |
| Объ амнистіи. . . . . | 274 |
| Въ настроеніяхъ дня . . . . . | 290 |
| Ослабнувшій фетишъ . . . . . | 316 |
| Отчего лѣвые побѣждаютъ центръ и правыхъ . . . . . | 346 |
| Вниманію «трудовой группы» . . . . . | 356 |
| Въ русскомъ подпольѣ . . . . . | 364 |
| На судъ рабочихъ депутатовъ. . . . . | 398 |

**1907—1910 гг.**

| | |
|---|---|
| Вмѣсто заключенія . . . . . | 421—426 |

...прекрасно, прекрасно, я не спорю, что начальство необходимо какъ дымовая труба въ домѣ и самыя «нужныя» въ ней мѣста и комнаты... не спорю...

И всетаки...

Какая наступала восхитительная минута, когда бывало надзиратель отойдетъ отъ стеклянной двери нашего класса («пошелъ къ другимъ классамъ»), а учитель еще въ нее не вошелъ... Электричество, что-то лучше и быстрѣе электричества, пробѣгало по нашимъ спинамъ и плечамъ; и «Алгебра Давидова» летитъ черезъ двѣ парты и попадаетъ туда, куда ей нужно—въ затылокъ склонившагося надъ Кюнеромъ толстаго и лѣниваго ученика. Онъ вздрогнулъ, размахнулся и можетъ быть ударилъ бы ни въ чемъ неповиннаго сосѣда: но «несправедливость» предупреждена тѣмъ, что кто-то схватилъ его за волосы и пригнулъ къ задней партѣ... Теперь онъ парализованъ, безсиленъ и вращаетъ глазами, какъ Патроклъ, поверженный Гекторомъ. Въ другомъ углу борются «въ-рукопашную»,— по возможности безъ шума; летятъ стрѣлы въ потолокъ, съ мокрою массою на концѣ ихъ, чтобы повиснуть тамъ; каѳедра учителя старательно обмазывается чернилами, а стулъ посыпается мѣломъ... Кто-то «учитъ слова», если его сейчасъ спросятъ: но благоразумнѣйшіе пришпиливаютъ «слова» къ спинѣ товарища, впереди сидящаго, дабы «провести за носъ» учителя, всепонятно «болвана», и отвѣтитъ урокъ на «3—», зная его на «1+»...

Счастливыя минуты: ихъ одинъ я помню изъ поры ученья. Все остальное было скучно, бездарно, не нужно, антипедагогично. Но эта минута «безъ начальства», когда мы оставались одни... Она была коротка и геніальна. Я ее дурно описалъ: не всегда было именно то, что́ я передалъ. Бывало иначе. Но безусловно всегда пробѣгало *безконечное оживленіе по классу:* а, вѣдь, добрый читатель и всякій человѣкъ, не есть ли «величайшее оживленіе», безъ болѣе тѣсныхъ опредѣленій, что-то самое лучшее, самое счастливое, наконецъ даже самое добродѣтельное изо всего, что́ вообще случается въ исторіи и происходитъ въ жизни? Ибо оно есть именно *жизнь*, тоже «безъ болѣе тѣсныхъ опредѣленій»: и естественно, что самая высшая точка ея напряженія какъ «суммы движеній въ одномъ моментѣ»— и есть «главная добродѣтель всего»...

Всего на землѣ, въ царствахъ, городахъ, вездѣ, вездѣ..

Ну, а какое же «начальство» дастъ оживленіе, «позволитъ» оживиться... особенно въ «безконечность»-то?..

Поэтому, я думаю, всѣ люди притворяются, когда говорятъ, или даже кто-нибудь одинъ про себя говоритъ, что онъ «почитаетъ начальство»...

— Ну тамъ кухня, ну—дымовая труба...

— Необходимо! неизбѣжно!..

— Стройте, чортъ съ нимъ!..

Но—не болѣе. *Врождено* человѣку давать не болѣе pietät'a «начальству», вообще всякому, отъ столоначальника и...

Но міръ устроенъ «съ начальствомъ»: даже Солнце есть начальникъ солнечной системы своей,—планетъ, спутниковъ...

Склоняю голову, плачу... И говорю: даже въ солнечной системѣ это есть какой-то «первородный грѣхъ».

А кометы? Тѣ «залетаютъ» въ солнечную систему, пролетаютъ ее, и, е связанныя,[1] улетаютъ куда-то «въ глубь міра» уже рѣшительно безъ всякаго «начальства»...

Вотъ примѣръ. Это тоже природа. Уголокъ міра созданъ вовсе безъ «начальства».

И это—*человѣчно*.

Солнечная система всетаки безчеловѣчна; уже «павшая»... Кометы одинѣ въ мірѣ безгрѣшны, и, отъ этого, такъ рѣдко показываются въ нашъ грѣшный солнечный и земной міръ.

Человѣчность—это всегда одиночество и братство. Одиночество не затвора, не темницы, не кельи съ уставомъ, а просто «такъ», чтобы вокругъ меня былъ нѣкій поясъ свободной земли, свободной воды, свободнаго воздуха... И *братство* въ смыслѣ томъ, что, никѣмъ не тѣснимый, я никому и не врагъ, а всѣмъ другъ. Въ концѣ концовъ «свободны и человѣчны» были патріархи человѣчества въ Месопотаміи и Ханаанѣ, да «аввы»-отшельники Верхняго Египта (раннее христіанство). Вотъ—«кометы», каждая со своимъ путемъ. Все остальное «по грѣхопаденію» слагалось «въ системы» и строило себѣ начальство...

Чортъ бы его побралъ.

Человѣчность—братство, одиночество... И какъ *условіе* этого—благородство и невинность.

Люди,—знаете ли вы единственный и исключительный корень того, что вы всѣ безъ исключенія всѣ, рабы? Только одинъ: въ томъ, что вы всѣ не благородны.

Мы всѣ неблагородны.

Мы всѣ не невинны.

Отсюда «кухня» и «дымовыя трубы».

* * *

Ничего объ этомъ не умѣю сказать, кромѣ глубокаго вздоха.

* * *

Для меня несомнѣнно, что исчезновеніе «начальства», таяніе его какъ снѣга передъ солнцемъ... вѣрнѣе—передъ весною... начинается и всегда начнется по мѣрѣ возрожде-

нія въ человѣкѣ благородства, чистоты и невинности. Это—тотъ огонь, въ которомъ плавятся всѣ оковы.

И только въ немъ!

*Только въ немъ!*

Запомни это хорошо, человѣчество, дабы не маниться ложными призраками.

Не надѣяться ложно.

Не вѣрить ложно.

* * *

Благородство—это деликатность человѣка къ человѣку. Ясность души, покой ея. Правда устъ и поступковъ. Мужество.

Но душа всего этого—деликатность: вытекающая изъ какого-то глубокаго довольства собою, счастья въ себѣ... неоскорбленности: въ силу чего «не оскорбленный человѣкъ» не деретъ по спинѣ другого, сосѣда, дальняго, кого-нибудь,—словами, поступками, дѣяніями.

Но ужасъ исторіи и величайшее ея несчастіе, «первородный грѣхъ» всего, заключается въ томъ, что человѣкъ ужасно оскорбленъ...

Всѣ мы...

Всякіе...

И не можемъ этого забыть... Изгладить... И скрежещемъ зубами, и томимся, и ползаемъ...

И вотъ «выбираемъ себѣ начальство».

— Я не могу укусить сосѣда. Но если соединюсь съ другими и мы всѣ выберемъ себѣ начальника, съ дубиной и циклопа,—то я ближнему раскрою голову.

Мотивъ всѣхъ государствъ. Начиная еще отъ Кіаксара Мидійскаго...

* * *

Боже, если бы мы могли забыть *обиду*... Но мы никогда ея не забудемъ и не станемъ свободными.

* * *

Когда, лѣтъ шесть назадъ, я впервые плылъ по Женевскому озеру, мимо закрытыхъ синей дымкой Кларанса и Монтре... было часовъ 9 утра, и море, небо и вотъ этотъ воздухъ надъ озеромъ—все было сине, влажно и мягко... у меня шевельнулась мысль:

«— Боже, какіе дураки швейцарцы: нужно же соединить въ «кантонъ Женева» (зналь по географіи) такое огромное вмѣстилище береговъ!! Второй часъ плывемъ, Женева давно скрылась за горизонтомъ: а все еще тянется «штатъ Женева». И эти Clarence, и Veveu, и Montreux, такіе восхитительные, до того восхитительные, составляютъ *части* какого-то «кантона Женевы»... Возмутительно: да они—не «части», а прекраснѣйшее *цѣлое*... Вотъ какъ *я*... или *я съ своей семьей* (я плылъ съ семьей): и на кой чортъ имъ составлять «кантонъ Женеву», все равно какъ бы нашей семьѣ лѣзть на спину сосѣднихъ, сидящихъ на пароходѣ, буржуа... Боже, до чего глупо!»

И я сказалъ себѣ какъ бы *канонъ*:

«Сліяніе въ систему (солнце и планеты) не должно простираться далѣе, чѣмъ насколько охватываетъ глазъ съ самаго высокаго мѣста даннаго пункта, города, села и проч.».

Я думалъ по-русски: «съ колокольни или каланчи».

Сверхъ этого, дальше этого—грѣхъ. «Отъ лукаваго» и вообще «исторія грѣхопаденія».

Все бо́льшее — «неблагородство». Ни одинъ Пиоагоръ или Маоусаилъ мнѣ не докажетъ, что «нужно больше». Иначе, чѣмъ пунктами «грѣхопаденія»:

1) Что нужно сосѣду дать больше въ морду.

2) Что кулакъ тогда будетъ величиной съ домъ.

Но это явно «неблагородство»... Мотивы «отъ *зла*» могутъ быть, «отъ добра»—никакого мотива.

* * *

Кому мнѣ посвятить эту книгу?

Чиновники на нее обозлятся.

«Граждане» скажутъ:—«Наивно!»

И едва ли не всѣ:

— Даже политературно... Чортъ знаетъ, что: мечта, безуміе.

Поэтому я посвящу ее могиламъ... Не вѣмъ, по тѣхъ, кто въ 1905 году думалъ: «отъ колокольни до колокольни — не дальше».

Тѣмъ, кто, *по моему убѣжденію*, и были *одни* «гражданами будущаго вѣка»...

Невиннымъ, юнымъ и чистымъ.

**В. Розановъ.**

**Спб., 19 февраля, 1910 г.**

# 1901 г.

В. В. РОЗАНОВЪ.

# Всемірная скука.

31 декабря 1900 года.

## I.

Чѣмъ мы встрѣчаемъ новый вѣкъ?—Странно сказать,—всемірной скукой.

Можете ли вы указать на страну, на націю, на національную литературу или на какую-нибудь научную дисциплину, которая бы, такъ сказать, разсѣивала эту всемірную скуку, и заставляла всѣхъ, отъ океана до океана, произнести: „нѣтъ, не такъ ужъ скучно". Рѣшительно скучно—въ наукѣ, въ литературахъ, въ общественной жизни. Вы помните „Гугенотовъ"—и въ нихъ арію мужественнаго, честнаго, вѣрующаго солдата Марселя? Вотъ этого тембра голоса, этого тона, этого сурового закаленнаго лица, которое завтра пойдетъ въ битвы за „правую вѣру" -нѣтъ теперь нигдѣ. „Пропалъ человѣкъ"... Да нѣтъ, не человѣкъ пропалъ, но *всѣ* мы пропадаемъ, безусловно всѣ, съ нашими кой-какими талантишками, „призваньицами", силишками: ибо и въ томъ гомеопатическомъ размѣрѣ, въ какомъ они у насъ есть, они рѣшительно

ни на что ненужны въ характерно-гомеопатическое время.

Вы мнѣ укажите, какой бы принципъ не умиралъ на исходѣ XIX вѣка и при восходѣ XX? Принципъ государственности? Церкви? законности или даже своеволія? Замѣчательно, что когда мы называемъ даже два діаметрально *противоположные* принципа, какъ законъ и своеволіе, т. е. изъ которыхъ, казалось бы, хотя одинъ долженъ ярко жить, мы затрудняемся въ опредѣленіи, который изъ нихъ болѣе умеръ. Время Гизо, т. е. тридцатые годы, — да, это было время *законности;* конецъ прошлаго вѣка — это былъ взрывъ *своеволія*. Но всѣ равно мало надѣются теперь на революцію, какъ и на законъ. Даже понятіе, столь недавно еще универсально привлекательное, понятіе „эволюціи", безконечнаго „прогресса", рѣшительно никого болѣе не очаровываетъ, даже не занимаетъ.

— Я не хочу прогресса, я хочу умереть.

— Я не хочу прогресса, я хочу выпить рюмку водки.

На этомъ сходятся пессимистъ и оптимистъ.

Ни одинъ вѣкъ такъ не кончалъ, ни одинъ такъ не начинался.

Восемнадцатый вѣкъ влеталъ въ девятнадцатый на крылахъ революціи; семнадцатый закатывался въ лучахъ славы Людовика XIV; въ концѣ XVI уже бродили вопросы Лютера, и самъ Лютеръ, пламенный и угрюмый юноша, бродилъ по улицамъ Виттенберга; въ концѣ XV вѣка печатались знаменитые „инкунабулы", первопечатные фоліанты,—то молитвенники, то „возрождающіеся"

классики. И за этимъ дальше—свѣтло-зеленое „Возрожденіе“. Какіе люди, какое время, какое счастье!.. Но мы?.. Мы вступаемъ или, точнѣе, вползаемъ въ какое-то безконечное удушливое средневѣковье „труда, промышленности и образованія“.

Мы не воздвигнемъ пирамидъ, не откроемъ Америки, не родимъ Ньютона. Мы просто будемъ „образованы“ умѣреннымъ образованіемъ, на девять, на двѣнадцать вѣковъ; напишемъ еще Дренера или еще Бокля въ двѣнадцати томахъ,—да, вѣдь, Спенсеръ и началъ уже сочинять „Бокля въ 12 томахъ“, какъ Ѳома Аквинскій сочинилъ въ 12 томахъ катехизисъ. Эти ужасно скучныя книги, сыгравшія такую большую роль въ недавней европейской образованности, мнѣ иногда представляются чѣмъ-то въ родѣ Северина Боэція, который написалъ стихотворное „Consolatio philosophica“ и ввелъ одинъ разрушившійся міръ въ двѣнадцать вѣковъ предстоявшей „кухонной латыни“. Такъ называли средневѣковую латынь въ отличіе отъ латыни самихъ римлянъ. Бокль, Дреперъ, Спенсеръ открываютъ уму или вводятъ умъ въ какое-то необозримое сѣренькое пониманіе, сѣренькое мышленіе, сѣренькое устремленіе воли и сердца, которое потому именно и трудно побѣдить, что это просто „образованіе“ „образованныхъ людей“, въ которомъ не торчитъ никакой геніально-выдающейся или геніально-уродливой мысли, которую можно было бы или побѣдить, или ею восхититься. Прочелъ, усталъ и заснулъ.

Да, Mittel Alter, Средніе Вѣка „труда, промышленности и образованія“... Мнѣ иногда кажется,

что бѣсъ для вящшаго пересмѣянія нашего времени подсунулъ ему еще идею „сверхъ-человѣка“ (у Нитче). Ну ужъ „сверхъ-человѣческая“ эпоха и „сверхъ-человѣческіе“ герои...

— Такъ не выпить ли, въ самомъ дѣлѣ, водки?

— Или не умереть ли?

Нѣтъ, вѣдь хрупко только геніальное. Въ самомъ дѣлѣ, наблюденіе: геній въ здоровьи своемъ, въ настроеніи своемъ, въ созданіяхъ своихъ дрожитъ какъ слеза на рѣсницѣ Божіей: онъ вѣчно между „есть“ и „нѣтъ“. Паскаль и Ньютонъ были вѣчно больны; Собакевичъ былъ постоянно здоровъ. И въ творчествѣ ихъ есть, правда, что-то дрожащее: тусклое впечатлѣньице, которое никого бы не тронуло, генія заставляетъ извергать снопы характерно новаго творчества. Попробуйте вы измѣнить Собакевича. До революціи и послѣ революціи онъ ѣлъ бы все одного и того же осетра: до революціи съ хвоста, послѣ революціи - съ головы. Онъ живучъ какъ бацилла,—или, пожалуй, какъ живуче и устойчиво все сѣренькое.

Въ семидесятые года, вы помните, сколько было самоубійствъ: не удивляетъ ли васъ, что въ наше время совершенно прекратились эти столь характерныя „молодыя самоубійства“, такъ пугавшія, такъ волновавшія, и—увы, что̀ дѣлать,—такъ обѣщавшія? Теперь мы устоялись и отстоялись...

— Такъ рюмку водки?

— Да, ничего болѣе рискованнаго.

Оставимъ міръ, у насъ есть еще отечество.

## II.

Мертвая точка. Ну, скажите по совѣсти и положа руку на сердце, о чемъ, встрѣтившись съ другомъ, оставшись наединѣ съ братомъ, вы заговорите съ оживленіемъ и притомъ въ увѣренности, что гдѣ-нибудь во Владивостокѣ или въ Тифлисѣ другіе два друга или другіе два брата говорятъ точно съ такимъ же жаромъ и о томъ же самомъ предметѣ? Нѣтъ. Т. е. нѣтъ никакого общерусскаго разговора, а есть разговоры Ивана и Петра, одни въ Ташкентѣ и совсѣмъ другіе въ Москвѣ. Нѣтъ „общерусскаго разговора“; да вѣдь это почти значитъ, что нѣтъ „вообще Россіи“, а есть только „губерніи“. Шестьдесятъ восемь листовъ, будучи сшиты, составляютъ тетрадь; 68 губерній, будучи тоже сшиты, составляютъ Россію. Между тѣмъ въ пору молодыхъ порывовъ былъ „общерусскій разговоръ“ и Россія существовала,— какъ нѣкоторая нравственная физіономія.

— Вотъ физіономію-то мы и потеряли...

— Да, не физіономистое время.

— Что же, мы глупы всѣ?..

— Нѣтъ, глупое время. Мертвая точка.

Въ ходѣ машинъ опасный моментъ представляетъ такъ называемая „мертвая точка“. Всѣ видали громоздкое, шумное, превышающее своимъ видомъ всѣ остальныя части механизма, такъ называемое, маховое колесо,— сажешныхъ діаметровъ,— котораго значеніе только и состоитъ въ томъ, чтобы „махать“ и, такъ сказать, встряхивать машину вотъ въ эту опаснѣйшую секунду, когда

дѣльные ея рычаги и поршни принимаютъ мертвое расположеніе и паръ можетъ раздавить, сплющить механизмъ, а не можетъ сдѣлать впередъ правильнаго оборота. Колесо махнуло, силою инерціи перевело рычаги за мертвую точку, и вся мудрость и тонкость машины получила опять свободу работать до слѣдующей мертвой точки.

Состояніе духа людей есть точнѣйшій барометръ для опредѣленія, такъ сказать, общественной „погоды" и даже погоды вообще „отечественной". „Ясно", „дождь идетъ", „пасмурно"—эти краткія реченія барометра выражаются почти также кратко людскою молвою, отмѣтками кратчайшихъ бюллетеней о состояніи духовнаго здравія страны: „скучно" или „потираемъ руки". „Потираемъ руки". когда крошечные поршни и колесики громадной соціальной машины весело бѣгаютъ, дѣлаютъ каждый свое неуловимое дѣло,—корабль двигается впередъ и поваръ хлопочетъ около сытнаго обѣда для усталой и все-таки веселой команды. Есть работа, есть духъ, есть ходъ. Но вотъ пробилъ историческій часъ; соотношеніе частей машины, совершивъ одинъ полный кругооборотъ, достигло фатальной точки, и барометръ общественнаго духа отмѣчаетъ: „какая скучища!..".

## III.

Да, „какая скучища", когда сегодня мы можемъ повторить только исчезнувшее „вчера", безъ всякой существенной новой прибавки. Богъ далъ человѣку *времена года*, кромѣ дней недѣли, которыя

чередуются безъ существенной между собою разницы. Во временахъ года существенная разница,— и вотъ эта-то общая перемѣна *всего* и необходима человѣческому духу, который фатально заснулъ бы среди вѣчной декораціи, пусть это была бы самая феерическая весна. Человѣкъ ничѣмъ такъ не утомляется, какъ повтореніемъ. и это оттого, что самъ человѣкъ безусловно никогда не повторяется, онъ ежесекундно растетъ,—и рѣшительно не выноситъ, поэтому, мертвечины вокругъ себя. Когда становится очень мертво, онъ перемѣняетъ квартиру, ѣдетъ за границу, ѣдетъ въ Африку стрѣлять слоновъ: „не могу перемѣнить отечества, тогда перемѣню отечество". Необозримыя греческія колоніи возникли частью по этой причинѣ; „душно въ Аѳинахъ, поѣду въ Сицилію; въ Аѳинахъ все демократическая республика, а тамъ мы заведемъ на просторѣ хоть тиранію". Вотъ вѣроятное происхожденіе сиракузскихъ владыкъ. Наши домашніе малороссы выражаютъ ту же самую вѣковѣчную мысль, когда, переворачиваясь съ одного бока на другой, приговариваютъ: „хоть тяжше, да инше", т. е. хоть и больнѣе, а все-таки не на томъ боку.

— Такъ вамъ хочется „не на томъ боку?.."

— Да, именно хочется „не на томъ боку..."

— Гм...

Мнѣ кажется, отъ Ташкента до Москвы если нѣтъ „общє-русскаго разговора", то есть „общє-русское объ одномъ молчаніе", и его лучше и не выразить, какъ этимъ краткимъ resumé:

— Не на томъ-бы боку.

Вѣдь вотъ чего захотѣли. И не сообразивъ того, что если человѣкъ перевернется, то и все вокругъ него перевернется, и то, что было вправо, очутится влѣво, и наоборотъ. Это и составляетъ затрудненіе при разрѣшеніи проблемы.

— Ужъ полежите такъ...

— Очень скучно!

— Поскучайте...

— Очень больно лежать. Все нутро ноетъ!

— Боимся, перемѣнъ будетъ много. Главное — горизонты и перспективы. Вы вотъ теперь видите, какъ въ потолкѣ прусаки брюшками изъ щелей торчатъ, и развлекаетесь,—а тогда Богъ еще вѣсть, что увидите,—и, главное, нельзя предвидѣть, чего захочете!

— Ничего я не захочу, только бы перевернуться.

— Это надо обдумать. Этакія дѣла не дѣлаются не подумавши.

— Да какія „дѣла"-то, что вы: тутъ потолокъ, а тамъ печка...

— Нѣтъ, вы это очень просто судите, тутъ сложнѣе...

## IV.

Иногда намъ представляется, что ходъ умственныхъ, общественныхъ и вообще всякихъ дѣлъ въ отечествѣ нашемъ дошелъ до тягостной мертвой точки, изъ которой всѣмъ хочется и всѣ не знаютъ какъ выйти. Не знаютъ „какъ", или боятся сказать „какъ", и всѣ ожидаютъ со страхомъ: „перемахнетъ" ли маховое колесо, или такъ бу-

детъ стоять, какъ „Генералъ-Адмиралъ Апраксинъ“ около мертваго камня острова Гогланда. И вотъ отчего, а не отъ бездарности нашей, нѣтъ весны въ духѣ человѣческомъ; и несется отъ Ташкента до Петербурга одинъ звукъ-вздохъ: „какая тощища!..“

— Да что у васъ за тоска, будто и въ самомъ дѣлѣ Гамлеты?! Вѣдь вы просто Иваны Ивановичи и переписываете бумаги.

— Да, переписываемъ бумаги...

— И жалованье получаете.

— И жалованье получаемъ...

— Ну?

— Позвольте прогуляться.

— Ну, вотъ, не дослужив до пенсіи-то. А вы выпишите всѣ строки, и тогда мы васъ „съ пенсіей и съ мундиромъ“ чистенько заколотимъ въ гробъ, похоронимъ въ третьемъ разрядѣ на Смоленскомъ, а на ваше мѣсто посадимъ Александра Иваныча. Вы Иванъ Александрычъ, а тотъ будетъ Александръ Ивановичъ. Вотъ и маленькая перемѣна, и служащимъ удовольствіе и вамъ польза.

— Я пройдусь.

— Посидите.

---

Что дѣлать. Приходится сидѣть. Бѣдный геморроидальный чиновникъ, сплюнулъ „не на сторону начальства“ и „перемѣнивъ перо въ рукѣ, — все-таки реформа“, — придвинулъ „вѣковѣчныя бумаги“. Да, есть „вѣковѣчные льды“ и есть „вѣковѣчныя бумаги“, и которые-то изъ нихъ еще страшнѣе...

— Рѣшительно и окончательно я иду.

— Куда же? Хе-хе-хе...

— Я иду къ бурамъ, вы понимаете—къ бурамъ. Въ семидесятыхъ годахъ стрѣлялись, такъ вотъ я вмѣсто этого стрѣлянья просто уѣзжаю изъ Петербурга и отправляюсь къ бурамъ. Тамъ слоны, а не „ваше пр—во“.

— И за пенсіей не воротитесь?..

— За пенсіей?.. Этакій вопросъ. Въ самомъ дѣлѣ, вѣдь, за буровъ можно сражаться, и, если не убьютъ, придется просто „существовать“ пятнадцать-двадцать лѣтъ, и вотъ тутъ...

— Я же вамъ говорилъ, что удобнѣе остаться. Вотъ и еще „отношеньице“ на „донесеньице“. одно перебѣлите, а другое „къ дѣламъ подшейте“...

— Къ „дѣламъ“!!!

Да, хочется весны, но весна жжется. Весна—„безъ пенсіи“, а мы всѣ такъ привыкли „съ мундиромъ и пенсіей“... Весна—поэзія и голодъ, а мы—старые. Мы старые и міръ старъ. Въ старомъ мірѣ—старые люди и старыя дѣла.

— Что „Апраксина“-то сняли, что ли?

— Этакій вы ехидный человѣкъ. Ну, положимъ, не сняли.

— Сидятъ?

— На другой броненосецъ перешли.

— И много у васъ въ запасѣ броненосцевъ-то?

— Достаточно.

— Это на случай „сажанья“-то. Вѣдь по одному въ годъ?

— По одному въ годъ. Да вы что безпокоитесь?!

— Расходно?

— Не очень. Вы вотъ попишите, тамъ постукаютъ,—смотришь, и еще вывалился въ Неву изъ Новаго Адмиралтейства. „Подъ Богомъ“.

— То-то вы „подъ Богомъ“, да и насъ „подъ Бога“ усадили. Иду.

— Безъ пенсіи?

— Безъ пенсіи.

— Съ отчаянія?

— Съ отчаянія.

— Это, такъ сказать, „на другой бокъ“?

— На другой бокъ.

— Гм... Въ отечествѣ весны не ждете?

— Не жду.

— И никто не ждетъ, а всѣ терпятъ. Этакій вы нетерпѣливый человѣкъ.

— За мной и другіе тронутся...

— Хе-хе-хе!.. И не шелохнутся.

— Увидите.

— Какъ не увидѣть: „взирая на страницы исторіи, какъ морякъ взираетъ на корабельную карту, правители...“ Развѣ не читали у Карамзина, кхи, кхи...

— Ахъ, Боже мой, Карамзинъ! ахъ, мое несчастное отечество! „Карамзинъ и Жуковскій“, „Пушкинъ, Лермонтовъ и Гоголь“, ахъ, несчастное отечество! И ни одного настоящаго Поль-де-Кока. Къ бурамъ! Къ бурамъ!

# Homines novi...

## I.

Читатели, вѣроятно, помнятъ странный эпизодъ, которымъ кончается или почти кончается „Воскресенье“ Толстого: это — партія политическихъ ссыльныхъ въ сибирскомъ острогѣ и въ разныхъ случаяхъ на перепутьѣ. Не помню сейчасъ именъ, не помню отдѣльныхъ фигуръ, мужскихъ и женскихъ. Но помню, какъ, вѣроятно, и каждый читатель не забылъ,—свѣтлое пятно, впечатлѣніе свѣтящагося мѣста, гдѣ эти фигуры стоятъ и двигаются. О политическихъ взглядахъ ихъ говорится немного. Такъ, мимоходомъ. Больше для того, чтобы отмѣтить, что это—не воры, не бродяги, не фальшивомонетчики. Разговоры ихъ являются какъ бы подписью: „со—левъ, а не собака“. Умный взглядъ Толстого сосредоточился на другомъ, понялъ другое: ихъ бытъ, манеры, взаимныя отношенія, отношенія къ средѣ. Никакъ нельзя упрекнуть меня въ преувеличеніи, если я скажу, что они приходятъ и идутъ далѣе въ изображеніи Толстого, какъ спокойные ангелы, безъ муки, конвульсій, съ чудесною лаской къ окружающему, добротою и нѣжностью между собой.

Сейчасъ припоминается только, какъ они метутъ полъ и, вообще, вводятъ относительную чистоту среди вони, ругательствъ, „парашки“ и проч. Еще припоминается, какъ отъ больного мужика взяли ребенка.

— Ты усталъ (или не умѣешь), я понесу.

Если мы далѣе будемъ наблюдать, откуда этотъ тихій ангельскій изъ нихъ свѣтъ, мы еще болѣе будемъ поражены, и, можетъ быть, придемъ къ важному заключенію. Въ то время, какъ Нехлюдовъ коверкается, ходитъ и на рукахъ и на четверенькахъ „за Катюшей“ или безъ „Катюши“, съ Евангеліемъ или соціологіей, и вообще полусмѣшонъ, полужалокъ,—они вполнѣ натуральны, и отличаются отсутствіемъ всякой нравственной двланности, искусственности. Я передалъ свое впечатлѣніе „*тихіе* ангелы“, и дѣлаю удареніе на „*тихіе*“.

Нехлюдовъ гораздо менѣе радикаленъ, чѣмъ они.

Онъ читаетъ—и несетъ слѣды чтенія въ своихъ поступкахъ. Онъ изъ высокой среды—и не забылъ ея привычекъ, и тоже несетъ ихъ въ своихъ поступкахъ.

Они все отвергли. Вода исторіи сбѣжала съ нихъ и оголила просто человѣка. Дарвинъ сказалъ намъ, что подъ человѣкомъ—обезьяна, и этому повѣрилъ весь міръ. Хотѣлъ этого или нѣтъ, но Толстой въ своихъ выведенныхъ политическихъ показалъ сущую обезьяну въ смыслѣ историческихъ традицій, и мы подъ обезьяной вдругъ находимъ — „ангела“. Удивительно, не правда ли?

Вотъ мы, консерваторы, самые угрюмые, основали больницу, куда нужно позвать доктора и нѣсколько фельдшерицъ.

Предлагаютъ „съ курсовъ".

— Да вѣдь это нигилисты?

Къ сожалѣнію, да.

— Скверно: однако, неоткуда взять другихъ,— давайте.

Приходятъ безбожники. Смотримъ на нихъ угрюмо, тупо, недовѣрчиво.

— И въ Бога не вѣруете?

Я учился медицинѣ.

— Ну, чортъ съ вами — дѣлайте дѣло...

Идутъ дни, мѣсяцы, годъ, два, десять лѣтъ, мы смотримъ и... впечатлѣніе Толстовскихъ фигуръ повторяется!

Явились какъ будто „безбожники", а работаютъ, какъ ангелы, посланные Богомъ.

Что намъ съ нимъ дѣлать—съ этимъ впечатлѣніемъ? Солгать? Сказать, что они злы? Нельзя. Напротивъ, *только* они добры, добрѣе *насъ*. Воистину, отроки, ходящіе въ „пещи огненной" всякаго разврата и растлѣнія. Но откуда этотъ свѣтъ?

Толстой здѣсь началъ вести узоръ необыкновенной важности, и я только хочу около него привести нѣкоторыя историческія справки. Послѣдніе типы радикаловъ были выведены въ „Нови" Тургенева, произведеніи безсильномъ и неясномъ. Радикалы были тамъ ни пава, ни ворона. Раньше у Тургенева же, въ „Отцахъ и дѣтяхъ"—Базаровъ жестокъ, прочіе—окончательно невыносимы. Толстой, рѣзкій реалистъ, напротивъ, представилъ

ихъ необыкновенно нѣжными, и это-то ново и поразительно въ смыслѣ историческаго рисунка.

Рахметовъ и Лопуховъ въ „Что дѣлать"—какіе-то конюхи. Имъ бы съ лошадьми жить и обращаться, командовать эскадронами; если угодно,—легіонами, но какъ люди быта, какъ нити ткани жизненной, куда же они годятся?

Маркъ Волоховъ въ „Обрывѣ" тоже уважаетъ одного себя и не уважаетъ ничего вокругъ. Опять черта, не повторяющаяся у Толстого. Между тѣмъ, очевидно, Толстой не только больше жилъ и больше видѣлъ, чѣмъ Гончаровъ и Тургеневъ, но онъ и болѣе пытливый, менѣе довѣрчивый, зорчѣе наблюдающій человѣкъ. Притомъ Толстой рѣзкій сатирикъ, бичъ сатиры, когда есть предметъ для сатиры.

Очевидно, что онъ былъ пораженъ явленіемъ, и не явленіе ему покорилось, но онъ покорился явленію. Вѣдь они, эти ссыльные, толстовскихъ книжекъ не читаютъ, къ Нехлюдову обращаются только со своими спеціальными дѣлами, по части паспорта и прокламацій и, словомъ, для Толстого менѣе, чѣмъ для кого-либо, что это не „будущіе толстовцы". Что же за притча? Что за явленіе?

Когда, нѣсколько лѣтъ назадъ, печатались въ „Вѣстникѣ Европы" посмертныя письма покойнаго Боткина изъ Болгаріи, тамъ было много сатиры на сферы военныя и штатскія, высшія и среднія. Письма были совершенно частныя. И вотъ мнѣ запомнилось изъ нихъ:

„Только одинъ сестры милосердія составляютъ свѣтлое пятно на темномъ фонѣ".

Строки не эти, но ихъ смыслъ этотъ, и въ краткомъ отзывѣ письма не для печати, брошенномъ мелькомъ, звучитъ то самое впечатлѣніе, зрительное и нравственное, какое сказалось у Толстого.

„Я такъ видѣлъ и, не переиначивая, говорю".

Да это и общеизвѣстно. Всѣ единогласно говорятъ, что сестры милосердія составляютъ красоту нашего общества. Въ бѣлыхъ передничкахъ, съ краснымъ крестомъ на груди, трудолюбивыя, бодрыя, безъ суеты, безъ усталости, всегда съ надеждой на лучшее для васъ и для себя, онѣ около больного, какъ ангелы.

Не забуду этого впечатлѣнія отъ сестры милосердія, ухаживавшей, и очень долгое время, около покойнаго Страхова передъ смертью. Но опять, если взвѣсить и разсортировать духовный міръ такой сестры милосердія, мы въ ней, понятно, не найдемъ ничего политически предосудительнаго, но, однако, ничего не найдемъ и такого, за что могло бы ухватиться наше „охранительное" чувство.

— Мы учились медицинѣ, умѣемъ перевязывать раны, немного массажа, то — се...

— А завѣты Карамзина и Державина?

— Мы учились только перевязывать раны.

Вы изъ нихъ ничего не выжмете патріотическаго, „россійскаго" ни единой горошинки, изъ „Коль славенъ"—ничего. Двигаясь, живя, трудясь на войнѣ, онѣ бы должны сколько-нибудь проникнуться духомъ войны, интересомъ къ войнѣ, что вотъ „мы на турокъ" и „какъ взяли такой-то

редутъ". Но ничего этого нѣтъ. Онѣ совершенно погружены въ міръ частнаго. Исторія, какъ принесли такого-то офицера, и куда онъ былъ раненъ, и сколько дней пролежалъ, и куда потомъ уѣхалъ, и какой у него былъ характеръ, и какова его біографія,—вотъ все, что ихъ занимаетъ. Военные есть, войны нѣтъ. Есть раненые, но, какъ будто, нѣтъ сраженій. Двигаясь средп борьбы, онѣ абсолютно мирны. Какъ и толстовскіе ссыльные, прежде всего поражаютъ глубочайшимъ въ сущности душевнымъ миромъ и спокойствіемъ. „Тихіе ангелы".

II.

Мнѣ было разъ нужно по одному литературному дѣлу поѣхать къ двумъ старымъ дѣвицамъ, ученымъ „курсисткамъ" шестидесятыхъ и семидесятыхъ годовъ. Что могло быть скучнѣе ожиданія этой встрѣчи? Всѣ мы знаемъ, что такое женственность, и знаемъ, что 1) синій чулокъ, 2) шестидесятые годы и 3) старая дѣва,—суть три особенности Бабы-Яги, съѣвшія въ женщинѣ ея нѣжность, красоту и глубину. Такъ, предубѣжденный и презирающій свою миссію и самый предметъ ея, я дернулъ звонокъ. Вошелъ. Тоже несимпатично. Большія комнаты, невысокіе потолки, классная мебель, книги, этажерки, бумаги. Выходитъ одна, потомъ другая. Ну, годы не красятъ и, конечно, ничего краснваго не было въ дѣвицахъ, изъ которыхъ одной было за сорокъ и другой за пятьдесятъ.

— Это откуда же у васъ мебель?

— Мы держимъ школу съ правами прогимназіи. Столько-то лѣтъ.

Это, однако, составляло часть занятій, и при томъ только младшей изъ нихъ. Другая часть уходила на одно важное и отвѣтственное дежурство и, наконецъ, лѣто посвящалось продолжительнымъ научнымъ экскурсіямъ въ Западную Европу и ученымъ трудамъ, которые созидались на матеріалѣ, собиравшемся во время этихъ экскурсій. Цѣлыя области были исхожены ими пѣшкомъ.

— Ахъ, чортъ возьми,- подумалъ я.—Настоящія ученыя женщины. Тѣмъ хуже.

Такъ я и поговорилъ съ ними скорѣе грубо, чѣмъ сколько-нибудь привѣтливо. И вотъ прошло нѣсколько лѣтъ. Я ихъ ближе узналъ. И вотъ то, что я a priori считалъ умершимъ въ нихъ, оказалось неувядаемо-свѣжимъ.

Прежде всего, какая удивительная дружба и вѣрность. Мало ли изъ насъ, мужчинъ, соединены единствомъ предмета занятій и темъ. Чиновники и писатели, какъ бы сапожники, тачающіе разныя части одного огромнаго сапога. Но вездѣ ссоры; рѣшительно вездѣ антагонизмъ,—и мелочный, глупый, безсознательный. Почему мужчины всѣ исключительно презираютъ другъ друга и ненавидятъ другъ друга – не знаю, но наблюдалъ это. Эти двѣ пожилыя дѣвушки прожили семнадцать лѣтъ вмѣстѣ, вмѣстѣ изъ молодости перешли въ зрѣлость, изъ зрѣлости—въ старость, и между ними былъ такой тонъ взаимной совмѣщенности и совершенной духовной успокоенности, какъ бы

это былъ Обломовъ и сжившаяся съ нимъ его двадцатилѣтняя квартира. Объ онѣ любили своего стараго кота. Объ любилп свои тетрадочки, книжки. Дѣлали другъ другу указанія по спеціальности. И ни воспоминаній (жгучихъ), ни надеждъ, ничего нервнаго, полное погруженіе въ сегодня. Никогда еще я не видалъ такого полнаго покоя жизни и именно—женственнаго покоя. Ничего лѣностнаго или праздпаго; тупеядскаго или скучающаго. Представьте себѣ Штольца, вѣчно дѣятельнаго и энергичнаго, каждый годъ задумывающаго новое, но съ манерами, въ обстановкѣ и со всею психикою Обломова. Обломовъ лежитъ на вышкѣ корабля среди скалъ и бури—и такъ же спокоенъ, и какимъ-то чудомъ и онъ какъ-будто спитъ, и корабль преблагополучно плыветъ. Иначе не умѣю передать эту тайну женственности въ трудѣ.

— Ну, должны же онѣ были любить, - когда-нибудь или сейчасъ...

Но ничего этого не было замѣтно. Никакой тѣни жгучихъ воспоминаній на нихъ не лежало. У нихъ была дѣйствительная безполость или вѣнполость, дурной слухъ о которой распространился объ ученыхъ женщинахъ. Но, признаюсь, впервые мнѣ понравились женщины, которыя, повидимому, никого не любили, или не любили „съ послѣдствіемъ". Читалъ я когда-то (у Страхова) очерки Льюна и тамъ упоминаніе „объ удивительномъ выраженіи глазъ, которое въ старости устанавливается у дѣйствительныхъ и настоящихъ дѣвственниковъ". Описывая эти глаза, авторъ

„Очерковъ“ говоритъ, что ихъ особенность заключалась въ совершенной прозрачности и глубинѣ. Такъ, когда тихія-тихія воды вокругъ лодки, на большой глубинѣ вы видите и дно рѣки, и всю сѣть водорослей, и рыбокъ. Такова была безполость или вѣполость этихъ двухъ дѣвушекъ. Незамѣтно для нихъ самихъ, все богатство и сила особеннаго женскаго организма, не перейдя въ любовь, не измѣнилась въ себѣ, а только получила другое направленіе и расползлась на все окружающее, на эти тетрадочки, книжки, добрую квартирную хозяйку, дѣтишекъ въ школѣ, огромнаго кота и ученыя экскурсіи—нѣжностью, лаской и вниманіемъ. Еще ихъ отношеніе къ наукѣ. Ничего не могу придумать лучшаго въ смыслѣ такта. Ну, онѣ могли бы дѣлать видъ, что, какъ читавшія „Femmes savantes“ Мольера, смотрятъ на науку, какъ на несчастіе, что онѣ, такъ сказать, выше и „женственнѣе“ своей профессіи. Этого не было. Онѣ радовались, что онѣ именно ученыя, и гордились умственной сферой своихъ интересовъ и долгой, исключительно умственной сферой, въ которой прожили. Такимъ образомъ, въ нихъ было тихое счастье своимъ трудомъ. Теперь переведи это счастье чуть-чуть дальше, получился бы „синій чулокъ“. Но вотъ этого „чуть-чуть“ и не было: онѣ останавливались на самой границѣ его и оставались чистѣйшими женщинами, маленькими Жаннами д'Аркъ въ милліардахъ книжекъ.

Увидавъ ихъ, я сталъ вѣрить въ образованіе женщины. Что же, если плоды такъ хороши? Если, очевидно, никакого искаженія „образа“ не проис-

ходить. Но я веду къ своей темѣ. Обширно образованныя и именно исторически образованныя, онѣ вовсе не имѣли политики. Ну, какая политика у Забѣлина съ его „Бытомъ русскихъ царей и царицъ“? Въ то же время опять была тонкая женская граница въ отсутствіи подчеркиванія вражды къ политикѣ. Какъ-то я сказалъ:

— Да, эти шестидесятые годы никакъ не сбросишь со счетовъ исторіи. Все-таки...

— Конечно, это огромная эпоха и огромный цѣнный грузъ позади нашего историческаго корабля,—прервала меня старшая изъ нихъ.

Въ краткихъ, твердыхъ и спокойныхъ словахъ она отдѣлила мишуру шестидесятыхъ годовъ отъ золота шестидесятыхъ годовъ. „Какъ многое стало невозможно, какъ многое впервые стало возможно съ тѣхъ поръ, и сколько новыхъ вопросовъ, новыхъ задачъ подняли эти годы“.

Были ли онѣ религіозны? Нѣтъ. Были ли онѣ патріотичны? Нѣтъ. Но, можетъ быть, онѣ были не религіозны? Опять нѣтъ. Международны, интернаціональны? Снова—нѣтъ и нѣтъ. И какъ сестра милосердія на вопросъ объ этомъ отвѣтила бы только:

— Я стѣсняюсь отвѣтомъ. Я училась перевязывать раны.

Такъ эти могли бы отвѣтить:

— Конечно, мы православныя и русскія, пензенка и смолянка, но... это не входитъ въ кругъ нашихъ занятій.

III.

Живя постоянно подчеркнутыми и строгими чувствами, до извѣстной степени летя всю жизнь на преувеличеніяхъ, — я былъ удивляемъ при встрѣчѣ съ этими людьми, жившими безъ подчеркиванья, безъ преувеличенья. Мнѣ казалось — вовсе безъ убѣжденія. Я былъ однажды пріятно пораженъ, когда, идя со мной по переулку, одинъ такой господинъ, среди разныхъ политическихъ, соціальныхъ и экономическихъ объясненій, вставилъ:

— Потому что вѣдь что же можетъ быть выше христіанства...

— Христіанства?

— Конечно.

— Но что вы разумѣете подъ христіанствомъ?

— То же, что всѣ: духъ мира и любви, духъ прощенія; духъ ласки и теплоты. Сынъ Человѣческій...

— Что?

— Я говорю, что въ названіи Христомъ Себя Сыномъ Человѣческимъ выражается все христіанство. Да это общеизвѣстно. Что вы меня спрашиваете?

Я привожу этотъ діалогъ, чрезвычайно меня поразившій и очень характерный, какъ портретъ дѣйствительности. Всѣ эти люди не читали Евангелія и не знаютъ его точнаго содержанія, но и не имѣютъ никакого интереса его раскрыть, будучи совершенно увѣрены, что уже все знаютъ. А на вопросъ, что же они знаютъ, отвѣчаютъ:

— Сынъ Человѣческій.

— Люби ближняго своего, какъ самого себя.

— Подставь другую щеку.

— Блаженны алчущіе правды.

Но вотъ что я замѣтилъ: что эти люди, которыхъ, въ смыслѣ богословскаго ученія, можно назвать дикарями, суть дѣйствительно исполнившіе, до извѣстной степени, „законъ и пророковъ“ Безъ этого я не началъ бы говорить о поражающемъ меня явленіи. Въ то время, какъ всѣ лѣнивы на помощь другъ другу, — эти люди, веселые, увѣренные, что они уже, не читавъ, все знаютъ, бѣгутъ на помощь другъ другу, вамъ и подчасъ даже врагу своему. Вотъ эта-то практичность любви, исполненность завѣтовъ любви меня и поражаетъ. Откуда же это? Это-то и любопытно.

## IV.

Нѣсколько лѣтъ назадъ мнѣ пришлось знать одну парочку. Она даже нѣсколько мнѣ сродни, но общій кругъ ея возврѣній и намѣреній былъ для меня такъ глубоко антипатиченъ, что мы почти не видѣлись. Они были мужъ и жена. Онъ — ограниченный и злой „марксистъ“, она фанатичная „радикалка“ изъ глубоко-православнаго семейства, но потомъ „сжегшая все, чему поклонялась“, однако, умная и тонкая. Разговоры ихъ были тупы, неинтересны, злы, фантастичны, какъ по представленію дѣйствительности, такъ и по ожиданіямъ „ближайшаго будущаго“. Но вотъ что я успѣлъ замѣтить. У нихъ родился тогда первый ребенокъ. Квартиру ихъ непрерывно посѣщали разные „товарищи“ и „товарки“. Мы, въ нашемъ кругѣ жизни и понятій, знаемъ, что гдѣ

молодая женщина — тамъ и ухаживанье, съ надеждами или безъ надеждъ — все равно, ухаживанье; и гдѣ молодой мужъ, тамъ подруги жены, тоже не безъ надеждъ. Этотъ всеобъемлющій флиртъ, ухаживань нашей жизни вовсе у нихъ отсутствовалъ. Всѣ „товарки", поздоровавшись, немедленно проходили въ спальню и смотрѣли ребенка; всѣ „товарищи" были какъ бы стражами чести ея мужа. Такимъ образомъ, дикое явленіе какъ бы рыцарства семьи вполнѣ являло свое зрѣлище въ этой квартирѣ „нео-марксистовъ". Я говорю, что не сталъ бы писать этюда, если бы не былъ пораженъ. Поздиѣе, приглядываясь къ строю семьи и другихъ радикаловъ, всегда я наблюдалъ: вѣрность, чистоту, преданность, всякое отсутствіе „зѣванья по сторонамъ". Кажется, можно такъ формулировать: „ужъ если любишь—то и люби"; „а не любишь—убирайся къ чорту". Цыганская эта формула, однако, обусловливала цыганскую же вѣрность. Я не знаю цыганъ, но знающіе увѣряли меня, что измѣна и легкомысліе поведенія есть вещь совершенно неизвѣстная у цыганъ и цыганокъ. „Да, я люблю тебя",—эти слова уже выражены простымъ фактомъ сожитія. И какъ сама чета, такъ и окружающее товарищество, зная, что между ними лежитъ не одна форма связи, но и любовь связующая—не подходятъ съ флиртомъ. Донъ-жуанизмъ тутъ умеръ, срубленъ. Главное жало змѣи семейной—измѣна — съ корнемъ вырвано, и только черезъ простое это: „если не любишь—можешь убираться". Удивительно.

„Адамы"—такъ хочется мнѣ опредѣлить этихъ людей. Дарвинъ училъ, что если соскоблить съ человѣка цивилизацію, то получится обезьяна. Но вѣчная Библія учитъ, что подъ толстою почвой всемірной исторіи лежитъ безгрѣшный человѣкъ, и что вся эта исторія есть постепенный наростающій грѣхъ. Вотъ двѣ точки зрѣнія. Египтяне учили, что есть „циклъ" временъ, круговоротъ приблизительно въ 15,000 лѣтъ,—цикль Феникса, по окончаніи котораго міръ сгораетъ, весь и безъ остатка, и затѣмъ возрождается вновь. За 15 тысячъ лѣтъ идеи, какого бы совершенства онѣ ни были, изнашиваются безъ остатка. Міръ долженъ слинять. Все старое—прочь! Всѣ попытки удержать старое — только задерживаютъ „пожаръ Феникса". Мнѣ думается—мы въ такомъ фазисѣ. Уже не за одинъ вѣкъ—поразительно такъ безуспѣшны всѣ „возрождающія" попытки, какъ и всѣ и всяческія „консервативныя направленія". Одно вѣчно, одно могуче идетъ впередъ: какой-то всемірный грохотъ разрушенія, отрицанія. Пишущій эти строки достаточно пролилъ надъ нимъ слезъ, дабы повѣрили ему, когда онъ говоритъ: „я тутъ обрѣлъ нѣкоторую надежду". Дѣйствительно, человѣкъ линяетъ, абсолютно линяетъ. Но изъ-подъ облѣзающихъ съ него красокъ, опадающихъ перьевъ показывается не ожидаемый троглодитъ, дикарь, но—первый Адамъ, опять безъ грѣха, съ ангельскимъ лицомъ.

— Мы добры.

— Мы любимъ другъ друга.

— Да, въ мірѣ есть какая-то тайна, но мы ея не знаемъ.

— Намъ нужно изготовить къ полудню обѣдъ, и вотъ мы собираемъ дрова...

И только. Нѣтъ больше ничего. Сгорѣли въ пожарѣ Феникса отечество, религія, бытъ, соціальныя связи, сословія, философія, поэзія. Человѣкъ пагъ опять. Но чего мы не можемъ оспорить, что безсильны оспорить всѣ стороны, это — что онъ добръ, благъ, прекраснъ. Будемъ же смотрѣть на него не вовсе безъ надежды, по крайней мѣрѣ — безъ вражды, — и будемъ надѣяться, что когда всемірный пожаръ кончится и старый Фениксъ окончательно догоритъ, — изъ пепла его вылетитъ новый Фениксъ.

1904 г.

## Кислородъ и углеродъ въ исторіи.

Въ общественной, въ національной жизни, такъ же какъ и въ органической, можно наблюдать вѣчную борьбу какъ бы углеродистыхъ и кислородныхъ началъ. Когда въ серединѣ февраля 1904 г. поминутно слышались звонки у двери, и почтальонъ подавалъ разныя заявленія, программы, приглашенія отъ новодумской партіи, звавшія туда-то на „совѣщаніе“, просившія „обратить на то-то вниманіе“,—я, заранѣе отказавшись, по старости, куда бы то ни было итти,—не могъ, однако, не разсмѣяться самымъ веселымъ, самымъ счастливымъ смѣхомъ. И тогда же сложилъ эту формулу

— Кислородъ разлился. Кислородъ потекъ по улицѣ.

Пусть самъ я не дышу имъ. Уже старъ. Но и старое можетъ радоваться молодому. Тутъ важно не то одно, что именно сдѣлаетъ новодумская партія, т. е. гг. *квартиронанимателн,* очутившіеся въ положеніи *гласныхъ* думы. Не сдѣланное въ нынѣшнемъ году можетъ быть сдѣлано въ слѣдующемъ. Но, ей-ей, Петербургъ пережилъ за эти два мѣсяца волненій одну изъ самыхъ хорошихъ историческихъ минутъ своихъ. И ее не нужно опредѣлять иначе, опредѣлять объективнѣе, какъ этимъ

широкимъ понятіемъ: „кислорода стало больше". Создалась вдругъ тысяча новыхъ надеждъ. И въ этихъ надеждахъ принимаю или могу принять самое живое участіе *я*; принять *самостоятельно*, не съ кѣмъ не соглашаясь, а, напротивъ, всѣхъ приводя въ согласіе съ собою. Хватило бы силъ умѣнья, таланта, а средства къ этому даны всѣ.

И, скажите, кто отъ этого пострадалъ? кому отъ этого стало хуже? чему это грозитъ? Люди побросали карты, прервали сплетни, оставили темное или личное подкапываніе другъ подъ друга (все- углеродистыя соединенія), и взялись мирно и въ сущности дружно за дѣло, самое настоятельное, очевидно нужное. Особенно одна программа „поводумцевъ", проектировавшая (чуть не на столѣтіе впередъ): „Что нужно такому городу, какъ Петербургъ", — заразила меня самымъ живымъ весельемъ.

— Ахъ, не будь я Обломовъ, непремѣнно сталъ бы Мирабо.

И я такъ оживился, что передвинулся отъ кабинета до столовой и велѣлъ часомъ раньше подавать самоваръ.

Нѣтъ, это необыкновенное оживленіе. Въ одномъ мѣстѣ собирались подъ предсѣдательствомъ Таганцева, въ другомъ мѣстѣ подъ предсѣдательствомъ Ал. Острогорскаго, то гдѣ-то на Греческомъ проспектѣ, то въ залѣ Тенишевой; и непремѣнно при входѣ „показать приглашеніе", — точно мы карбонаріи. Нѣтъ, ощущеніе новой власти, новаго права даже на такого обломовца, какъ я,—и то подѣйствовало.

Правда, я даже не вышелъ на улицу. Но это ужъ мое несчастіе. Это недостатки моей личности... „Правительство съ своей стороны сдѣлало все", и, право же, не надо было ворчать, а надо и „правительству" сказать „спасибо" за то, что оно сдѣлало: ибо и никто же вѣдь не ахнулъ, еслибъ оно этого и не сдѣлало.

Мнѣ кажется, мы къ „правительству" (міръ чиновниковъ, цѣлыя созвѣздія, млечный путь чиновничества) должны стать нѣсколько добренькими, и тогда и оно почувствуетъ себя къ намъ тоже добренькимъ. А то мы все крысимся, и отъ этого оно тоже все крысится. „Вы меня не любите, и я васъ не люблю". Это рѣшительно скверно. На этой почвѣ никакихъ матримоніальныхъ дѣлъ не выйдетъ,—а я давно пишу, что бракъ есть наилучшее дѣло во вселенной. Между прочимъ и въ политикѣ. Попробуемъ-ка полюбить, и можетъ быть насъ полюбятъ. А когда насъ полюбятъ и въ особенности намъ повѣрятъ... чортъ возьми, чего нельзя сдѣлать въ качествѣ любовника, да еще „дѣлающаго предложеніе"?!

Три сильныя личныя впечатлѣнія я пережилъ за этотъ годъ,—и какъ разъ все „кислородистые". Первое—это 25-лѣтній юбилей Высшихъ женскихъ курсовъ; второе—Всероссійскій съѣздъ дѣятелей по техническому образованію, и вотъ третье—эта новая дума. На съѣздѣ.. я бродилъ по коридорамъ и залamъ Университета и почти плакалъ-вспоминая годы своего ученичества и учительства. Которые у насъ несчастіе, ученики или учителя - нельзя и сказать. У учениковъ все же

есть поэзія: шалости, озорство, иногда хорошенькая горничная, катанье на конькахъ, крѣпкій табакъ, но учителя... Боже, у тѣхъ уже ровно ничего нѣтъ! И вдругъ здѣсь, на переваѣ отъ 1903 къ 1904 году, я увидѣлъ сотни педагоговъ, нѣкоторыхъ въ формѣ, но большею частью безъ формы. Я попалъ на пренія по фабричному образованію, т. е. по вечернимъ занятіямъ со взрослыми фабричными рабочими и съ ихъ дѣтьми при фабричныхъ училищахъ. Здѣсь меня поразило то же явленіе, какъ и на юбилеѣ Курсовъ. До чего за тридцать лѣтъ выросъ русскій человѣкъ и пріобрѣлъ талантъ сплоченности, содружества: позволю сказать себѣ свободы, независимости. И все это — дисциплинировано, не хаосъ. Я позволю себѣ украдкой сказать мысль: продолжать воображать, будто этою многосотенною толпою людей съ образованіемъ, съ голосомъ, съ энергіей, съ самопожертвованіемъ, можно распоряжаться какъ ротою солдатъ на ученьи этому прошло время. Можно, *одушевившись* самому, одушевленно *повести* этихъ людей за собою: но приказать и думать, что они *исполнятъ*... нѣтъ, прошло время!

Слишкомъ много сознанія стало на Руси. Слишкомъ сознательна стала Русь. Всѣ методы къ ней отношенія настали другіе. Можно ею предводительствовать, можно ее вести. Ведя, можно съ нею совершить героическія дѣла. Безъ этого, при условіи молчанія Руси, -онять Севастополь, онять Седанъ...

На юбилеѣ Курсовъ меня не могло не поразить, что многочисленныя рѣчи (привѣтственныя) жен-

щинъ были произнесены лучше, т. е. громче, внятнѣе, болѣе „безъ запинки“, нежели академическія и профессорскія рѣчи мужчинъ. До сихъ поръ у меня рисуется въ воображеніи рѣчь „старой курсистки“ 82 года, почти посвященная однимъ воспоминаніямъ. Не говоря о свободѣ слова (не было ни единой „запиночки“), она внесла въ рѣчь жесть (чуть-чуть видное движеніе руками) и улыбку: это было до того ново среди сухихъ и ученыхъ рѣчей! Некрасивая, почти старая,—какъ показалась она мнѣ и прекрасною, и почти еще молодою, въ этой *ничуть не растерянной* своей женственности, позволю сказать—въ женственности почти выросшей! Не было и тѣни „синяго чулка“ въ ней: а мнѣ разсказали, что она имѣетъ имя въ европейской ученой литературѣ, по рѣдкой спеціальности, какую себѣ выбрала, и превосходитъ многихъ-многихъ русскихъ профессоровъ своими знаніями. И женственная рѣчь ея лилась свободно и поэтично, и, кажется, восхищенъ не я былъ одинъ, но и весь громадный залъ, переполненный самымъ высокопоставленнымъ и сухимъ народомъ. То же повторилось на съѣздѣ по техническому образованію. Послѣ замѣчательной и прекрасной рѣчи г. Шестакова вошла на каоедру г-жа Руссова. Нужно наполнить голосомъ актовый залъ Университета! Я стоялъ очень далеко отъ каоедры, почти у дверей. Но я слышалъ каждое слово—разумное, безъ риторики, безъ прикрасъ, безъ вводныхъ, мѣшающихъ главному, мыслей. Дѣло, одно дѣло лилось серьезно и мужественно. Боже, куда дѣвались „дамы просто

пріятныя" и „пріятныя во всѣхъ отношеніяхъ" (у Гоголя). Все перемѣнилось. Вся Русь декорирована заново.

Кислороду набралось чрезвычайно много въ комнатахъ; онъ именно только не потекъ по улицамъ. Онъ еще дома, но хорошо заготовленъ. Съ призывомъ квартирантовъ къ городскимъ дѣламъ онъ потекъ и по улицамъ, впрочемъ по однимъ пока узенькимъ тротуарамъ. И ничего, и всѣмъ хорошо. И всѣмъ будетъ лучше, никому не станетъ хуже, когда онъ потечетъ и по другимъ улицамъ, по площадямъ; и, главнымъ образомъ, потечетъ въ глубину Руси. Станетъ легче всѣмъ дышать. А „правительство", чиновники: они получатъ себѣ такую сильную и дисциплинированную помощь въ „отдышавшемся" населеніи, какую никогда не имѣли въ „Молчалинѣ, идущемъ съ портфелемъ бумагъ къ подписи..." секретъ Молчалина—въ Фамусовѣ. И когда Фамусова нѣтъ или есть слухи объ его отставкѣ—нуженъ ли Молчалинъ?..

## Война и политическое творчество...

Напряженное вниманіе, съ какимъ всѣ смотрятъ сейчасъ на Востокъ, не должно погасить дѣятельности внутри. Нужно и возможно утилизировать тотъ чрезвычайный и благородный подъемъ духа, который разлился по странѣ и удивляетъ насъ взаимнымъ радостнымъ удивленіемъ. Никто не можетъ сейчасъ ссылаться на сонность общества, какъ и упрекать кого-нибудь въ эгоизмѣ сердецъ. Время трудное есть всегда въ то же время творческое или готовое къ творчеству. Въ собственной нашей исторіи двѣ эпохи, начало XVIII вѣка и начало XIX вѣка, мы знаемъ какъ такія, когда непрерывный военный шумъ и внѣшняя опасность сопровождались въ то же время самою благотворною внутреннею дѣятельностью, творческою, дальнозоркою, продуктивною, величайше благодѣтельною для всего наступившаго столѣтія. Кутузовъ и Барклай-де-Толли были современниками Сперанскому и Мордвинову; борьба со шведами видѣла установленіе Сената, Синода, коллегій, построеніе Петербурга и великое вообще множество „Петровыхъ дѣлъ“ внутри Россіи. И спрыснутые оживленіемъ международнымъ, гражданскіе посѣвы Рос-

сіи этого времени поднялись пышною пивою. Творилось все въ эти десятилѣтія талантливо, спѣшно, смѣло. Все получило широкій замыселъ, широкую кладку фундамента. Борьба съ „двадесятью языками“ видѣла образованіе Государственнаго Совѣта и министерствъ. И, можно сказать, двадцать первыхъ лѣтъ XVIII вѣка, десять первыхъ XIX и годы 1860—1870 сложили весь остовъ видимой и осязаемой Россіи.

## Лучшая жертва на алтарь отечества.

Ночь на 31 марта заставила содрогнуться всю Россію. Лица, разговоры—все сдѣлалось серьезнѣе, нѣтъ ещe вчерашняго спокойствія и увѣренности, по крайней мѣрѣ касательно ближайшаго будущаго, ближайшихъ дней, хотя въ конечной побѣдѣ русскаго оружія никто, конечно, не сомнѣвается.

У японцевъ—рядъ удачъ. У русскихъ—рядъ неудачъ.

Мы потопили брандеръ, и предназначенный (самими хозяевами) къ потопленію. У насъ потопили боевую единицу, предназначенную къ побѣдѣ или, во всякомъ случаѣ, къ борьбѣ, къ работѣ, къ защитѣ отечества. Это—разница! Мы ломаемъ щепки; у насъ пробиваютъ желѣзо.

Всякій думаетъ, чѣмъ помочь отечеству. Одушевленіе Россіи—небывалое. Единство, крѣпость духа—небывалыя же. И вотъ, хочется сказать два слова о направленіи этой великой поднявшейся духовной мощи.

Гибель, въ двѣ минуты, „Петропавловска“ вызвала у многихъ плачъ. Каково теперь въ семьяхъ тѣхъ 600 человѣкъ, которые пошли ко дну

въ обломкахъ раскаленнаго желѣза, среди грохота и визга машинъ, дыша паромъ, глотая соленую воду. Адъ,—на пространствѣ нѣсколькихъ десятковъ саженей, настоящій адъ!

И передъ этимъ страданіемъ, передъ этимъ испытаніемъ кажутся маленькими наши гражданскія жертвы. Въ одномъ дому—вяжутъ кисеты. Въ другомъ—моютъ бѣлье. Рѣжутъ и „подрубаютъ" платки.—„Какого дѣлать ихъ цвѣта, краснаго или бѣлаго? Красный напоминаетъ кровь, лучше будемъ дѣлать бѣлые". Такъ поднимается и такъ разрѣшается вопросъ среди миловидныхъ швеекъ, нынѣ собирающихся въ кружки и общества, чтобы „вязать кисеты" и „подрубать платки". Въ нѣкоторыхъ аристократическихъ кружкахъ шьютъ только рубашки; нижняго солдатскаго бѣлья не шьютъ: Это „mauvais sujet", передаваемый въ болѣе демократическіе ряды швеекъ.

Между тѣмъ, событія идутъ такъ серьезно, что хочется видѣть болѣе серьезности, болѣе содержательности въ самомъ подъемѣ нашего духа.

Въ болѣе серьезныхъ частяхъ общества съ перваго же дня войны заговорили о... недостаточной нашей дипломатической освѣдомленности; и въ ближайшіе дни—о недостаточной нашей морской подготовленности. Вообще, параллельно съ подъемомъ духа *сегодня* шла критика *вчерашней* нашей сонливости и распущенности.

1 апрѣля.

## «Кабинетъ»...

Нѣсколько лѣтъ назадъ мнѣ пришлось услышать афоризмъ, одинъ изъ самыхъ умныхъ, какіе я слышалъ въ моей жизни: „Разница между Россіею и Западною Европою заключается въ томъ, что въ Европѣ все дѣло заключается въ полученіи *votum'a* (голосованія объединеннаго желанія, разпоряженія); у насъ же это голосованіе ничего бы не дало, потому что никто не *исполнилъ* бы, да и *некому* исполнить то, касательно чего votum полученъ".

Иными словами: Западъ обладаетъ механизмомъ управленія, настолько мастерски сложеннымъ, такъ напряженнымъ, интенсивнымъ, что ему только нужно получить указаніе „*что* дѣлать? въ какомъ *направленіи* дѣлать"? И уже онъ сдѣлаетъ, *непремѣнно* сдѣлаетъ все *мастерски*. Votum, около котораго и вращаются пренія палатъ, устанавливаетъ, рѣшаетъ этотъ *толчокъ* административной машины. Но у насъ, русскихъ, самой *машины* нѣтъ или она невообразимо дурна, застарѣла, слаба. Какой бы votum ни получился, будетъ ли онъ коллективный или единоличный, машина не сумѣетъ, не захочетъ или не сможетъ его *исполнить*.

Государственная
БИБЛИОТЕКА
имени
В. И. Ленина

Мысль эта по ея чрезвычайной ясности, простотѣ и правдоподобію врѣзалась въ мое воображеніе. Имѣетъ ли она историческія оправданія?

Да.

Вотъ нѣсколько.

Въ 1870 г. „рѣшается“ (votum) классицизмъ: но исполненіе его идетъ до того отвратительно, что черезъ 30 лѣтъ приходится брать рѣшеніе назадъ и обречь на сломъ все сдѣланное, потому что оно дѣйствительно негодно и вредно.

„Рѣшаютея“ церковно-приходскія школы: зданія—есть, штаты установлены, тройной надзоръ—дѣйствуетъ. Но учителя—нѣтъ на урокахъ, а ученики гуляютъ въ полѣ: все — fata-morgana (тысячи объ этомъ сообщеній, признаній самихъ заѣдующихъ школами батюшекъ, съ жалобами: намъ учить *некогда*, у насъ *—требы и хозяйство*“).

„Рѣшается“ для гимназій: 1) воспитаніе; 2) серьезное отношеніе къ ученикамъ; 3) улучшеніе матеріальнаго положенія учителей. Въ *исполненіи* вмѣсто всего этого получается распущенность, дезорганизація.

„Рѣшается“ всѣмъ правительствомъ поднять земледѣліе. Съ этою цѣлью въ составѣ его образовывается цѣлое новое министерство. „Ну, новая метла будетъ хорошо мести“. Но, конечно, какъ Россія скверно пахалась, имѣла засухи, несносный юридическій и экономическій строй деревни все такъ и осталось. „Земледѣльца“, котораго облагодѣтельствовали учрежденіемъ специальнаго для него министерства, пришлось и приходится (частично) кормить на казенный счетъ.

Для чего же votum, *толчокъ* машинѣ, когда она слаба, разстроена; и „толкай" ее или „не толкай"—она все равно въ ходъ не пойдетъ, или пойдетъ такъ криво, что испортитъ дѣло или изувѣчитъ хозяина.

Такимъ образомъ вопросъ о *конструкціи министерствъ*, о выработкѣ *методовъ министерской работы* и созданіи *мастеровъ-работниковъ* есть та подпочва, которая забыта въ вопросѣ о „кабинетѣ".

* * *

Другой не столько афоризмъ, сколько resumé тысячи наблюденій, мнѣ пришлось услышать въ ту же пору, когда я очень интересовался характеромъ русскаго „управленія". Услышать замѣчаніе, которое я сейчасъ приведу, мнѣ привелось отъ Н. Н. Страхова, бывшаго, еще со времени школьнаго ученія, въ хорошихъ отношеніяхъ съ Н. А. Вышеградскимъ, бывшимъ тогда министромъ финансовъ. Онъ передалъ мнѣ жалобу, часто отъ этого министра слышанную.

— Семь десятыхъ времени и напряженія министра уходитъ чортъ знаетъ на что! Какія-то мелочныя дѣла, никакого отношенія до пользъ и нужд Россіи не имѣющія. На министра всѣ смотрятъ, ожидаютъ отъ него большихъ дѣлъ, проектовъ, ожидаютъ проведенія новыхъ законовъ, дѣйствительно настоятельно нужныхъ, или—важныхъ административныхъ мѣропріятій. Между тѣмъ министръ еще менѣе, чѣмъ столоначальникъ, имѣетъ времени для *цѣльнаго сосредоточенія* надъ

своимъ дѣломъ. Всѣ минуты его расхватаны и часто такими мелочами, о которыхъ никогда не узнаетъ историческая Россія,—а между тѣмъ всѣ отъ него ждутъ именно *историческаго дѣла*. Отвѣтственность неизмѣримая. Исполнить ее никакой возможности. Просьбы, письма, пріемы, оффиціальныя посѣщенія... Настоящая свободная минута и возможность подумать о дѣлахъ—только въ вагонѣ ночью. Тутъ я свободенъ и думаю, тутъ я принадлежу самому себѣ.

Дѣло въ томъ, что уже сейчасъ -до всякаго Кабинета и безъ всякаго Кабинета - есть „сильные министры“ и „безсильные министры“: и, очевидно, для каждаго изъ нихъ есть первая задача *утвердиться*: 1) твердо сѣсть въ свое кресло: 2) настолько твердо, чтобы сосѣднія кресла скорѣе отъ него зависѣли, нежели оно отъ нихъ зависѣло. Едва ли $^{7}/_{10}$-то времени, упомянутыя Вышеградскимъ, и не уходятъ на „дѣла“, связанныя съ „упроченіемъ“.

Наконецъ, я приведу третье замѣчаніе, рѣзко мнѣ брошенное не сановникомъ, но сейчасъ, „подъ-сановниками“: это былъ талантливый, дѣятельный, глубоко честный человѣкъ. На вопросъ, отчего у насъ „на верхахъ“ не весьма талантливо, т. е. какъ будто заправляютъ дѣлами люди скорѣй бездарные, чѣмъ даровитые, онъ отвѣтилъ:

— Бездарность есть всегда желаемое лицо „*тамъ*“. Каждое „кресло“ всего болѣе опасается умнаго кресла рядомъ съ собою. Умнаго или особенно энергичнаго: оно сейчасъ давитъ на всѣ сосѣднія кресла. Кому же быть пріятно раздав-

леннымъ? оттѣсненнымъ?! Кому пріятно просто встрѣчать критику своего вѣдомства (а вѣдь „кресла" всѣ связаны между собою) въ общихъ засѣданіяхъ? указанія на недочеты, смѣлаго указанія? Вотъ отчего цѣлый рядъ „креселъ" всегда радуется, когда къ нимъ приближается и наконецъ входитъ новый тусклый, безволный кандидатъ. Его уже заранѣе всѣ поддерживаютъ, всѣ на него указываютъ, говорятъ, что „талантъ". И подъ этотъ шопотъ: „талантъ! талантъ!" онъ дѣйствительно съ чрезвычайной быстротой и непонятнымъ ни для кого успѣхомъ двигается по службѣ, и наконецъ занимаетъ „кресло". Это-то и есть вожделѣнная минута. Товарищи жмутъ ему горячо руку. Рента, отдѣлка квартиры, все такъ и сыплется на счастливца, который рѣшительно изображаетъ мумію; недвиженъ, безмолвенъ; уже не $^{7}/_{10}$, какъ даровитый Вышеградскій, а $^{9}/_{10}$ или $^{10}/_{10}$ службы онъ отдаетъ маленькимъ и „незамѣтнымъ дѣламъ", весьма и весьма не безразличнымъ для сосѣднихъ „креселъ", да и для переднихъ рядовъ „стульевъ"...

Вотъ положеніе. И если бы кабинетъ что-нибудь могъ сдѣлать, чтобы вывести изъ него -онъ желателенъ.

Что такое „кабинетъ"?

Единоличная воля и разумѣніе, которое согласуетъ съ собою остальныя. При немъ управленіе дѣйствительно получаетъ: 1) могущественный толчокъ; 2) устраненіе препятствій, насколько они могли бы встрѣтиться въ сосѣднихъ „креслахъ". въ противодѣйствіи или непониманіи другихъ ми-

нистерствъ. Отъ „главы кабинета" уже по самому его положенію отпадаетъ необходимость заботиться о множествѣ тѣхъ маленькихъ дѣлъ, препятствій, безпокойствъ, *для Россіи вовсе невинныхъ и Россіи вовсе ненужныхъ*, которыя поглощаютъ множество у него времени. Онъ получаетъ свободу думать только о *нужныхъ* и *для всѣхъ видныхъ дѣлахъ*, притомъ не только спеціально одного своего вѣдомства, но о дѣлахъ болѣе *общихъ*, относящихся до *цѣльнаго* и *общаго* существованія Россіи; таковъ, напримѣръ, у насъ вопросъ объ „упадкѣ, истощеніи центра" Великороссіи.

Появленіе „кабинета" почти безспорно отразилось бы сейчасъ же въ болѣе крупномъ шагѣ Россіи, какъ походкѣ, какъ ходѣ историческихъ дѣлъ, — взамѣнъ того „трусить", той маленькой и робонькой походочки, мелкаго шажка, какой мы всѣ до утомленія привыкли видѣть.

Въ этомъ „трусить" едва ли не заключается главное наше зло. Россія до того громадна, стоитъ передъ такими крупными и трудными вопросами, что мелкимъ „дѣлопроизводствомъ" въ департаментахъ рѣшительно не можетъ ограничиться. Выразимся такъ: Россія теперь скорѣе управляется департаментски, нежели министерски. Министерство есть только синтезъ своихъ департаментовъ, а не то, чтобы департаменты были органами и функціями министра и министерства, имѣющаго задачу и программу, „миссію" въ исторіи. Съ выявленіемъ „кабинета" можетъ быть и получится ужъ если не „кабинетская", то во всякомъ слу-

чаѣ министерская политика: ибо, имѣя твердую опору въ главѣ кабинета, все ему разъяснивъ, что надо, министръ широко и властно можетъ идти къ своей задачѣ или задачамъ, не преодолѣвая ежечасное треніе и сопротивленіе, теперь встрѣчаемое имъ во всѣхъ остальныхъ вѣдомствахъ. Наконецъ, съ устраненіемъ соперничества, недоброжелательства въ сосѣднихъ министерскихъ „креслахъ, не будетъ главной пружины, которая теперь какъ бы вытягиваетъ къ занятію „кресель" людей весьма недаровитыхъ и неэнергичныхъ. На „главѣ кабинета" отразится блескъ всѣхъ министерствъ, и въ то же время этотъ „глава кабинета" есть самъ *работникъ, дѣлецъ, практикъ управленія*, и имѣетъ соотвѣтствующій *практическій глазъ*. Какъ министръ всегда старается окружить себя самыми даровитыми, предпріимчивыми и зоркими директорами департаментовъ, ибо ихъ работа отражается честью на немъ: такъ глава кабинета не можетъ не приложить всѣхъ стараній къ выбору или къ назначенію самыхъ талантливыхъ и дѣятельныхъ министровъ. Вотъ эта-то *цѣльность талантливости* мнѣ и представляется главнымъ преимуществомъ управленія, исходящаго отъ кабинета, сравнительно съ управленіемъ разрозненныхъ министерствъ.

Вспомнимъ Сперанскаго. Вспомнимъ и времена Екатерины. Шагъ Россіи рѣшительно былъ крупенъ. Общество любовалось и было удовлетворено такими важными начинаніями, какъ 1) учрежденіе министерствъ; 2) учрежденіе Государственнаго Совѣта; 3) генеральное межеваніе Рос-

сіи; 4) введеніе губерискихъ учрежденій и пр., и пр. Теперь даже мы и ожидать отвыкли, и воображать не умѣемъ такое нововведеніе, какъ сотвореніе министерствъ или Государственнаго Совѣта. Департаментская вездѣ работа, министерства разложились на департаменты и въ нихъ умерли или замерли... Сколько лѣтъ комиссія пересматривала „Уставъ о службѣ гражданской", а когда были готовы и разосланы „намѣченныя преобразованія", то оказалось въ нихъ и читать нечего: намѣчено было уничтоженіе чина „надворныхъ совѣтниковъ" и ниже, а званіе „статскихъ совѣтниковъ" и выше было оставлено. Потомъ что-то о пенсіяхъ. Еще что-то о мундирахъ, кому, когда и гдѣ носить ихъ. Маленькія департаментскія нужды, заботы; заботы „свои" и „о своихъ". Россіи рѣшительно былъ ненуженъ этотъ пересмотръ или такой пересмотръ „Устава о службѣ гражданской". Какъ мы уже сказали, въ самихъ министерствахъ возобладала и установилась твердо „департаментская точка зрѣнія" на дѣла, т. е. точка зрѣнія, упускающая изъ виду самоё Россію. Какъ будто „самоё Россію" ея правящій механизмъ переставъ видѣть.

— Гдѣ Россія?

— Не знаемъ?

— Однако же?..

— Вотъ „дѣло" объ Иванѣ Ивановичѣ: проситъ усиленной пенсіи въ размѣрѣ 3.000 р., ²/₃ послѣдняго оклада, получаемаго на службѣ, между тѣмъ какъ онъ не дослужилъ до 35 лѣтъ одного года и двухъ мѣсяцевъ, и по „Уставу о пенсіяхъ"

невозможно выдать. Но, можетъ быть, ваше высокопревосходительство, въ видѣ изъятія...

— Хорошо. Заготовьте докладъ.

Понятно, что поля русскія пашутся, какъ при Рюрикѣ, и что „Земледѣліе", заведенное на Маріинской площади въ Петербургѣ, болѣе „проводитъ борозды" въ графахъ и подраздѣленіяхъ, горизонтальныхъ и вертикальныхъ, на великолѣпной „министерской бумагѣ" (въ лавочкахъ знаютъ) по 6 коп. листъ: толстая, глянцевитая, перо по ней такъ само и пишетъ... Надо бы завести тоже „министерскія чернила". Нельзя же, прискорбно „обыкновенными".

# Въ тяжелый часъ исторіи.

„Оболочка рушится, но живъ ли духъ?“ вотъ что хочется спросить при вѣсти о паденіи Портъ-Артура. „Духъ живъ“: вотъ отвѣтъ, который даютъ собою, а не словами своими, эти мученики и герои Портъ-Артура. Духъ русскій еще живъ; не сломленъ, не угнетенъ; ни мало не разбитъ, а разбитая оболочка его — эта вся полная вещественность войны, наши „опозданія“, „нехватка посланныхъ вещей“ и т. п., и т. п., только и говоритъ о ничтожествѣ и мелкости того матеріальнаго выраженія, который имѣлъ доселѣ нашъ вѣчно-свѣжій и несокрушимый духъ.

Если бы матеріальная сторона войны стояла на той же высотѣ, на какой стоитъ ея духовная сторона, русскіе были бы непобѣдимы! Да *русскіе* и доселѣ непобѣдимы, на каждомъ клочкѣ земли, гдѣ они стоятъ—*умирая, а не убѣгая.* Но Россія... отступаетъ, потеряла здѣсь, потеряла въ другомъ мѣстѣ. Безславно лежитъ стальной флотъ на днѣ гаваней; другія суда разоружены или плѣнны. *Россія* и *русскіе* —вотъ что слилось бы! Вотъ чему слиться бы! „Россія для русскихъ“: это пока торговый и промышленный терминъ: „русскіе“ точно пригла-

ваются „въ Россію“ открывать лавочки и мастерскія, какъ звалъ нѣмцевъ „въ гости“ Новгородъ. Но русскіе хотятъ (и не въ правѣ ли?) быть не только „торговыми гостями“ въ Россіи, а стать самою Россіею. „Россія—это я“, долженъ сказать русскій народъ; а каждый русскій, указавъ на сердце свое, долженъ быть въ правѣ сказать: „здѣсь бьется одна стодвадцати-милліонная часть Россіи“, а не то чтобы: „здѣсь бьется сердце сапожника Иванова“, „это грудь столопачальника Алексѣева“, „грудь журналиста Петрова“.

Воскресни, отечество! Боже, до чего мы всѣ разбѣжались по своимъ конурамъ, и только и мыслимъ себя по профессіямъ, рангамъ, состояніямъ, почти по кварталамъ и домамъ! Пыль! Осталась пыль отдѣльныхъ человѣческихъ фигурокъ, а нація—гдѣ она? Въ чемъ она? Неизмѣримый поясъ грацицъ въ Россіи—и въ немъ распыленныя частицы, эти жалкіе „обыватели“ (что за терминъ!!), сидящіе въ мурьяхъ своихъ, забитые, глупые почти, съ вѣковыми сплетнями, съ вѣковымъ навозомъ злобы, недоразумѣній, недомоганій около каждой мурьи?! Презрѣнное существованіе.

Служба и картишки, картишки и служба: еще ухаживанье за женой ближняго. Что же еще? „Еще?!!...—Сонъ послѣ обѣда“. „Мало, душно!“—„Рюмка водки за обѣдомъ... Смирновской, мягкой, какъ нигдѣ въ Европѣ не выдѣлывается“. Да, водка у насъ лучшая въ Европѣ. И сонъ такой сладкій, какъ нигдѣ въ Европѣ. И золотые сны?

Позорное существованіе. Измельчаніе литературы. Отсутствіе науки. Университеты, высшія

учебныя заведенія? Мальчики критикуютъ профессоровъ, а профессора заискиваютъ у мальчиковъ. Что угодно это, а не университетъ. Онъ „университетъ“ только по вывѣскѣ, по штатамъ и „уставу“, гдѣ вездѣ прописано „университетъ“. А по существу такъ же мало „университетъ“, какъ, напримѣръ, и валенки, которыя купили, а онѣ „не дошли по назначенію“, или даже вовсе и не купили, а только „въ квитаціи значится, что купили валенки и послали, а гдѣ онѣ—неизвѣстно“. Такъ вотъ и университетъ: „неизвѣстно“ гдѣ онъ; былъ основанъ, вывѣску повѣсили, а его не вышло.

Экзаменъ японскій отбросилъ насъ за 1812 годъ назадъ. Въ теченіе всего XIX вѣка (сто лѣтъ!!) ничего подобнаго не случалось съ Россіею: чтобы воевать 11 мѣсяцевъ—и ни одного выигранаго сраженія, ни одного успѣха, даже маленькаго—никакого!! Ничего! Нѣтъ Россіи: по крайней мѣрѣ въ чемъ же проявляется, что она *есть?* Въ недошедшихъ валенкахъ? въ брюхоносцахъ на днѣ порть-артурской гавани? Въ бѣгущемъ назадъ уже послѣ прорыва князѣ Ухтомскомъ? Нѣтъ, серьезно: въ чемъ выражается, что Россія—*есть?!*

Россіи будто нѣтъ. А русскіе? Слишкомъ *есть!* Кондратенко, Смирновъ, милые герои, но имъ вѣчная память, они сохранили въ насъ право гордости. А вѣдь вчера только были—и Смирновъ и Кондратенко—„обывателями“, безъ значенія, безъ фигуры въ себѣ. Презрѣнно *существованіе* обывателя по ничтожеству *жизни* его, по ничтожности *обстановки* его, но какимъ-то чудомъ онъ, слава Богу, *живъ* и даже *доблестенъ* и можетъ быть *героемъ!*

Мы хотимъ быть каждый одна сто двадцати-милліонная часть Россіи и чтобы на каждомъ изъ насъ была одна сто-двадцати-милліонная доля святыхъ преданій Руси, ея воспоминаній, отъ Олега до XIX вѣка, чтобы вокругъ каждаго пусть одною ниточкою, но было обвито государственное знамя Россіи, которое мы не унизимъ, какъ не унизили его Кондратенко, Смирновъ и другіе вчерашніе „обыватели“.

Мы не хотимъ, какъ нѣмцы въ Новгородѣ, только смотрѣть изъ окна, какъ шумятъ волны Волхова да собираются бояре и посадникъ что-то говорить о Новгородѣ. Мы *сами* новгородцы: Волховъ *нашъ*, и Новгородъ *тоже нашъ*. И земля наша русская, сокровище наше, сердце наше, гдѣ, зарыты наши покойники, надъ которой мы плакали, о которой мы плакали — *наша эта земля!* Вотъ чувство одной сто-двадцати-милліонной части русскаго отечества. Отечество—это *мы въ массѣ;* сознаніе это необходимо уже для того только, чтобы масса чувствовала же что-нибудь *священное* въ груди своей, чтобы она не впала въ цинизмъ, хулиганство, лакейщину... А вѣдь это возможно, возможна и *духовная смерть* націи, которая паче матеріальной.

25 декабря.

1905 г.

## Будьте справедливы.

Кн. Мещерскій рѣзко спросилъ въ „Гражданинѣ“: отчего митрополитъ с.-петербургскій Антоній не появился 9 января среди рабочихъ на площади Зимняго дворца, чтобы успокоить ихъ, сказать имъ вразумительное слово? Секретарь митрополита, или, раскрывъ скобки, самъ митрополитъ черезъ секретаря своего отвѣтилъ: „Въ сферу политическихъ и соціальныхъ движеній духовную власть *никто не считаетъ нужнымъ посвящать.* Поэтому пастырскаго слова владыки къ рабочимъ не могло и быть. Во всякомъ общественномъ движеніи надо быть вполнѣ освѣдомленнымъ, чтобы вовремя явиться, гдѣ нужно, и сказать то, что слѣдуетъ“.

На площадь Зимняго дворца 9 января долженъ и могъ бы выѣхать или выйти, для увѣщанія рабочихъ и приведенія имъ соотвѣтствующихъ текстовъ „отъ Писанія“ и вообще, чтобы они послушались „голоса матери своей св. Церкви“, оберъ-прокуроръ Свитѣйшаго Синода, или, за его престарѣлостью, товарищъ оберъ-прокурора, неутомимо-дѣятельный и привыкшій произносить „слово“ В. К. Саблеръ. При чемъ тутъ митропо-

литъ? Онъ призванъ „литургисать“, т. е. стоять на подобающемъ мѣстѣ въ подобающій день и часъ въ Исаакіевскомъ соборѣ, въ торжественныхъ одѣяніяхъ, и произнося, на память или по книжкѣ, торжественныя слова. Больше ни къ чему онъ не призванъ, ничего ему не дано, и за всякій иной шагъ,—а ужъ особенно въ среду рабочихъ!!!—онъ могъ получить „непріятность по службѣ“, если и не съ „занесеніемъ въ формулярный списокъ“, то въ видѣ шопота, нисколько не менѣе грознаго, или даже потому особенно грознаго, что онъ произносится на-единѣ, и за митрополита рѣшительно некому было бы заступиться. Чтобы дѣйствовать, надо имѣть *привычку* дѣйствовать, надо имѣть *обычай* дѣйствовать. По непроторенным дорожкамъ ноженьки не ходятъ. „Привычки“ же и „обычая“ много, чѣмъ чтобы ихъ возили въ каретахъ въ „подобающее мѣсто“ и тамъ они произносили „подобающія слова“—митрополиты, какъ, впрочемъ, и все наше духовенство, не имѣютъ.

9 января, да и вообще всѣ послѣднія событія заставили насъ очнуться и спросить: „гдѣ же духовная власть?“ (не въ строгомъ, а моральномъ смыслѣ), „гдѣ священническій авторитетъ“, „гдѣ пастырское слово?“ Но „пастырское слово“, насколько оно выражается не въ „очередной проповѣди“ (которой никто не слушаетъ), находится въ пяти изданіяхъ извѣстнаго „Московскаго сборника“. Вотъ это и есть „пастырское слово“ для Россіи. Совершенно основательно взялся произвести „пастырское слово“ по всѣмъ необозримымъ вопросамъ общественной и политической жизни.

русской и міровой, К. П. Побѣдоносцевъ: а безчисленные духовные писатели въ безчисленныхъ духовныхъ журнальцахъ цитируютъ эту книжку „паче Златоуста“, и, ужъ понятно, въ общественныхъ и политическихъ областяхъ золотыя слова этой книги для всего духовнаго сословія суть „яко писаніе“ и даже „яко Писаніе“. По протореной дорожкѣ ноженьки сами идутъ. Уже давно слагалось такъ, а къ нашимъ временамъ окончательно сложилось, что духовный пастырь смиренныхъ овецъ русскихъ есть, конечно, оберъ-прокуроръ Св. Синода: у него горлышко широкое, голосокъ золотой, ноженьки неустанныя, ученьки непокладистыя. А митрополиты и епископы, коихъ онъ призываетъ въ „подручные“ себѣ и поручаетъ имъ третьестепенныя дѣла, какую-нибудь формальную рухлядь текущихъ будничныхъ дѣлъ, не имѣютъ рѣшительно никакой иниціативы въ рѣчи или въ дѣлѣ. Нареканія посему на нихъ также несправедливы, какъ если бы кто-нибудь спросилъ: „а почему иконы, стоящія въ переднемъ углу избы, не тушили пожара, когда изба горѣла?“ Странный вопросъ. Иконы не для того сдѣланы, чтобы ими тушить пожаръ. На нихъ молятся. И духовенство наше сдѣлано для того, чтобы на нихъ „взиралъ“ народъ,—тоже съ „подобающими чувствами“ и въ „подобающихъ случаяхъ“. Послѣ „взранія“—„иконы“ задергиваются шелковой занавѣсью, стоя „въ уголку“; не видныя, безмолвныя. Кто хочетъ—„помолись на передній уголъ“. Не хочетъ—и такъ обойдется.

— Почему духовникъ Государей и также протопресвитеръ военнаго и морскаго вѣдомства (судя по книгѣ „Исторія оберъ-прокуроровъ Святѣйшаго Синода", написанной проф. Благовидовымъ) въ XVIII вѣкѣ, бывали непремѣнными членами Святѣйшаго Синода, а теперь исключены изъ состава синодальныхъ членовъ? спросилъ я одного авторитетнаго чиновника, служащаго при Святѣйшемъ Синодѣ.

Изъ лицъ этихъ одно близко къ Государю, а другое бываетъ въ гражданскомъ обществѣ. Ихъ рѣчи о положеніи духовныхъ дѣлъ, въ качествѣ разъясненія или совѣта, могли бы составить неудобство для оберъ-прокурорской власти. Посему было отыскано какое-то мелочное и никому въ голову не приходившее ранѣе правило изъ исторіи византійской церкви. И хотя Аѳанасій Великій, обличитель Арія на вселенскомъ соборѣ, былъ пресвитеръ, хотя вообще множество священниковъ присутствовало на вселенскихъ соборахъ, — однако оберъ-прокуроръ, воспользовавшись какимъ-то правиломъ, доложилъ Государю о „неповолительности по такому-то правилу пресвитеру участвовать въ духовныхъ дѣлахъ", и съ тѣхъ поръ бѣлое священство исключено было изъ Синода. Съ монахами ему удобнѣе, ибо кромѣ четырехъ стѣнъ своей кельи монахъ никого не видитъ. Это или младенцы неопытные, которыхъ оберъ-прокуроръ, какъ нянька, несетъ куда надо, или запуганные страшной возможностью быть посланными „на лоно" (въ отставку) служилые люди, которые повинуются во всемъ.

Такимъ образомъ оберъ-прокуроръ исполняетъ роль няни. Она кормитъ, обуваетъ, одѣваетъ младенцевъ. Все отъ нея зависитъ,—и не дать молочка. А молочка всѣмъ хочется. Помнится всѣмъ Скублинская. Зеленые огоньки появляются въ глазахъ у доброй няни, когда „дитя безпокойно". „Дѣти" обыкновенно бываютъ спокойны. И вотъ теперь ихъ спрашиваютъ:

– А отчего ты, дитя, не возговорило зычнымъ голосомъ, какъ Святогоръ-богатырь, какъ Илья, какъ Самсонъ?...

Безмолвіе. Даже внятно и выразить оно не можетъ: „почему". Страшная няня, добрая няня, стоитъ въ углу. Дитя безпомощно поводитъ глазками на нее и—молчитъ.

1905 г.

## Скорбныя мысли проф. Демьянова о земскомъ соборѣ.

Проф. М. Н. Демьяновъ изложилъ свои скорбныя недоумѣнія по поводу мысли или предположенія о земскомъ соборѣ. И эти недоумѣнія уже потому заслуживаютъ вниманія и обсужденія, что они чрезвычайно распространены. Ихъ можно услышать въ частныхъ разговорахъ; попадаются они въ печати: мнѣ пришлось, наконецъ, услышать на улицѣ громкое ругательство по поводу мысли созвать земскій соборъ отъ какого-то старика: зато, дня за два до Рождества, на Воскресенскомъ проспектѣ, я слышалъ брань какой-то петербургской Сивиллы, лѣтъ за 70-ть, которая, размахивая руками, кричала: „Нѣтъ правды въ русской землѣ! никакой правды".—Стара, бабушка, пора умирать", смѣялись надъ ней извозчики. Картинка мнѣ показалась изъ красивыхъ.

Въ чемъ же дѣло? Проф. Демьяновъ *ничего* не хочетъ. Можетъ быть, онъ считаетъ состояніе Россіи превосходнымъ, какъ во внѣшнемъ, такъ и особенно во внутреннемъ отношеніи? Нѣтъ, онъ его считаетъ скверпымъ, и особенно во внутреннемъ отношеніи, которое привело рус-

ское общество къ состоянію духовной анархіи. Но вѣдь эта духовная анархія настала до земскаго собора, при режимѣ чиновниковъ? И между тѣмъ проф. Демьяновъ, уже привыкшій къ режиму чиновниковъ, хотѣлъ бы сохранить его. Просто, это привычнѣе, въ этомъ теплѣе, такъ уютнѣе. Но какая же это „уютность", если въ домахъ, да частью и на улицѣ, стоитъ анархія душъ и правовъ. Она была, но о ней не печатали при Плеве и Сипягинѣ; она есть и о ней печатаютъ теперь. Но мы давно уже живемъ въ этой характерной и раздраженной „анархіи духа", которую, понятно, хочется успокоить. „Она есть и на Западѣ, при правовомъ порядкѣ",—вотъ почти главное возраженіе проф. Демьянова противъ созыва земскаго собора. Но если она есть и при чиновникахъ, и при правовомъ порядкѣ, останется послѣ созыва земскаго собора, какъ зародилась до него: то очевидно bête noire проф. Демьянова вообще не имѣетъ никакой связи со способомъ политическаго и общественнаго существованія страны, и тогда непонятно, отчего же именно онъ заговорилъ объ „анархіи духа" по поводу темы о земскомъ соборѣ? Такъ можно разсуждать о состояніи русской поэзіи „по поводу проведенія Сибирской дороги".

Вернемся къ темѣ собора. Ея содержаніе и исторію слабо знаетъ проф. Демьяновъ, что видно уже изъ того, что онъ начало ея приписываетъ Михаилу Ѳеодоровичу, когда извѣстно, что она всецѣло вышла изъ головы Іоанна Грознаго, необъятно-любимаго народнаго русскаго царя; вышла, какъ плодъ разумѣнія имъ государственнаго дѣла;

какъ попытка обезпечить населеніе отъ произвол
бояръ, къ которымъ едва ли не приравниваютс
теперешніе бюрократы. Соборы того времени про
Демьяновъ считаетъ благотворными, ибо на них
собирались люди 1) изъ очень далекихъ мѣст
2) проѣзжая по очень дурнымъ дорогамъ, и 3) им
было что разсказать другъ другу „о доходныхъ
статьяхъ своихъ, промыслахъ, урочищахъ, уро
жаяхъ, скотоводствѣ, повѣтріяхъ и проч., что за
ставляло трепетать сердца слушателей". Но, можно
быть увѣреннымъ, въ настоящее время, если со
берутся русскіе люди, они разскажутъ другъ друг
о вещахъ неизмѣримо болѣе интересныхъ, важ
ныхъ; и слушаніе будетъ еще трепетнѣе. Вѣдь мы
вовсе не знаемъ, напр. здѣсь, въ Петербургѣ, рус
ской земли. Мы не имѣемъ живого, физіологиче
скаго представленія о сибирякѣ, вятичѣ, пермякѣ
вологжанинѣ, всю Русь мы знаемъ въ отвлеченіяхъ
въ какихъ-то алгебраическихъ знакахъ. Увы, умомъ
русскимъ бѣденъ Петербургъ и богатъ только до
ходами съ Руси. Что такое земскій соборъ? Русь
двинется въ Петербургъ. Русь пріѣдетъ къ намъ
въ гости, разскажетъ о себѣ, чѣмъ она болитъ
въ чемъ нуждается, какія сама видитъ средства
къ исцѣленію болячекъ своихъ. Не хотѣть этого —
ей-ей, антихристово дѣло. Достаточно быть хри
стіаниномъ, достаточно быть просто добрымъ че
ловѣкомъ, по крайней мѣрѣ не злымъ, чтобы по
желать этихъ гостей, этихъ дорогихъ провинціаль
ныхъ людей всѣмъ горячимъ сердцемъ.

„Кафтанъ старой Руси не по плечамъ теперѣш
ней выросшей", —аргументируетъ проф. Демьяновъ

„и онъ или свяжетъ ее, или она разорветъ его". „Comparaison n'est pas raison" — давно сказано. Всѣ эти сравненія учрежденій съ кафтанами, въ цѣляхъ что-нибудь доказать, показываютъ если не „анархію духа", то „малолѣтство духа". Соберутся русскіе люди, чтобы ихъ увидѣлъ Государь; чтобы онъ увидѣлъ Русь не въ мундирѣ, не съ затверженною заранѣе рѣчью, условною, лживою, притворною: а увидѣлъ бы ее, какъ она есть, какъ выросла, какъ живетъ: эта цѣль Іоанна Грознаго передъ созывомъ перваго собора сохранится и сейчасъ. Просто дико слышать, что теперь уже они пріѣдутъ не въ боярскихъ шапкахъ, не по скверными дорогамъ и будутъ говорить не „о своихъ урочищахъ" (какая трогательная тема). Но развѣ Государь Русскій, одѣвающійся иначе въ простое военное платье, не есть продолжатель и даже не есть тотъ же самый государь нашъ, какъ и предки его — Алексій и Михаилъ? И неужели, если онъ въ 1904 г. обдумывалъ японскую войну, онъ не есть то же, что Грозный, который обдумывалъ покореніе Казани, Астрахани и Сибири? Что значитъ перемѣна одежды и предметовъ заботы? Ничего. Непонятно, для чего объ этомъ заговорилъ проф. Демьяновъ.

Едва соберались бы русскіе люди, какъ русскія мнѣнія начали бы формироваться въ огромныя немногія теченія, на мѣсто той мелкой зыби мыслей, средп которой мы живемъ теперь. „Анархія духа" безспорно уменьшилась бы, не исчезнувъ, какъ ея меньше и теперь на западѣ Европы, нежели у насъ. Всѣ говорятъ въ одинъ голосъ, что Европа —

это порядокъ, а Россія—это безпорядокъ. Классическая страна свободы, Англія—это классическая страна порядка и могущества. Нѣтъ, когда подумаешь о нынѣшней войнѣ, о Турецкой, о Крымской, о всемъ, что мы перестрадали за это время, и все еще слышишь голоса: „Пусть все останется попрежнему“,—то кажется, что они диктуются сумасшествіемъ и преступленіемъ. И, что особенно смѣшно и почти забавно, такъ это то, что говорящіе такъ господа принимаютъ видъ какихъ-то государственныхъ мудрецовъ, морщатъ чело, хмурятъ брови, стараются говорить басомъ, а на самомъ дѣлѣ у нихъ самый ребяческій дискантъ. Можетъ быть „все останется по старому“. Но посмотрите, какъ эти господа тогда схватятся за волосы и станутъ кричать: „Извините“. Но будетъ поздно, потому что страна имъ не извинитъ. Исторія ихъ не проститъ.

Пусть Государь увидитъ живое лицо своего народа и пусть народъ услышитъ живое: голосъ своего Государя,—вотъ и вся мысль и все существо земскаго собора. Увѣренъ, оба они возродятся въ любви къ могуществу. Какъ бы встанутъ изъ затянутыхъ сукномъ гробницъ Архангельскаго собора серьезныя фигуры—отъ Калиты до Алексѣя Михайловича, и станутъ ангелами хранителями надъ новымъ и вмѣстѣ древнимъ зрѣлищемъ Государя, совѣщающагося съ землею своею. Впервые для народа русскаго станетъ очевидно, живо и конкретно, что и Государь есть человѣкъ, несущій въ груди своей всѣ русскія боли, страдающій такъ же, какъ мы; и въ немъ мы поло-

бимъ свое и себя, привычною, идеальною любовью. Право, разстояніе есть самый великій врагъ любви; ближе -все лучше, всѣ лучше; исчезаютъ миражи, обманы: и когда въ дѣйствительности есть правда—она становится во-очію и любимою. Не на этомъ ли основывается и всякое сближеніе людей, и самое теплое изъ сближеній—семейное? Дѣти хотятъ приблизиться къ отцу своему: сколько правды въ этой простой и основной мысли земскаго собора. „Нѣтъ, не народъ, а только чиновники суть дѣти царя: довѣренные, ласкаемые, награждаемые“: эта подспудная мысль бюрократизма—до чего она не русская, до чего она цинична!

Что намъ и остается пока, какъ не анархія духа? Кипимъ пустымъ кипѣніемъ. Точно вода, въ которую не опустили крупы. Каша не выходитъ, а котелъ можетъ лопнуть, особенно, если его закрыть, т. е. если закрыть еще и свободу мнѣнія и слова, по причинѣ ихъ „анархичности“. Анархія—отъ бездѣлья. Отъ того, что у русскихъ нѣтъ дѣла иначе, какъ по уроку, по заказу, по приказанію (сущность чиновничества). „Призови человѣкъ русскій благословеніе Божіе на свой *свободный трудъ*“,—эти слова манифеста объ освобожденіи крестьянъ, въ сущности, совершенно отвѣчаютъ и теперешнему положенію вещей, теперешней ихъ мучительной вопросности, не получившей своего „да“! „Осѣни, Боже, свободный трудъ русскаго человѣка (соборный трудъ) въ установленіи порядка и наряда (красоты) въ Русской Землѣ“.

Мартъ 1905 г.

## Государство и общество.

Прекрасно... монументы и монументы; кланяюсь цѣлую почтительно руку, прохожу „на цыпочкахъ" мимо всего этого величія, мимо полководцевъ, государственныхъ людей, съ лентами черезъ плечо знаками на шеѣ, дипломатовъ, секретарей. Больше ничего не надо? Да, почтительность—это все Отдавъ ее, я отхожу въ сторону и спрашиваю себя: что же я видѣлъ?

Величіе. Но ничего трогательнаго! Цѣловалъ „десницу", какъ католики у мертваго папы—туфлю. Прихожу домой, и моментально забываю туфлю, ленты, вижу блескъ милаго самовара, бѣлую чистую скатерть, хорошенькія чайныя чашечки, милую хозяйку дома, рядъ русыхъ крошечныхъ головокъ дѣтей, добрыхъ друзей дома: и въ завязавшейся бесѣдѣ я всему равенъ, мнѣ всѣ равны, разговоръ веселъ; тутъ и воспоминанія, и остроуміе, и шутка, цѣлая литература, только не записанная, а сказанная! Величественно ли? Нѣтъ! Но трогательно ли? Сегодня нѣтъ, завтра нѣтъ, но послѣзавтра будетъ безконечно трогательно, выпадетъ особенная минутка, и мы всѣ, наша семья, наши друзья, наше маленькое общество

переживомъ слезы, какъ сегодня переживали только остроуміе и смѣхъ.

Государство—это механика, общество—это поэзія. Первое можно сравнить съ фабрикою, громадною, страшною, нужною, но... не уютною. „Уютность"—особенное понятіе, можетъ быть присущее только русскому лексикону,—присуще обществу, которое можно сравнить съ деревней, селомъ, и какъ они ни мало видны и безшумны сравнительно съ фабрикою, однако сама фабрика существуетъ для села, сельчанъ, выдѣлывая ситцы или земледѣльческія орудія для ихъ работы, жизни, обихода. Душа не видна, однако тѣло существуетъ для нея. Общество, поэзія, неуловимыя, волнующіяся, капризныя, суть также, въ сущности, главное и первенствующее сравнительно съ государствомъ, въ которомъ оно, повидимому, только живетъ и которому „отдастъ честь": но въ то же время всѣми святыми инстинктами чувствуетъ въ себѣ, что государство—эта громадная и гордая машина, кой въ чемъ должна и сообразоваться съ его поэтическими вдохновеніями.

Скажите, что́ интереснѣе: исторія министерства народнаго просвѣщенія или исторія русской литературы? Вотъ вопросъ, который все разъясняетъ и все кончаетъ. Безъ сомнѣнія, исторія русской литературы не только занимательнѣе, но она и поучительнѣе, воспитательнѣе, мудрѣе, серьезнѣе, нежели исторія министерства народнаго просвѣщенія, съ біографіями министровъ, въ немъ смѣнявшихся, съ изложеніемъ уставовъ гимназій, прогимназій и университетовъ, и всей необозримой

перепиской между департаментомъ министерства въ Петербургѣ и попечительскими канцеляріями въ Москвѣ, Казани, Кіевѣ, Харьковѣ, Одессѣ, Ригѣ, Варшавѣ. Сколько этой переписки? Много возовъ, цѣлый поѣздъ! Кто хочетъ ее читать? Никто! Кто хочетъ читать біографію Кольцова? Всѣ! Его стихи? Всѣ же! Да мало—читать: всѣмъ хочется выучить ихъ наизусть! А онъ былъ мужикъ, прасолъ!

Общество, хотя „подонки" его и населяютъ всѣ тюрьмы, въ которыя, кажется, изъ господъ чиновниковъ никто или приблизительно никто не попалъ, въ послѣдующихъ слояхъ своихъ, многочисленныхъ, во всей толщѣ этихъ слоевъ—являетъ вдохновеніе, геній, талантъ и наконецъ, прямо небесное: по крайней мѣрѣ являетъ какое-то электричество, которое „чортъ знаетъ, что значитъ", тогда какъ слои чиновниковъ, или точнѣе благоустроенные „классы" ихъ именно изъяты отъ всякаго электричества, магнетизма, отъ всѣхъ этихъ „невѣдомыхъ, темныхъ силъ" и являютъ просто клѣтку, составленную изъ желѣзныхъ прутьевъ, въ которой сидитъ птичка. Вотъ еще сравненіе: клѣтка ли для птички, птичка ли для клѣтки. Клѣтку сдѣлалъ человѣкъ, а птичку Богъ. Клѣтка (не въ нарицательномъ, а утилитарномъ смыслѣ)—это опять государство, а птичка—маленькая, робкая, небесная, „жительница стихіи".—Это общество, отъ хулигана до Пушкина! Позвольте взять эту огромную скобку, и заключить въ нее все, весь народъ. Ибо и народъ, т. е. бытъ, языкъ, нравы, остроуміе, пѣсни—это тоже обще-

ство, это ни въ коемъ случаѣ не категорія государства.

Общество—гидра. Вотъ попалось несимпатичное сравненіе. Но пусть. Я хочу сказать, что отруби у него голову (конечно, никто не хочетъ ее рубить: можетъ быть, только кн. Мещерскій), выростетъ у него десять на мѣстѣ одной. Маленькое, трепетное, робкое, оно живуче, до проклятія, и даже наконецъ безсмертно, не можетъ и не умѣетъ умереть. Попалось худое сравненіе - буду его продолжать. Въ обществѣ есть и змѣиныя черты — не одинъ Пушкинъ, но и хулиганы, не только — Кольцовъ, но былъ и Разинъ. Вотъ въ государствѣ этого не попадалось. Государство безъ электричества. Ни генія, ни преступленія. Общество въ одной своей половинѣ имѣетъ прямо ангельскія черты, ну—въ пѣсенкѣ Пушкина, въ мелодіи Чайковскаго, въ спокойномъ пѣніи благополучнаго дома! Но есть въ немъ и другая половина, съ фосфористымъ сіяніемъ глазъ, съ черными молніями, то ядовитая, то злая и наконецъ прямо демоническая. Общество столько же есть демонъ, какъ и ангелъ; тогда какъ въ государствѣ — ни демона, ни ангела. Полюсовъ-то и нѣтъ. А оттого, что нѣтъ электричества. Обществу поэтому ужасно трудно приказывать: его нужно нѣжить, ласкать, что-то нашептывать ему. Съ обществомъ управиться... нѣтъ, нужно предоставить управлять имъ поэтамъ, мудрецамъ, ну—первосвященникамъ, болѣе всего пророкамъ, и вовсе отказаться отъ этой мудреной и неисполнимой задачи государству. Просто разныя категоріи. И нѣтъ тутъ никакой обиды.

Клѣтка для птички, а не птичка для клѣтки. Мы настаиваемъ на служебной роли государства, на его отнюдь не автономномъ и не абсолютномъ положеніи, значеніи. Чиновники, которые вообще плохіе поэты и плохіе мудрецы, впали въ огромную ошибку относительно своего историческаго значенія, вообразивъ, что сумма ихъ, правда, все съ орденами и лентами, представляетъ собою какой-то „итогъ“, какое-то „абсолютное нѣчто“, пожалуй, державу около державы и націю около націи. За чиновниками стало не видно народа: это аксіома, давно всѣмъ извѣстная. По мѣрѣ того, какъ чиновное „я“ разросталось, исторія мертвѣла; и, увы, она вѣдь помертвѣла не въ одной Россіи, но и въ Германіи, Франціи, даже въ Соединенныхъ Штатахъ, гдѣ всюду рѣзонительно есть чиновники. И красива только исторія Англіи, на фонѣ которой чиновникъ какъ-то не замѣтенъ!

Чиновникъ — антиэстетическое явленіе. Я не люблю эстетики, но въ данномъ случаѣ хочу заступиться за нее. И по самому демократическому чувству. Среди серіи моихъ воспоминаній есть одно: лѣтъ десять назадъ служила у насъ служанка. Мужъ слесарь въ арсеналѣ, получалъ по три рубля въ сутки (всѣ хорошія сутки), но все проживалъ чуть не съ „красавицами“, а женѣ доставались одни побои, сына же подростка онъ до того билъ, что при его нѣжномъ и хрупкомъ здоровьѣ добилъ до могилы. А сынокъ пѣлъ въ хорѣ Шереметева, нѣжно любилъ мать, и она плакала не наплакалась, когда онъ умиралъ въ медленной

чахоткѣ и наконецъ умеръ. Вотъ объ этой-то женщинѣ я и помню смѣшной анекдотъ: бывало, прослышитъ на улицѣ, что тамъ-то въ Петербургѣ будетъ величественная процессія, ну, крестный ходъ или военная музыка, или какое-нибудь зрѣлище. Особенно — зрѣлище. И утеревъ привычныя слезы, просится-просится: „отпустите посмотрѣть!"—Да что тебѣ?—„Красиво". Красиво!!! Вѣдь вотъ чѣмъ живетъ народъ, кухарка: и не по этому ли мотиву мы любимъ чужія красивыя зданія, великолѣпные храмы, дворцы, театры, мосты, и пѣсню, и оперу! Пусть это не наше. Но если красиво и намъ можно посмотрѣть, то и наше! Но кромѣ зданій и даже неизмѣримо выше зданій есть красивыя событія, прекрасная исторія, эстетическая исторія народа-художника! Вотъ это-то, эту-то народную драгоцѣнность и украли у насъ черное „крапивное сѣмя", какъ ругался Сумароковъ о гг. засѣдающихъ въ канцеляріяхъ. Они что-то пишутъ. Но это- не зрѣлище. Ну, пусть они „почеркомъ пера" даровали намъ „всячески свободы", сломили Бастилію или эти запоры Спасо-Евфиміева монастыря: гдѣ же, однако, здѣсь красивое, трогательное, величественное? А вѣдь фактъ-то трогателенъ: могъ ли совершиться онъ такъ, что было бы на что посмотрѣть, что запомнить? Вѣдь должны же на чемъ-нибудь, кромѣ хрестоматій, воспитываться наши дѣти? Увы, мы не имѣемъ исторіи иной, чѣмъ какая совершается въ „отношеніяхъ за №", и часто весьма являетъ еще собою рисунокъ, героизмъ, страданіе, слезы; являетъ картину и трогательную.

А вѣдь могла быть таковою вся общественная жизнь, вся политическая жизнь, какъ въ Римѣ, въ Греціи, даже какъ въ Москвѣ. Все же съ Лобнаго мѣста на Красной площади дьякъ читалъ важнѣйшіе указы царской воли. Красиво. Красивѣе, чѣмъ прочитать въ „особомъ прибавленіи“ къ „Правительственному Вѣстнику“. Теперь красивы только еще церковныя службы, и между другими причинами—тоже и по этой ихъ такъ любитъ народъ. Архіерейская-то служба, протодіаконы-то, митрополичьи пѣвчіе? Я самъ видалъ, какъ простолюдинъ такъ и ньетъ красоту архіерейской службы. Глазъ не оторветъ, не шелохнется, и ни разу (или изрѣдка) не перекрестится. Но вѣдь и вся жизнь государства могла бы проходить такъ же или приблизительно такъ же красиво, эстетично, величественно, воспитательно. Но гдѣ и какъ это сдѣлать съ чиновниками, которымъ самое искусство антиэстетично? Ну, какую процессію можно устроить изъ нихъ? Позорное зрѣлище! Никакой „живой картины“ не выходитъ: я говорю объ исторіи и плачу объ этомъ и, вѣрно, слезы мои раздѣлятъ другіе.

Ну, пусть добродѣтель лучше эстетики. Но вѣдь, позвольте, для чего же эстетику представлять въ римско-греческихъ контурахъ, „съ закрытыми глазами“ (античныя статуи) и мраморною, когда ее можно представить совершенною, теплою, съ улыбкой, лаской и лѣпостью. Развѣ нравственное не лучше тогда, когда оно въ то же время и красиво? Старенькій-то домикъ съ скрипучими дверями, въ которомъ жили „Старо-

свѣтскіе помѣщики“ (Гоголь), лучше Пароенона. А потому, что не красивъ, и нравственъ. Напротивъ, у Достоевскаго разныя сцены „съ надрывомъ“ (такое заглавіе носитъ рядъ главъ въ „Бр. Карамазовыхъ“) хоть и высоко нравственны, но испорчены заключенною въ нихъ конвульсіею. Исторія народа вѣдь есть раздвинутая исторія человѣка, раздвинутая судьба единичнаго „дома“. Если бы „домъ“ этотъ, наша родная исторія была менѣе человѣческою и болѣе общественною, она могла бы включить въ себя всю ту теплоту,— блескъ и сіяніе, какія рѣшительно есть въ каждомъ единичномъ домѣ. Нѣтъ, послушайте: не вините, что такъ палъ у насъ патріотизмъ, что такъ мало русскихъ любятъ свою исторію, или говорятъ съ желчью: вся она—давно чиновническая! Такъ почему же я буду любить не свое? Не красивое? Не трогательное? Чиновники отняли у насъ „домъ“ нашъ, нашъ коллективный тысячелѣтній „домъ“. Изгнали Россію изъ Россіи. А жалуются на „космополитизмъ русскихъ“.

Самыя большія перемѣны суть тѣ, которыя всего незамѣтнѣе подкрадываются къ перемѣнѣ, произведенныя въ жизни націи проходомъ чиновниковъ, пожалуй, для цивилизаціи европейской многозначительнѣе произведенной революціею и даже, пожалуй, реформаціей. Уже потому, что одна ложь—и навсегда чиновникъ сдѣлалъ невозможною еще революцію или еще реформацію, какъ невозможнымъ сдѣлалъ и что-нибудь подобное реформѣ Петра. „Явленіе Петра“ въ исторіи нашей сводится въ итогѣ и существѣ своемъ къ

появленію громадной личности, которая замѣнила собою націю, и заставила всю Россію прожить 25 лѣтъ не столько механико-историческою, сколько лично-біографическою жизнью. Вся Россія точно превратилась въ лицо, въ личность, и пережила какую-то „C-dur“ Чайковскаго. Это была свѣтская форма пророчества или законодательства, какъ у Моисея (измѣненіе всего хода исторіи, опредѣленіе всей будущей судьбы народа). Но вѣдь суть чиновничества въ томъ и заключается, чтобы „съѣсть лицо“. И мнѣ не страшно сказать, что оно также „съѣло“, при всемъ раболѣпствѣ. „лицо“ царей и царя, какъ и „лицо“ людей—народа. Ни реформаціи, ни революціи, ни Петра—нельзя ожидать иначе, какъ „послѣ чиновника“, какъ расплескавъ ихъ чернила и поломавъ ихъ перья. Похороните чиновника — воскреснутъ народы; но народамъ не воскреснуть, пока чиновникъ сидитъ на своемъ стулѣ. Сидитъ, ерзаетъ на немъ, продавливаетъ рѣшетку, получаетъ „Анну на шею“.—Гдѣ же исторія? „А вотъ это и есть исторія“, резюмируетъ онъ, указывая продавленный стулъ, Анну на шеѣ и объясняя, въ чемъ состоитъ геморрой. Тьфу! Никакая кухарка не пойдетъ на такое зрѣлище и не захочетъ имѣть такую исторію.

Мнѣ хочется зло аргументировать:.и я позволю себѣ, уже разъ указавъ на раболѣпство чиновниковъ и вообще всѣхъ ихъ ранговъ въ отношеніи каждаго высшаго,—сравнить роль ихъ въ Европѣ съ ролью іезуитскаго ордена въ католичествѣ. Вѣдь Лойола тоже пришелъ съ великимъ эпиг-

зіазмомъ къ папѣ, пришелъ въ труднѣйшую минуту папства, предложивъ ему учредить новый орденъ, включилъ одинъ лишній параграфъ сверхъ обычныхъ монашескихъ: сверхъ „цѣломудрія, нестяжательности, смиренія", прибавилъ: „и полное послушаніе папамъ". Папы согласились, еще не зная, что изъ этого выйдетъ. „Но вѣрные, преданные до рабства слуги -во всякомъ случаѣ не помѣшаютъ". Итакъ, іезуитскій орденъ весь вырось изъ одной точки: пламенной, всеобъемлющей покорности и любви къ папству и папамъ, которымъ въ то время (реформаціи) народы начали маникировать повиновеніемъ. Такъ и монархамъ Европы, въ печальный часъ исторіи, подкралось безличное и безымянное явленіе чиновничества; этотъ подкидышъ безъ родителей, дня и часа рожденія котораго никто не знаетъ. Что же случилось съ іезуитствомъ? Служка--они поработили; давъ всемірную власть, они отняли видное обаяніе у католичества; организовавъ католичество, геніально его организовавъ, они лишили его святости. Тѣло осталось, великое тѣло: а гдѣ же душа? И великое тѣло загнило, гніетъ, наполняетъ смрадомъ вселенную, и всѣ его гонятъ отъ себя, ненавидятъ, стараются вытащить вонъ этого разлагающагося великана! А посмотрите: все мудро устроено, знаніе необыкновенное, дѣловитость сверхъестественная! Я говорю объ іезуитахъ и іезуитствѣ. Да, но они отняли святость: а его, это старое католичество, не мудрое, съ наивными легендами, смѣшными предразсудками, суевѣрными разсказами, любили народы и построили

изъ энтузіазма къ этой святости средневѣковые каоедралы и поднялись въ крестовые походы! Наивность — это деревня! наивность — это село! Іезуиты сломали сельское католичество, построивъ на мѣстѣ его фабричное католичество, съ трубами, машинами: всѣ разсмѣялись: „чему же тутъ поклоняться?“ Такъ эти „покорные слуги папъ“ разрушили ихъ средневѣковое царство, сами не зная какъ и когда. „На всякаго мудреца довольно простоты“. Но я хочу прибавить то resumé къ своей мысли, — что точь-въ-точь то самое, что совершили іезуиты въ католичествѣ, чиновники совершили въ старыхъ монархіяхъ Европы: придали имъ дѣловитость, устранили наивность, но вмѣстѣ съ тѣмъ устранили все обаятельное, поэтическое; все трогательное, воспоминательное и картинное.

Такъ что я, несмотря на весь свой консерватизмъ, люблю даже революцію—т. е. читать о ней. Все-таки картина. Покойный мой братъ, сдѣлавшись учителемъ въ гимназіи, выписалъ потихоньку черезъ учителя французскаго языка, ежегодно бывавшаго въ Парижѣ (былъ картежникъ и любилъ кокотокъ) иллюстрированнаго Луи Блана. Этимъ позволительнымъ способомъ я познакомился съ „картинами французской революціи“. Но вѣдь вотъ что поразительно: каждую-то страницу этой „проклятой исторіи“ оказалось, однако, возможнымъ иллюстрировать. Такъ это для читателя: что же было для зрителя!! Вспоминаю свою прислугу: каждый-то бы день она бѣгала на уголъ улицы посмотрѣть: „что дѣлается на

оклюмъ свѣтѣ". Конечно, тишина вещь хорошая. Тишина есть вещь добродѣтельная. Но эстетика? Позвольте, вся исторія была именно не тишиною, и если бы было все „тихо", то вѣдь какъ же совершилась бы исторія? Ну, а сказать, что „всей исторіи не нужно"—этого не рѣшится никакой нигилистъ. Стало быть, нужна не одна тишина. Стало быть, нужна не одна добродѣтель. Нужно, ну, хоть немножко эстетики. И шума. И безпокойства. Нужно позаботиться о демократіи, которая не читаетъ, въ карты не играетъ, иллюстрацій не понимаетъ: архіерейская служба слишкомъ однообразна, т. е. для Россіи вездѣ одна и та же. И нужны ей красивыя зрѣлища эстетической исторіи, но ясно—не революціонной, ибо для чего же такая судорога à la Достоевскій? Можно потише, поглаже, но пусть тоже—процессіи, картины, что-нибудь трогательное, воспоминательное. А то по чему дѣтей учить? Не все по книгамъ. Нужно, чтобъ они видѣли, осязали, плакали, возгорались. Что именно нужно,—конечно, я не умѣю въ подробностяхъ назвать и описать: это сдѣлаетъ будущее, о которомъ я не хочу пророчествовать. Но вѣрно многіе скажутъ немного: и мы ждемъ этого *краснаго* будущаго!

Я старъ, чтобы волноваться волненіями общества. При томъ, люблю нумизматику, т. е. науку, изумительно успокоительно дѣйствующую на нервы. И самъ въ „картинахъ" никакихъ не измѣняюсь. Но позволю замѣтить со стороны, что общество, одно лицо у котораго—ангельское, блаженъ тотъ, кто сумѣетъ повѣрить въ истинно

ангельскую его природу,—и другое лицо—демоническое и это тоже надо помнить и, конечно, не надо встрѣчаться съ его черными молніями,—что это общество одно хранитъ въ себѣ неопредѣленный источникъ возможно эстетическаго въ исторіи. Больше его неоткуда взять. А взять—такъ нужно, такъ до страданія хочется. Исторія есть и уже давно сдѣлалась необыкновенно скучна, монотонна, плоска, безъинтересна. Вспомните: годъ за годомъ шелъ, все то же. Точно архіерейскіе пѣвчіе въ Костромѣ, какъ и въ Рязани. Да нѣтъ, куда пѣвчіе: просто дьячокъ тянетъ „Господи, помилуй“ сорокъ разъ безъ перерыва. Вся исторія свелась къ перепискѣ чиновниковъ, да какимъ-то командировкамъ, да еще комиссіямъ по 25 руб. „за засѣданіе“. Тьфу. Скука! Разореніе! А главное, нѣтъ картины! Вѣдь мы этотъ годъ впервые пережили историческ. т. е. какъ дробь какой-то исторіи. Раньше просто не было исторіи. Вспомните разлагающееся католичество. И мы разлагались безъ шума, безъ „событій“. Шума не было. Но гніеніе? Оно вездѣ было. Уже Леонтьевъ болѣе десяти лѣтъ назадъ ощущалъ это всеобщее кругомъ разложеніе и совѣтовалъ, какъ политическую программу: „подморозить гніющее“. Печальный совѣтъ самаго пламеннаго изъ нашихъ консерваторовъ, пожалуй, единственнаго консерватора-идеалиста. Печальный и безсильный совѣтъ: онъ забылъ, что вѣдь не вѣчная же зима настанетъ, что на установку вѣчной зимы не хватитъ силъ ни у какого консерватизма и что какъ потеплѣетъ, такъ сейчасъ

же начнется ужасная вонь отъ разложенія. Онъ, біологъ, забылъ другое явленіе, что выростаютъ чудныя орхидеи на гніющихъ останкахъ старыхъ деревъ, но, уже конечно, выростаютъ онѣ вовсе не повторяя въ себѣ типъ и форму этого дерева, превратившагося, по закону всего смертнаго, въ „персть земную“. Вотъ отчего на теперешнія „безпокойства“ никакъ не слѣдуетъ смотрѣть печально или безнадежно. Всѣ указали въ одинъ голосъ на чиновника: и это ей-ей не по одному только утилитарному мотиву. Всѣ поражены его неэстетичностью. Не то, чтобы не надѣются отъ него добра, но отъ него не хотятъ добра, отъ него такъ привыкли видѣть задержку всякой красотѣ, всякой личности, всякому таланту, генію, что не хочется видѣть отъ него самыхъ полезныхъ, но, очевидно, временныхъ фруктовъ. Въ умахъ, въ сердцахъ слышится грустная музыка. Темныя полоски перебѣгаютъ въ глазахъ общества, которое лишили родины, исторіи. Ей-ей это великая тоска по идеалу, тоска по прекрасному. Тоска эта лежитъ въ основѣ всего. Безъ нея мы по-чиновнически, черезъ какую-нибудь комиссію ублаготворили бы рабочихъ и „какъ-нибудь“ кончили бы или, пожалуй, продолжали бы „какъ-нибудь“ войну. Но мы заплакали по красивому и великому. А это другое дѣло! Тутъ „комиссіей“ не поможешь. Не сказалъ ли я нѣкоторой истины, которая мерещится и многимъ?

Апрѣль 1905 г.

# Русскіе историческіе портреты на выставкѣ въ Таврическомъ дворцѣ.

Я попалъ слишкомъ поздно, преступно поздно на эту выставку, на которой побывалъ уже весь Петербургъ, но мнѣ очень хочется сказать о ней нѣсколько словъ.

Выставка эта—безуміе великолѣпія, роскоши интереса, осмысленности. По ней можно бродить какъ по галлереямъ Рима и Флоренціи, до такой же боли ногъ, и все-таки осмотрѣть за день только уголокъ. Осматривать ее, въ смыслѣ фланированія, почти безполезно. Да и было бы варварствомъ для русскаго взглядывать скользя на этотъ живой „паркетъ“ своей исторіи, гдѣ каждый квадратикъ связанъ съ событіемъ; и если бы русская исторія, занимательная и глубокомысленная, была написана — о каждой рамкѣ, всякомъ портретѣ, зрители говорили бы: „вотъ это описано въ такой-то книгѣ и главѣ русскаго Геродота“. „вотъ лицо. такъ изображенное русскимъ Тацитомъ“. Но у насъ, увы, ни Геродотовъ, ни Тацитовъ еще нѣтъ.

Все-таки русская исторія въ XVIII в. и первой трети XIX в. роскошна, упоительна. Упои-

тельна —я не стыжусь этого слова. Потомъ что-то случилось; лица пошли тусклѣе. Напр., громадная картина Рѣпина „Засѣданіе Государственнаго Совѣта"... просто не знаешь, что о ней думать. Я нѣсколько разъ возвращался въ отдѣльную комнату, гдѣ она поставлена, съ томительнымъ недоумѣніемъ: что же я должепъ думать объ этомъ? Ни въ какомъ мѣстѣ, ни на улицѣ, ни въ частномъ собраніи, ни въ театрѣ, ни въ церкви, я не видалъ людей, собранныхъ въ такомъ множествѣ, между которыми нѣтъ ни одного лица замѣчательнаго, краспваго или просто характернаго! Мнѣ показалось: точно торговцы Александровскаго рынка одѣлись въ мундиры, которыми они торгуютъ,—и эту фантасмагорію парисовалъ Рѣпинъ. Цѣна мундира тысячная, а носитъ его—ницій. Еще со спины глядишь ничего... Рѣпинъ такъ и представилъ одно лицо, „докладывающее" Совѣту дѣло – со спины. А какъ повернуть, лицомъ или въ профиль къ зрителю руки опускаются! Что такое произошло? Мнѣ кажется, разгадка этого находится въ одномъ уголкѣ этой дивной выставки; въ отдѣлѣ портретовъ эпохи Александра I-го виситъ впервые выставленный портретъ Сперанскаго, еще юпаго, въ самомъ началѣ его изумительнаго поприща. Это вовсе не портретъ утомленаго годами и переломами въ жизни государственнаго человѣка, это—портретъ его отъ 1806 или даже 1802 г. Губы выражаютъ безмѣрное высокомѣріе, упорное презрѣніе ко всему окружающему, ко всей этой „старо-графской и старо-княжеской рухляди", которая такъ

ярко представлена на портретахъ Елизаветинской и Екатерининской эпохи, и которую вотъ-вотъ онъ начнетъ ломать; а глаза его, эти маленькіе, свиные, до таинственности закрытые сверху и снизу сближенными вѣками глаза — что-то двумительное, таинственное!!... Кто бы на портретъ ни взглянулъ, пусть иностранецъ, пусть „до возвышенія Сперанскаго“, не могъ бы не остановиться, пораженный: „это что-то необыкновенное“, „это какой-то необыкновенный человѣкъ“, „это феноменъ“.

Богъ съ нею, бѣдностью. Я упивался богатствомъ.

Нѣтъ, эта чудная мода всего XVIII и 1-й трети XIX в.: отъ пояса идетъ закрывающая вуаль на грудь, но оставляетъ грудь въ верхней трети открытой. Конечно, я говорю не о военныхъ мундирахъ, а о женскихъ платьяхъ... Получилось цѣлое воинство русскихъ Палладъ-Аѳинъ, Діанъ и, можетъ быть, Афродитъ, я думаю иногда Афродитъ; и всѣ эти Потемкины, Орловы, Мамоновы, эти Безбородки и Вецкіе, обвѣваемые волнами „грудного“ зопра, не могли не творить, не кипѣть, какъ въ аѳинской „ἀγορὰ“ или въ римскомъ сенатѣ. Нѣтъ, дай-ка и мнѣ такое окруженіе — можетъ быть, я тоже совершилъ бы что нибудь. „Тысяча богинь смотрятъ на насъ съ небесъ“ (изъ дворцовъ): тутъ Суворовъ будетъ побѣждать, Потемкинъ—присоединять Крымъ, всѣ будутъ грозить, напрягаться, „выходить изъ силъ“. Нѣтъ, ей-ей: тогда бы и я могъ что-нибудь. Теперь ничего не могу.

И даже не хочу.

Мраморный бюстъ Павла I, разысканный С. П. Дягилевымъ въ кладовой Технологическаго института, и его же портретъ во весь ростъ, подъ балдахиномъ, въ коронѣ, въ мантіи мальтійскаго ордена, извлеченный изъ „Запаснаго дворца" (не жилого) въ Гатчинѣ тоже новинка. Кажется, портретъ этотъ, хотя и торжественный, не принадлежитъ къ числу любимыхъ портретовъ и даже его немного прячутъ. А зрителю и „подданному" хочется самому отъ него спрятаться. Хочется оставить пустую эту комнату. Корона на императорѣ покачнулась, а рука его протягивается къ лежащему на столѣ кинжалу. Что за концепція! Кто рисовалъ?? нужны бы объясненія. Я смотрѣлъ на него съ ужасомъ. Плачь, Минерва, богиня мудрости, и Аполлонъ, богъ порядка.

А позади его -именно Минерва, — и впереди — Аполлонъ. Это Екатерина и Александръ во множествѣ оффиціальныхъ и увеликолѣпленныхъ подобій. Но все же въ темныхъ уголкахъ дивной галлереи есть они и au naturell Между прочимъ, ну, развѣ не прелестная натура эта голенькая, лѣтъ 7-ми, Елисавета, снятая батюшкою буквально какъ мы видимъ дѣтей въ банѣ. Она не сидитъ и не стоитъ, но также и не лежитъ, а куда-то вытянула тѣльце вправо. Милый ребенокъ, хочется взять тебя въ руки и расцѣловать всего кругомъ, ножки, носикъ, шею, всѣ ямки и округлости.

Въ ребенкѣ пусть карандашъ рисуетъ, а резинка ничего не стираетъ. Это бытіе безъ кляксъ. Вотъ въ „Александровскомъ рынкѣ", въ который

я невольно переименовалъ „Государственный Совѣтъ“, можно бы все стереть резинкою. И колдунъ этотъ Рѣпинъ: сперва я сказалъ себѣ: „гдѣ же его талантъ? гдѣ эти спины и лица запорожцевъ?! Какъ все сѣро тутъ: безсильна кисть“. Но къ концу разглядыванья я догадался: „хитрецъ! онъ именно далъ только то, что̀ видѣлъ: ничего больше“. Это картина великая, это Карѳагенъ передъ разрушеніемъ. „Carthago delenda est“... Для чего же художникъ сталъ бы брать темою: „Carthago in gloria“. Художникъ на этотъ разъ хотѣлъ быть немножко „Сивиллою“.

# Женщины и представительство.

По поводу организаціи будущаго народнаго представительства высказывались противъ допущенія къ нему женщинъ,—„какъ явленія слишкомъ новаго и въ Россіи пока неумѣстнаго". Вѣроятно тысячи статскихъ и дѣйствительныхъ статскихъ совѣтниковъ, собирающихся „говорить" въ новой обстановкѣ и новымъ слушателямъ, кивнули головой при чтеніи этихъ строкъ: „ну, разумѣется, говорить будемъ *мы*". И въ то же время, можетъ быть, повернулись въ древнихъ могилахъ кости св. Ольги, прозванной историками „мудрою", и Марфы Посадницы, имя которой одной поднялось надъ рядами тусклыхъ посадниковъ новгородскихъ, и царевны Софьи, весьма и весьма умѣвшей „говорить" со стрѣльцами. Можетъ быть, недоумѣнно поднялось вѣко надъ мертвымъ глазомъ то грозныхъ, то ласковыхъ монархинь, Екатерины нашей и Екатерины Медичи, Маріи-Терезіи, Елизаветы и Викторіи англійскихъ. Марія-Терезія съ младенцемъ Іосифомъ на рукахъ передъ бушующими венгерскими магнатами, она же императрица, разъ накормившая публично ребенка бѣдной женщины собственною грудью—

это поучительно и для мудрецовъ. „Мы только случайно и минутами всходили на престолъ, но мы умѣли и жить, и царствовать, умѣли законодательствовать и любить. Наше время... было какъ-то пышнѣе, сложнѣе и роскошественнѣе времени мужскихъ правленій, какъ наши костюмы и пышнѣе, и шире, и сложнѣе узкихъ, сухихъ, монотонныхъ фраковъ и сюртуковъ. Костюмъ есть вкусъ: но вѣдь и процарствовать *безъ вкуса*—невозможно...“.

Мы сразу назвали этотъ рядъ имепъ, чтобы показать, что историческая, широко-народная, могуче-общественная роль женщины есть именно древнее, даже древнѣйшее явленіе. Что лишь послѣднимъ двумъ вѣкамъ принадлежитъ тенденція, довольно жалкая, свести женщину къ какой-то „кокетливой“, флиртирующей роли на паркетахъ, гдѣ она „услаждала“ бы мужчину, и даже не столько мужчину, сколько „кавалеровъ на отдыхѣ“. Но были времена святыя, эпическія, когда „кавалеровъ“ еще не появлялось, а были мужчины,—и вотъ тогда и женщина выступала какъ пророчица, какъ вождь народныхъ сонмовъ. Около героевъ и она была героинею. Вспомнимъ Маріамъ, сестру Моисея, запѣвшую дивную пѣсню послѣ перехода евреевъ черезъ Чермное море; Деворру, освободительницу ихъ же отъ чужеземнаго ига. Никто ихъ не спрашивалъ: „ваши права, mesdames?“ Никто имъ не указывалъ: „призваніе женщины—семья“. Евреи ли при Моисеѣ и „судьяхъ израилевыхъ“, т. е. въ архаическій періодъ исторіи, не были семьянинами, а жены ихъ образцовыми

матерями и супругами? И вотъ, можетъ быть, именно отъ того и въ связи съ тѣмъ, что онѣ были классическими, святыми матерями и женами, онѣ съ невѣроятной силой и глубиной схватились за „тягло народное", впряглись въ „оглобли историческія" и помогли другу и спутнику своему, мужчинѣ, двинуть тяжесть впередъ съ такой страстью и отвагою, какъ онъ одинъ не смогъ бы и, я думаю, не захотѣлъ бы этого сдѣлать.

Выбросите-ка изъ „обновительнаго движенія 60-хъ годовъ" женщину, и что вы получите, что получилось бы? Сушь, разговоры, теоретизированье. Получилось бы безсиліе. Женщины сообщили жизнь и сокъ движенію. Въ нихъ есть что-то неуступчивое, доходящее „до конца". Богъ далъ имъ какую-то силу живорожденія. Будучи на днѣ только біологическою, эта сила, повѣрьте, сохраняется и въ послѣдующихъ слояхъ исторіи, являясь здѣсь могучимъ общественнымъ зиждительствомъ, съ оттѣнкомъ пророчественнаго вдохновенія въ одной половинѣ и какой-то практичности и дѣловитости—въ другой. Пророчицами Деворрою и Маріамъ была женщина, но она же была и Коробочкою („Мертвыя Души"). Удивительное и вмѣстѣ реальное сочетаніе.

Нуждаемся ли мы, наше русское общество, въ теперешнихъ обновительныхъ его движеніяхъ, въ этихъ особыхъ оттѣнкахъ женскаго творчества? Вѣдь теперь время не дѣлиться, а соединяться — это разъ. Да и за что мы обидимъ сестру свою, возлюбленную свою, можетъ быть съ замираніемъ сердца ждущую призыва и своего часа въ исторіи?

Посмотримъ на практическое положеніе. Вотъ, какъ мать, она при вдовствѣ получала какую-то „седьмую часть" изъ наслѣдія мужа своего, иногда ея-то именно усиліями и сбереженнаго и накопленнаго. Вспомнимъ мать Хомякова, потрясенную при извѣстіи, какъ ея супругъ и отецъ нашего богослова проигралъ въ карты милліонъ рублей. Она не оставила ни мужа, ни дѣтей—и сохранила все еще большое состояніе послѣднимъ. Между тѣмъ законъ, сочиненный какими-то Плюшкиными и этой героинѣ нашей общественной жизни отсчитывалъ „$^1/_7$" ею единственно сбереженнаго наслѣдства. Откидывая въ сторону иллюстраціи, я скажу ту общую мысль, что женщинамъ не только за ихъ историческое терпѣніе и скромность долженъ быть данъ широкій доступъ къ будущей творческой государственной дѣятельности, но онѣ въ правѣ и потребовать доступа сюда, ибо нѣкоторая роль ихъ священнѣйшихъ въ семьѣ правъ была рѣшительно не ограждена закономъ, мужчины ничего для этого не сдѣлали, просто- забыли свою сестру и спутницу. Мать получаетъ при наслѣдованіи „одну седьмую" наслѣдства: и и сестры, по сравненію съ братьями, получаютъ втрое менѣе. Безсмыслица, жестокость. И ужъ если мужчина вѣкъ молчалъ объ этомъ, позвольте женщинамъ закричать, заговорить. Права не имѣемъ отнять у нихъ голосъ.

Но мнѣ хочется говорить не утилитарно, а идеально. Не время дѣлиться, время соединиться. Я выскажу то общее наблюденіе, что во всѣхъ движеніяхъ всемірной исторіи, гдѣ не шелъ раз-

дѣлющій лозунгъ: „кто въ пиджакѣ — впередъ“, „кто въ юбкѣ – назадъ“, гдѣ самаго вопроса объ этомъ не поднималось, а былъ только „человѣкъ“ и передъ нимъ „тема“,— всѣ эти эпохи отличались неодолимою силою и рѣшительно достигли своихъ „темъ“. Я указалъ на 60-е годы. Безъ женщинъ тутъ была бы сушь, „департаментъ“. Женщины дали сюда страсть и огонь. Но и вотъ другой еще примѣръ—рубрика „распространенія христіанства“. Опять придется назвать нашу св. Ольгу, на Западѣ св. Берту, Теодолинду. Да что эти королевы -развѣ въ нихъ дѣло? Мученицы и святыя какимъ сопмомъ встали, чтобы сломить язычество!? Ей-ей, безъ нихъ одни пустынножители и монахи, можетъ, сумѣли бы организовать уже побѣдившее христіанство, но едва ли они одни могли бы вырвать ему побѣду. Мудрость мужская была, была философія. А огонь, прозелитизмъ—онъ не только пламенѣе всего горѣлъ въ женщинахъ, но онъ и въ мужскую половину перебросили этотъ поистинѣ святой свой огонь. Все дѣло именно въ совмѣстномъ, взаимно-переплетенномъ трудѣ. Порознь оба безсильныі Качества однихъ не восполняются качествами другихъ. Между тѣмъ именно въ гармоніи, при обоюдности, пейтрализуя другъ друга, силы тѣхъ и другихъ по-истинѣ чудодѣйственны!

Раздѣленіе половъ при историческомъ трудѣ есть не умная затѣя новыхъ вѣковъ, отмѣнившихъ древнее: *человѣка* сотворилъ Богъ, *мужчиною* и *женщиною* сотворилъ *его*“. Есть что-то именно не умное, паркетное, бальное, да еще, пожалуй, мона-

шеское въ этомъ раздѣленіи. Да, какъ ни странно здѣсь согласіе, а оно есть: въ безграмотныя времена женщина это „грѣхъ", въ культурныя времена—это „дама". Между тѣмъ въ обоихъ случаяхъ это ложь, а истина въ томъ, что она —человѣкъ, ½ человѣчества, безъ которой безсильна, безмысленна и невозможна вторая ½ человѣчества. Призывъ на полное, всесвѣтное, во всѣхъ дѣлахъ и вѣческихъ путяхъ единство данъ въ законѣ первоначальномъ, божественномъ, столь искаженномъ средневѣковымъ монашествомъ. Вѣдь Богомъ были вдохновлены и Маріамъ, и Деворра: да Богъ же далъ силу и христіанскимъ мученицамъ. Если бы Онъ хотѣлъ раздѣленія, ну и далъ бы Онъ силу и пророчество однимъ мужчинамъ. Вотъ гдѣ корень „феминизма" въ Библіи. „Феминизмъ" только свѣтскимъ языкомъ выражаетъ древнія истины. Но печатаются ли онѣ древними рунами, или новымъ гражданскимъ шрифтомъ—все равно. Я не люблю новой гражданственности: но въ этомъ случаѣ долженъ сказать, что „старыя руны"—за нихъ. Богъ этого хочетъ: вотъ основа новыхъ гражданскихъ стремленій.

Главное тутъ въ силѣ. Главное въ огнѣ, въ талантѣ. Всѣ спеціально мужскія, одиночно мужскія движенія въ исторіи были вялы, неуспѣшны. Просто не хватило рождающей силы, при вѣческой мудрости. Даже радій открыли „супруги Кюри". Это почти шутка, но этихъ шутокъ будетъ много впереди, и ихъ было еще больше позади. Россія живетъ въ роковыхъ дняхъ, и ни въ чемъ мы такъ не нуждаемся, какъ въ энтузіазмѣ. Ну-

ждается въ пламени гораздо болѣе, чѣмъ въ расчетъ. Но всегда исторически пламя входило въ націи и въ общественныя движенія черезъ женщину. Вспомнимъ и Жанну д'Аркъ и опять же Мароу Посадницу. Если мы не попросимъ у нашихъ сестеръ, матерей, дочерей помощи, если теперь, можетъ быть, въ святыя наступающія минуты, мы забудемъ и „расчетливо обойдемъ" ихъ,—вяло и мѣщански пойдетъ самое праведное дѣло; скажу своимъ языкомъ: не ляжетъ и на насъ, братьевъ, Божіе благословеніе... И еще послѣднее предостереженіе: а не понадобится ли, въ нѣкоторыя секунды предстоящаго сложнаго движенія, чувства жалости, сострадания? Вѣдь будетъ движеніе и туда и сюда, вправо и влѣво, впередъ и назадъ. Будутъ побѣды и будутъ пораженія. Вспомнимъ „сестеръ милосердія" и ту истину, что ихъ не замѣнить „братьями милосердія". Народно-представительная исторія Запада, и особенно въ нѣкоторые, роковые, мучительные дни не протекла бы столь трагично, имѣй право дойти на парламентскую трибуну не одинъ „работникъ-братъ", но и его сострадательная сестра, съ міромъ совѣмъ другого душевнаго вниманія, чѣмъ у него. Исторія нуждается въ пламени. Но иногда бываютъ въ исторіи очень грустныя минуты, и вотъ тогда онѣ нуждаются въ нѣжности и деликатности, въ прощеніи и забвеніи. Ну, а „кавалеры" не очень къ этому способны, тутъ „слово должно быть дано терпѣливой сестрѣ".

Но милосердіе—на случай и для минутъ. Вся исторія замѣтно переламывается, и нельзя не за-

мѣтить, что женщины играютъ въ этомъ переломѣ огромную роль, повидимому, готовыя выступить въ древнемъ значеніи одушевительницы, вдохновительницы и, можетъ быть, иногда даже вождя. Пусть онѣ поютъ сейчасъ только пѣсни: тоны пѣсенъ могутъ измѣниться сообразно тону новыхъ дѣлъ. Мужчина страшно истощился въ своемъ исключительномъ творчествѣ въ исторіи. Въ какія поры была Семирамида и царица Савская: въ Европѣ это удавалось только урывками. Мужчина все себѣ взялъ и онъ страшно усталъ. Не честолюбіе, а просто талантъ толкаетъ женщину къ дѣлу. Я поражался послѣдніе 2—3 года, когда мнѣ случалось слушать публично говорящихъ женщинъ, иногда совершенно молоденькихъ дѣвушекъ, до чего рѣчи ихъ, при полной сохранеиной скромности, лились спокойнѣе, умнѣе, иногда содержательнѣе рѣчей мужскихъ, и вовсе безъ всякихъ худыхъ погремушекъ обычнаго краснорѣчія. Замѣтно, что онѣ говорятъ сами, никому не подражая, и говорятъ чудесно, когда начинаютъ говорить. Если въ большомъ литературномъ собраніи, въ нѣсколько сотъ человѣкъ, умѣстна, пріятна и поучительна бываетъ рѣчь женщины, непостижимо, отчего же она не можетъ быть желательна и поучительна среди народныхъ представителей? Предразсудокъ, ни на чемъ не основанный. Мы зовемъ эту гармонію талантовъ мужскихъ и женскихъ въ ихъ взаимномъ одушевленіи, поощреніи, сочувствіи. Нужна исторіи сила, нужна будущему страсть. Благотворно и благородно будетъ, если въ наступающихъ русскихъ

дѣлахъ растворится прекрасная женская душа съ ея нѣжностью, воображеніемъ, глубокимъ чувствомъ Бога, великодушіемъ, всемірною заботливостью и состраданіемъ, съ ея—не обойдемъ и это—любовью къ нарядности жизни, къ красотѣ бытовыхъ формъ. Душа женская влажнѣе и душистѣе мужской; мужская тверже и суше. Пусть смѣшаются. Съ подругою своею мы многое пріобрѣтемъ. Безъ нея много потеряемъ. И напрасно обидимъ ничѣмъ не заслужившую обиды...

# Историческій переломъ.

Лучше англійскаго горнаго воздуха, лучше здѣшнихъ голубыхъ озеръ принесшееся съ родины извѣстіе о зарѣ гражданской ея свободы. Ибо до сихъ поръ русскій человѣкъ имѣлъ только видимыя, кажущіяся права, и никакихъ дѣйствительныхъ правъ. Все въ судьбѣ его и положеніи зависѣло отъ всемогущаго и притомъ темнаго, негласнаго „усмотрѣнія“. Кто-то съ кѣмъ-то шушукался, шепталея: и отъ этого зависѣло все. Кто-то съ кѣмъ-то переписывался „конфиденціально“ — и опять этимъ опредѣлялось все въ положеніи отдѣльныхъ лицъ и, наконецъ, даже цѣлыхъ краевъ, областей. При этомъ положеніи можно ли сказать, что русскіе имѣли свою исторію? Сомнѣваемся. Была „исторія русскаго терпѣнія“, а не исторія Россіи, какъ нравственнаго лица.

Сколько терпѣнія... Боже, сколько терпѣлъ русскій народъ, безгласно, глухо, съ зажатымъ ртомъ, перехваченнымъ горломъ! И перехваченнымъ не какимъ-нибудь верстовымъ столбомъ государственной администраціи, а всякимъ — по терминологіи Гоголя—„повытчикомъ кувшинное рыло“, который гдѣ-нибудь въ уѣздѣ, въ селѣ, да иной разъ и въ столичномъ департаментѣ вершилъ дѣла по-своему, разорялъ, тѣснилъ людей, грозилъ имъ черезъ способы административной и судебной кляузы.

ему одному понятные и у него одного въ рукахъ сосредоточенные. Сколько было въ Россіи столоначальниковъ, столько было маленькихъ царьковъ въ ней -это по выраженію могущественнаго государя Николая I. Столько было маленькихъ деспотовъ, азіатскихъ хановъ надъ бѣднымъ, рабскимъ населеніемъ Россіи — перефразируемъ мы изреченіе государя. Вотъ гдѣ было настоящее ограниченіе государева лица, государевой воли, государевой власти. И только, прикрывая, маскируя это уже совершившееся, фактическое ограниченіе самодержавнаго государя, „мертвыя души" нашей исторіи кричали: „Не созывай, царь, народа къ себѣ, онъ тебя ограничитъ". Безсовѣстные. Все отняли у царя (кромѣ подписи бумагъ), все отняли у народа, кромѣ платежа податей—и прикинулись благодѣтелями народа и слугами царя.

Но Богъ съ ними. Богъ имъ проститъ вину ихъ. Теперь они уже безвредны, по крайней мѣрѣ, не всесильны. Русскій народъ наконецъ получитъ себѣ исторію, какъ выраженіе именно *его* нравственной личности, *его* совѣсти, души, разума. Что такое „я" русскаго народа, это наконецъ-то мы будемъ читать не въ повѣстяхъ и разсказахъ бѣллетристовъ, не въ заунывныхъ пѣсняхъ ямщика, не въ изслѣдованіяхъ Даля и Буслаева, а въ законодательныхъ актахъ, въ разсужденіяхъ выборныхъ народа. Боже! Русская совѣсть перейдетъ въ русскіе законы,—неужели этому не радоваться?! И услышатъ въ народѣ русскую душу и скажутъ: „Вотъ какова она, а мы думали, что у русскихъ вовсе нѣтъ души, а только теріѣніе, молитва и водка".

У Лермонтова, послѣ его кончины, нашли въ одной изъ черновыхъ тетрадей запись — и мучительную для всякаго русскаго, и загадочную для автора „Пѣсни о купцѣ Калашниковѣ" и стихотворенія „Родина" („Люблю отчизну я, но странною любовью"). Запись была слѣдующая: „Россія не имѣла прошлаго: она вся въ будущемъ". Написавъ, Лермонтовъ обвелъ строку карандашомъ, по-нашему — подчеркнулъ. Лермонтовъ былъ необыкновенный умъ, не говоря о поэтическомъ геніи. Онъ былъ феноменъ нашей исторіи, что-то причудливое и загадочное, точно комета, сбившаяся со своихъ и забѣжавшая на чужіе пути. И вотъ, такъ любя свою родину (о чемъ никто не споритъ), онъ выставилъ въ приведенной строкѣ какъ бы личный свой тезисъ: „Все прошлое свя-той моей терпѣливой родины — или смутно по смыслу, или до очевидности ничтожно. Но душа у нея великая. И великаго отъ нея мы должны ждать въ будущемъ". Онъ бы не написалъ: „Она вся въ будущемъ", если бы сомнѣвался о душѣ ея такъ же, какъ, очевидно, сомнѣвался и даже вовсе отвергъ значительность ея исторіи.

Вся сила русской души ушла въ *терпѣніе*. Что такое русскіе святые? Примѣры терпѣнія, образцы терпѣливости. Но гдѣ же силы русской души, какъ развертъ таланта, сверканіе генія? Этого не было, или было случайно. Поэтъ нашъ выразилъ это въ стихѣ, поразившемъ Россію. Онъ сказалъ о народѣ, что онъ

„Создалъ пѣсню подобную стону,
И *духовно навыкъ почилъ*..."

Какъ ужасно это прочитать, не говоря уже — согласиться. Согласиться съ двустишіемъ этимъ невозможно, ибо согласиться съ нимъ и не умереть сейчасъ же самому отъ тоски и печали — невозможно для русскаго. Но первая строка двустишія, очевидно, истина: и только будущее, и именно сейчасъ начинающееся будущее можетъ опровергнуть истину второй ужасной строки. Некрасовъ первокласснымъ поэтическимъ геніемъ не былъ, но что онъ былъ страшно уменъ и хорошо зналъ свою землю, свой народъ и свое общество — этого нельзя никакъ отвергнуть.

Для *развертки* силъ и генія не было условій въ русской дѣйствительности, не было свободы. И теперь мы стоимъ передъ задачею выдвинуть и сотворить новый идеалъ *святости* — какъ *живости* души, а не какъ пассивности (терпѣніе). Все, что *святого* въ Руси, пусть движется или можетъ двинуться на подвигъ *слова, размышленія* и *дѣла*. Мы вѣримъ: переломъ Россіи, если онъ совершится, сосредоточится именно въ этомъ: что переломится и пойдетъ совершенно по новому именно коренное, общественное и затѣмъ народное представленіе о *святости*, о *святомъ человѣкѣ* и *святой жизни*. Прежде это значило: *молчать* и *страдать*; въ будущемъ станетъ значить: *утверждаться, достигать*. Въ чертахъ одинаково: для обѣихъ категорій—*правды, истины*.

Со слабою ратью когда-то выйдя противъ шведовъ, Александръ Невскій сказалъ изреченіе, перешедшее въ учебники: „Богъ не въ силѣ, а въ правдѣ“. Это такъ для страдальческаго періо-

да, угнетенной судьбы, для пассивной исторіи. Но *сотворившій* міръ Богъ не имѣетъ ли *силу* именно первымъ своимъ опредѣлителемъ? И не пора ли сознать и повѣрить, что: „Богъ въ силѣ, а не въ безсиліи; въ подвигѣ, а не въ терпѣніи".

Вотъ это-то преобразованіе идеала будетъ самое трудное. Оно пойдетъ по литературѣ, по разсказу, по пѣснѣ, по обычаю, по предмету умиленія и насмѣшки. Увы! страшная пассивность русской исторіи передалась у насъ и во вкусы. Русскіе великіе писатели стали пѣвцами великой покорности. Тургеневъ въ этомъ не разошелся съ Толстымъ. Все неудачливое, слабое, болящее, идущее къ смерти—„симпатично", благоразумно, воспѣто, увѣнчано. По-истинѣ

„Создалъ пѣсню *подобную стону*
И *духовно* навѣки почилъ!"

Ибо если въ смерти искать нравственнаго спасенія, то какія же ужъ тутъ надежды!? Нѣтъ, все это ужасная скорбь, ужасная ложь. Боже, но какъ трудно это преобразованіе нравственнаго идеала, чтобы найти красоту и предметъ умиленія и увѣчанія—въ силѣ жизни, въ побѣдѣ и побѣдителѣ?! Не всѣ сразу поймутъ мысль мою, поймутъ, почему это трудно. Конечно, можно „увѣнчивать" побѣдителя. Кладди вѣнки на кого хочешь. Развѣ въ этомъ дѣло? Дѣло въ томъ, чтобы самъ побѣдитель и сама побѣда и, въ обобщеніи, сила жизни одѣлись въ нравственно-прекрасныя черты, передъ чѣмъ сердце человѣческое уже умилилось бы само собою, безъ передержекъ и компромиссовъ съ собою. Объяснимъ все иллюстраціею. На-

полеонъ, и Бисмаркъ, и Биконсфильдъ были въ исторіи „побѣдителями“. Пассивный русскій народъ умѣлъ имъ противопоставить только Платона Каратаева („Война и миръ“) да Акима мужичка („Власть тьмы“). Отрекаясь отъ первыхъ типовъ, за ихъ житейской ненадобностью, отнюдь мы не зовемъ въ свою исторію, какъ завидные, и вторые типы. Не хотимъ такой мѣны. Болѣли бы отъ нея. Однако, вспомнивъ древность, назовемъ хоть Карла Великаго, назовемъ даже Владиміра Мономаха и Ярослава Мудраго, которые всѣ вовсе не „страдали, терпѣли и молчали“; которые являютъ типъ побѣдителей и, однако, вовсе лишены того „небольшого мошенничества“, безъ котораго, увы, не умѣютъ обходиться „побѣдители“ новыхъ временъ, и не обошлись ни Наполеонъ, ни Бисмаркъ, ни Биконсфильдъ. Обманъ есть видъ нравственной слабости, а „Богъ въ *силѣ, а не въ слабости*“. Обмана и хитрости нашей исторіи не нужно, теперь и *никогда*. Зачѣмъ намъ быть по типу хищнаго животнаго, тигра или льва? Фигура наша по географіи напоминаетъ слона: пусть и по исторіи напоминаетъ его же. Это животное доброе, умное (гораздо умнѣе льва), сильное, льву не уступаетъ, никому не уступаетъ. Никто его не съѣдаетъ, и оно никого не съѣдаетъ, а мирно пасется и нѣсколько царствуетъ въ лѣсахъ Африки. Ну, это—примѣръ, и я соглашаюсь, что онъ легокъ: а жизнь такъ трудна, и примѣненіе въ ней этого примѣра тоже такъ трудно.

14 августа 1905 г.

# На митингѣ.

I.

— А не хотите ли пойти на митингъ?.. Въ 8 часовъ въ Медицинской Академіи состоится митингъ...

Это было среди общей тишины Петербурга. Газеты не выходили, электричество не свѣтило, конки не звенѣли.

— Какой? Студентовъ, рабочихъ?—Я даже не могъ понять и мнѣ не умѣли объяснить.

Я вспомнилъ „Айвенго" Вальтеръ-Скотта и длинное, чудесное описаніе тамъ турнира. Не будь его, что бы мы знали по учебникамъ и даже по большимъ исторіямъ о турнирахъ? Пять сухихъ строчекъ, безъ крови и красокъ, что были „рыцари" (слѣдуетъ изложеніе процедуры посвященія въ рыцари) и что они „сражались на турнирахъ" (приложена картина рыцарскаго коня въ полномъ убранствѣ и доспѣховъ рыцарскихъ). Больше ничего. Т. е. въ словарѣ нашемъ было бы больше двумя словами,—и никакого яснаго понятія.

— До митинговъ, положимъ, мнѣ дѣла нѣтъ. Я человѣкъ старый и лѣнивый. Да и до политики

немного дѣла: жилъ и живу въ своемъ углу. Но вѣдь вотъ соображеніе: это первые митинги въ Россіи, и полезно для будущей „Русской Старины", чтобы кто-нибудь просто далъ картину того, что онъ увидѣлъ на нихъ, держась мудраго наказа персидскаго шаха Насръ-Эддина своему исторіографу Риза-кули-хану: „Не извращай описанія событій. Побѣду изображай, какъ побѣду, а пораженіе описывай, какъ пораженіе".

— Ну, пойдемте. Богъ съ вами. Только, пожалуйста, одинъ разъ.

Суровый отвѣтъ мой былъ оттого, что я опасался намѣренія потащить меня еще разъ туда отъ молодого моего спутника.

Было рукой подать пѣшкомъ. Но мысль, что я ѣду на „митингъ", „новое историческое явленіе"— оживила меня, едва мы спустились съ четвертаго этажа на улицу. Былъ уже девятый часъ на исходѣ, а митингъ назначенъ въ восемь. Я взялъ извозчика, чтобы переѣхать только черезъ Литейный мостъ и кроличный кусокъ своей улицы. Вотъ и Медицинская Академія. За рѣшеткой ея, въ главномъ зданіи — огни, не яркіе. „Съ котораго подъѣзда входить?" И въ полномъ недоумѣніи мы сошли съ извозчика. Толпа студентовъ, мастеровыхъ, курсистокъ,—небольшая, рѣдненькая, спѣшила впередъ. Всѣ смѣялись и торопились.

— Да гдѣ митингъ?

Не здѣсь. По Нижегородской улицѣ, домъ 17.

Мы заторопились, въ мглѣ и грязи. Это шагахъ въ ста отъ Академіи. Въ большихъ воротахъ

стояла отворенная калитка, въ которую проходили мастеровые въ черныхъ суконныхъ потасканныхъ пальто. Молодыя, утомленныя, озабоченныя лица. Стоявшій около калитки что-то ихъ спрашивалъ, тѣ отвѣчали и пропускались, очевидно, согласно отвѣту, во дворъ. Туда же направились и мы.

— Здѣсь митингъ Медицинской Академіи?

— Здѣсь митингъ ювелирныхъ мастеровыхъ.

— А гдѣ же митингъ рабочихъ и студентовъ въ Медицинской Академіи?

Но „братъ-рабочій", онъ же привратникъ, уже не обращалъ на насъ никакого вниманія, занятый прямымъ своимъ дѣломъ—пропускомъ исключительно людей, имѣвшихъ дѣло до этого митинга.

И никто не зналъ. Люди двигались, такъ же оживленные и смѣющіеся, туда и сюда. „Да вѣрно тамъ, въ Медицинской Академіи? Вѣдь этотъ дворъ и домъ во всякомъ случаѣ не Медицинская Академія, хоть и въ двухъ шагахъ. Мы теряемъ время; митингъ начался".

И опять мы поспѣшили къ Академіи.

— Идите; входъ съ набережной (Невы).

— Но тамъ клиники, я навѣрное знаю, самъ бывалъ въ палатахъ. Не въ больницѣ же собираются рабочіе и студенты?

— Идите! Идите! Тамъ.

Случайно спутникъ мой поднялъ голову.

— Здѣсь! Вонъ головы!..

Дѣйствительно, въ освѣщенныхъ окнахъ виднѣлось множество головъ, какъ это могло быть только въ набитомъ биткомъ залѣ.

Сейчасъ съ перваго входа, ближайшаго къ Литейному мосту, въ отворенную не очень большую дверь двигалась толпа.—„Неужели раздѣваться въ этомъ столпотвореніи и холодѣ? Тутъ и головы своей не найдешь, не то что пальто и калошъ?“ Но никто не слушалъ, а люди „почище меня“, пышныя барыни сбрасывали пальто на пронзительномъ холодѣ и сырости, несшемся изъ незатворявшейся двери, вотъ тутъ сейчасъ, въ которую входила непрерывная толпа. „Ну, все равно! Какъ всѣ!“ И, аккуратно засунувъ шапку въ рукавъ пальто и рѣшительно отказавшись снять калоши, я отдалъ пальто медицинскому въ формѣ сторожу.—„Ничего, баринъ, не пропадетъ! И нумера не нужно“. Дѣйствительно, не далъ нумера вѣшалки, сказалъ только нумеръ ея. „Столпотвореніе Вавилонское!“

Всѣ торопились, и сразу же сдѣлалось тѣсно. Отъ крошечной площадки вились двѣ крутыя лѣсенки вверхъ. Я пошелъ по одной, обоняя фалды сюртуковъ, юбокъ и поддевокъ толпившихся впереди и выше. Заторъ; остановились. Опять чуть-чуть двинулись. Опять „стопъ“. Полу-темнота, молчаніе. Всѣ терпѣливы. Никто не протискивается, не обгоняетъ. Всѣ „какъ всѣ“, а „за всѣми Богъ“. У меня было на душѣ хорошо. „Вѣрно ничего не увижу, однако же все-таки былъ на митингѣ“. И всѣмъ было, кажется, весело. Удивительная деликатность, уступчивость другъ другу—мѣста, ступеньки, прохода—вытекала, мнѣ кажется, изъ того, что всѣ эти люди были однородны или предполагали однородными другъ друга, при-

нѣдшими каждый затѣмъ же, какъ и сосѣдъ его, и съ тѣмъ же „образомъ мысли". Иллюзія дотягиваетъ всякую дѣйствительность до какущейся полноты; иллюзія даже сотворяетъ „въ самомъ дѣлѣ" полноту. Это множество головъ и грудей, бившихся только приблизительно сходными мыслями, вотъ тутъ же на мѣстѣ, черезъ гипнозъ обмѣнивающихся взглядовъ, одуждающихъ улыбокъ сливались въ полное единство, въ одинъ пульсъ; „э, да и я такъ же думаю, *хочу* такъ думать", „э, что тутъ *я* и *мое*—тутъ *все* и я буду какъ *все*, ибо это ужасно весело, счастливо и такимъ хорошимъ счастьемъ общности и единства, какого я вотъ сколько лѣтъ не испытывалъ, сидя въ своемъ углу". Терялась, рѣзительно терялась индивидуальность, пожалуй терялся умъ, тотъ хитрый и своекорыстный умъ, который у каждаго стоитъ въ душѣ на-сторожѣ: и вставало что-то безличное, упрощенное, въ прямыхъ и явныхъ линіяхъ выраженное. И эти прямыя линіи короткихъ мотивовъ, несложныхъ мыслей связывали множество лицъ въ одно новое, смѣющееся и страшно счастливое колективное лицо. На моихъ глазахъ таяли индивидуальности, „свои" семьи, дома „свои"; все это тумманилось, задвигалось какою-то задвижкой; и выросталъ одинъ огромный „домъ", гдѣ всѣ жильцы давно знали другъ друга, привыкли, и каждый старается услужить сосѣду. и вотъ, кажется, попроси кто-нибудь позволенія стать на спину сосѣда (какъ на стулъ), чтобы увидѣть говорящаго внизу и далеко „оратора". И этотъ сосѣдъ блаженно согнетъ спину и скажетъ:

„становись, братъ; я уже видѣлъ, а ты посмотри". Явно и очевидно всѣ глупѣли (упрощались, становилась болѣе похожи на дѣтей); но столь же явно „толпа", которая во всякое другое время и на другомъ мѣстѣ, на улицѣ, на площади не имѣетъ вовсе никакой мысли, ничѣмъ не связана, лишена лица и головы, и, словомъ, есть „мгла",— здѣсь засвѣтилась умными и новыми очами. „У, чудище, какъ ты страшно и хорошо!"

Брели-брели по лѣсенкѣ и добрели до послѣдней ступеньки. Вижу, что хоры. Посрединѣ и далеко горитъ электрическая люстра, снизу несется голосъ, не то яркій, не то яростный. До барьера хоръ, конечно, не добраться: а не увидать зрѣлища—то не хочется и слушать нечего. Я по крайней мѣрѣ слушаю только того, кого вижу. Скука и досада встала въ душѣ. И вотъ тутъ стали напыливать (назадъ, къ выходу) вспотѣвшіе и уставшіе слушатели; какіе-то благопріятные толчки, молчаливыя указанія пальцемъ стать сюда, стать туда—и не прошло четверти часа какъ уже я стоялъ или меня поставили „благопріятно" къ краю барьера. И вообще все было „благопріятно", добро, ласково, ходко, маслянисто. Шла зала амфитеатромъ и воронкой, вѣрно какая-нибудь „аудиторія съ демонстраціями", откуда рѣшительно съ каждой точки была видна каждая точка всего зала. По концентрическимъ кругамъ-скамьямъ сидѣла публика-братство, все—единое, слитое, обобщенное, чуть-чуть „поглупѣе" и чуть-чуть „помудрѣе" обыкновеннаго. А вотъ и голосъ, изъ самой глубн воронки: черная маленькая фигурка,

яростно поворачивающаяся то вправо, то влѣво (обращеніе къ слушателямъ) совсѣмъ молоденькій рабочій, лѣтъ 26—28, а можетъ и 21, объясняетъ разницу между тѣмъ, какъ „братья" обязаны и имѣютъ право вести себя во время „экономической забастовки" и „политической забастовки". Никогда я объ этомъ не думалъ: —„Если товарищи измѣняютъ товарищамъ во время экономической забастовки—бей ихъ, потому что они отнимаютъ у нихъ, у насъ хлѣбъ. Мы боремся съ хозяиномъ (голосъ все яростнѣй), съ фабрикантомъ (все яростнѣй), съ капиталистомъ (яростнѣй), съ эксплоататоромъ: онъ—одинъ, и если мы не станемъ всѣ какъ одинъ—онъ побѣдитъ насъ, выброситъ на улицу, раздавитъ. Поэтому, кто отдѣляется отъ товарищей во время экономической забастовки, борется противъ единственнаго способа побѣдить его, хищника, эксплоататора: бей такихъ по мордѣ, чѣмъ попало. Ибо они крадутъ наше имущество, нашъ заработокъ, нашъ хлѣбъ, пускаютъ по міру дѣтей, оставляютъ безъ дохтура нашихъ женъ. Но, товарищи, совершенно иное дѣло политическая забастовка: если мы желаемъ (тутъ слѣдуютъ совсѣмъ „неудобь-сказуемыя" слова), то, однако, кого мы можемъ и имѣемъ право заставить идти съ собою? Никого! Это дѣло убѣжденія! Какъ же я могу передать другому свое убѣжденіе, когда его въ немъ нѣтъ? Не могу! Никто не можетъ! Поэтому, товарищи, никакого принужденія, которое совершенно законно при экономической забастовкѣ, не можетъ быть при забастовкѣ политической, и здѣсь единство дости-

гается разлитіемъ и торжествомъ одного убѣжденія, а не насиліемъ! Помните! Поняли! Не говоря о томъ, что мы права не имѣемъ никого принудить, мы поступили бы какъ дураки, принуждая: на что намъ лѣнивый, вялый, притворяющійся товарищъ? Онъ—поль въ политической борьбѣ. Да и хуже еще: онъ измѣнитъ въ роковую минуту, въ самую критическую, когда мы стоимъ плечомъ къ плечу и умираемъ. Это не поль, а хуже. Такъ помните! Поняли?"

Вотъ удивительно—и я поучился! А всего мастеровой, слесарь.

„Теперь, отчего при столкновеніяхъ на улицахъ мы бѣжимъ и всегда бѣжимъ? Насъ—тысячи, ихъ—десятки: и тысячи бѣгутъ отъ десятковъ. Гонятъ насъ, хлещутъ (и болѣе жестокія слова). Почему? Они—въ порядкѣ, мы—безъ порядка. Они не съ пустыми руками, а мы съ пустыми руками. Кто безъ порядка—всегда бѣжитъ и побѣжитъ. Кто съ оружіемъ—всегда побѣдитель. Значитъ, товарищи, чтобы побѣдить, мы должны запастись терпѣніемъ, не соваться, не тратить силы, не растеривать дробей въ совершенно безсмысленныхъ попыткахъ, а должны сидѣть смирно и запасаться всѣмъ тѣмъ, чего у насъ пока нѣтъ. Какъ запасаться?" (Слѣдуютъ перечисленіе, описанія, объясненія, всяческіе „пути" и „путики" и „невидимыя дорожки" предварительнаго подготовленія). Такъ поняли, товарищи? И тогда въ одинъ день! въ одинъ часъ! который будетъ сказанъ!! Такъ поняли? Такъ помните!!"

Шумъ, возня. Вѣрно, ораторъ юркнулъ въ еще болѣе глубокую воронку непосредственно окружавшихъ эстраду (деревянный сѣрый столъ) слушателей.

Позвольте!..—заговорилъ голосъ съ правой стороны хоръ.—Вы все говорите объ активныхъ дѣйствіяхъ, но представляется ли въ нихъ нужда теперь, т. е. абсолютная, безусловная нужда? („Шш" въ публикѣ).

Товарищи терпѣніе! Свобода слова каждому!

Это—предсѣдатель, рабочій, никакъ не старше 24 лѣтъ, и... чуть-чуть заикающійся.

— Вы призываете къ борьбѣ, но нельзя ли обойтись безъ нея? Теперь, когда намъ дарована свобода („шш! шш! шш!"), т. е. когда относительно мы имѣемъ свободу, и вотъ собрались же здѣсь и говоримъ, кажется, безъ стѣсненія, когда скоро соберется Государственная Дума („шш!", „шш!", свистки, топанье)...

— Товарищи—свобода! Я васъ призываю выслушать оратора съ полнымъ спокойствіемъ, не прерывая его! (Предсѣдатель).

— ...Ну, Дума, неполненная всякихъ недостатковъ, обкромсанная, обстрѣленная, но вѣдь это только зерно, и оно будетъ развиваться... Такъ эта Дума, несомнѣнно, постарается не только раздвинуть свои прерогативы, но и обезпечить за гражданами свободу слова, мнѣнія и собраній. Такъ вотъ, я и говорю, чѣмъ прибѣгать къ насиліямъ и борьбѣ, въ которой вѣдь и у насъ ноги будутъ поломаны, руки вывихнуты и вообще мы многаго и многихъ не досчитаемся—чѣмъ всѣмъ

тимъ рисковать и жертвовать, но лучше ли воспользоваться тѣми средствами, которыя намъ уже даны. Вовсе я говорю не о Думѣ, въ которую позваны теперь только богатые; но отчего намъ не собраться совершенно такъ, какъ здѣсь, по—собраться на площади, и пусть отъ всей земли русской, отъ всѣхъ городовъ, селъ совершенно свободною и всеобщею—откуда никто не исключенъ—подачею голосовъ, будутъ выбраны излюбленные люди, и они соберутся, какъ мы здѣсь, также свободно, и скажутъ разумъ всей земли и нужду всей земли, и мы скажемъ Думѣ, т. е. внесемъ предложеніе...

— Позвольте, вы развиваете какую-то машиновщину, будто живете вић пространства и времени. Кто же помѣшаетъ Думѣ („шш!" „шш!") положить ваше „внесенное предложеніе" подъ сукно („ха! ха! ха!" „браво! браво!") и забыть его, какъ въ департаментахъ забываютъ всяческіе „прекрасные законопроекты" („браво!" „браво!").

— Пожалуйста, господа, дайте оратору высказаться! (Предсѣдатель).

А, во-вторыхъ: гдѣ же вы найдете такую воображаемую „площадь", на которую васъ пустятъ, а не разгонятъ съ нея плетками („ха! ха! ха!"), и какъ же вы это будете „со всей земли русской" собирать любовно выборныхъ всеобщею и прямою подачею голосовъ, когда она запрещена („браво!" „браво!") и если одинъ губернаторъ вамъ это въ своемъ городѣ и позволитъ, то другой губернаторъ и въ другомъ городѣ вамъ это не позволитъ, и значитъ, со „всей"-то „земли" вамъ во всякомъ случаѣ собрать ничего не удастся, да и вообще

все это зависитъ отъ какого-то личнаго благоду-нія и отъ милости нашихъ господъ, нашихъ вла-дыкъ, съ которыми, значитъ, борьба...

— Борьба! борьба! (Всѣ).

— Тише, господа, тише! (Предсѣдатель).

— Борьба! Борьба! Замолчите, не надо орато-ра, все сказалъ, ха, ха, ха! Не надо...

Шумъ. Но, ей-ей, читатель, все это моменталь-но, прорѣзями, среди гробоваго молчанія громад-ной аудиторіи, въ которой мною не было не рас-слушано ни одного слова, которое нужно было слушать, которое я хотѣлъ слушать. Точно уста-лый человѣкъ: всталъ, сдѣлалъ ручную гимна-стику и опять сѣлъ и глубоко задумался.

— Форточку! Отворите форточку—нельзя дн-шать!

— Господинъ предсѣдатель (съ хоровъ), поз-вольте вамъ заявить: здѣсь въ кошельки соби-раются деньги (для „дѣла" и вообще на разны-„цѣли"), и одинъ господинъ, взявъ кошелекъ, по-ложилъ его себѣ въ карманъ и ушелъ.

Я почувствовалъ невообразимый стыдъ и ко-фузъ—за собраніе. Какъ бы помертвѣли глаз-слетѣла улыбка. „Братства" нѣтъ... Со сжатымъ сердцемъ я думалъ: „что дѣлать". И вдругъ тут-вынла такая побѣда, такое торжество дѣйстви-тельно сознаваемой чистоты собравшихся...

— Я повторяю, господинъ предсѣдатель, кто-то укралъ кошелекъ...

И такъ громко. Точно пощечина на всю за-...

Рабочій-слесарь (предсѣдатель) широко развелъ руками и, полусмѣясь, проговорилъ недоумѣвш-

— Слышу, слышу! (т. е. заявленіе). Что же я могу сдѣлать? (Пауза). (Со смѣхомъ): Только и могу, что рекомендовать собирать деньги не кошелькомъ, а на блюдо, тарелку и вообще въ такой большой сосудъ, который спрятать нельзя было бы (кошельки передавались изъ рукъ въ руки).

Вся аудиторія прыснула со смѣху. „Дѣло" было брошено, растоптано - и всѣ двинулись (въ дебатахъ) далѣе.

Тутъ только я сообразилъ, что въ самомъ дѣлѣ въ громадной толпѣ и давкѣ были и „посторонніе элементы", за которые „братство" нисколько не отвѣтственно и предупредить появленіе которыхъ оно никакъ не могло. Самъ же я прочиталъ, еще ранѣе и стоя въ давкѣ, предупреждающія записочки, передаваемыя изъ рукъ въ руки: „Оберегайтесь провокаторовъ", „оберегайтесь шпіоновъ". Не было только записочки: „Остерегайтесь воровъ"—и больше ничего!

## II.

Далъ былъ небольшой антрактъ, я думаю -не болѣе 5 -8 минутъ. Заговорили, зашумѣли.

Какая смѣсь лицъ. Уже давно, двигаясь по стѣнкѣ, я добрался до схода внизъ, совсѣмъ передъ амфитеатромъ, и едва поднялись двое съ верхней скамьи - какъ я съ моимъ спутникомъ усѣлись на ихъ мѣста. Здѣсь было такъ хорошо, удобно, не тѣсно, что если бы закурить папиросу и съѣсть бутербродъ то хоть весь день сиди.

Публика была на ³/₄ „чистая" и на ¹/₄ „черная" (рабочіе). Пожилые, среднихъ лѣтъ, совсѣмъ молоденькіе, -сидѣли большею частію учащіеся, или служащіе по разнымъ частнымъ професіямъ; много студентовъ, должно быть много курсистокъ, но едва ли преобладая надъ просто „служащими". „родителями". Одѣты скромно и чисто, какъ исключеніе - богато (женщины). Въ перемежку съ ними мастеровые, почти сплошь молодые, вообще безъ „стариковъ", съ лицами тяжеловѣсными, худыми, немного истощенными, угрюмыми. Эти безъ улыбокъ. „Трудна жизнь" это на каждомъ лицѣ; какъ у интеллигепціи: „хороша жизнь" (духовно счастлива, радостна).

— Мы, барышни, васъ обережемъ! (съ улыбкой). Защитимъ! (покровительственно).

И мастеровой положилъ руку на кисть руки красавицы-курсистки, высокой, стройной, съ свѣтящимся добротою лицомъ.

Она объясняла ему, что „завтра на курсахъ у насъ собраніе, но ходятъ слухи -что придутъ и станутъ хлестать плетками".

— Не бойтесь, барышня! Не выдадимъ. Мы придемъ!!

Рука его лежала на ея рукѣ, здоровая, дюжая. Чуть-чуть она потянула свою руку назадъ. Добрымъ-добрымъ голосомъ онъ объяснилъ:

— Не смотри на руку. Чистая. Я поиѣ утромъ въ банѣ былъ.

Дѣйствительно, рука его лоснилась глянцемъ отъ горячего пара и безукоризненной чистоты.

— Да я ничего, —сказала барышня и оставила свою руку въ его кулакѣ.

Мѣста черезъ четыре сидѣлъ парень, вирочемъ—не сидѣлъ, а все время стоялъ (отъ возбужденія, отъ оживленія, отъ „поученія"). Лица у него въ фигурномъ, обыкновенномъ смыслѣ не было, а была на мѣстѣ его „этнографическая лепешка", что-то вытянутое, плоское, почти безъ носа (коротенькій), съ плоскими губами, узкимъ лбомъ, вытаращенными глазами. Должно быть, дальній-дальній потомокъ приволжской чуди. Лѣтъ не болѣе 19, безъ усовъ и бороды. Онъ (во время рѣчей) только приговаривалъ: „во! во!" „такъ!!!" (съ страшнымъ ударомъ). Онъ весь вился въ зрѣлище, весь обратился въ слухъ. Умент былъ? глупъ? — не знаю. Во всякомъ случаѣ „учился", напряженно, страстно, замирая, захлебываясь. Не здѣсь бы сидѣлъ бы онъ въ кабакѣ, нѣтъ — валялся бы подъ лавкой, уже давно пьяный, и по которому и черезъ котораго идутъ, ступаютъ люди. Залъ здѣшній съ электрической люстрой, гдѣ хорошо одѣтые и ласковые люди смотрятъ на него, какъ на брата, и дали ему мѣсто сѣсть съ собою, гдѣ его не „хватаютъ за шиворотъ" и никто не гонитъ „въ толчки", какъ всегда и всюду было съ нимъ за всѣ 18 лѣтъ жизни, все это схватило и понесло его, какъ ставшая сущею мечта, какъ нѣкоторый рай и видѣніе, которое можетъ быть и'брезжилось ему въ снахъ (которыхъ у кого же не бываетъ) и которымъ вѣрить онъ никогда не смѣлъ, и не смѣлъ сказать вслухъ о нихъ, махнулъ на все рукой. И вдругъ мечта стала не только близ-

кою, но сущею, изъ которой онъ сейчасъ же вернется въ темь сора и унижения, какъ только переступитъ черезъ порогъ зала этого: а вотъ если бы въ самомъ дѣлѣ „въ одинъ день и часъ", „всѣмъ вмѣстѣ", „по всей Россіи", „а еще лучше по всему міру"... Ударъ, и смерть, и счастье не для меня, а для милліоновъ, какъ я. Стоитъ жить, о, тогда стоитъ жить!! А безъ этого: гниль, смрадъ, народишь рабовъ, какъ я же, и опять подъ лавкой, больные, пьяные, темные, проклятые и проклинающіе, и, безъ конца, главное — безъ конца и надежды!!

И онъ слушалъ, слушалъ...

Слышалось еще нѣсколько ораторовъ, подлиннѣе, покороче, похуже, получше. Предсѣдатель извинился:

— Ночь у насъ на ораторовъ неурожай. Забрали всѣхъ (на какой-то другой, болѣе важный митингъ); что дѣлать, и помолчать приходится. Потерпите, товарищи! Вамъ угодно говорить? Говорите!

Закрываемая фигурою предсѣдателя, чуть видѣлась за нимъ небольшая фигура дѣвушки, лѣтъ 28, темная брюнетка. Свѣтлая кофточка, черная юбка, все чисто и скромно.

— Прошу товарищей не нарушать тишину: ораторъ заявляетъ, что у него слабая грудь, и она не можетъ говорить громко.

Настала совершенная тишина, и я разслушалъ все въ наиболѣе сложной изъ произнесенныхъ рѣчей. Она длилась, я думаю, три четверти часа, съ перерывомъ-передышкой. Пусть она обдумала

заранѣе планъ и ходъ рѣчей: кто же не обдумываетъ? Но вѣдь сотворена-то, въ словесномъ выраженіи, въ подробностяхъ, въ оттѣнкахъ, въ тонѣ, въ картинахъ рисуемыхъ (ихъ было много) — она здѣсь, передъ слушателями! Всякій, кто слушалъ сложныя рѣчи, знаетъ убійственную для оратора минуту-паузу: когда длинный періодъ, напримѣръ, начался съ „если", „тогда какъ" и пр., и вдругъ ораторъ такъ повелъ его, употребилъ уже такія слова и придаточныя предложенія въ первой части (періода), что совершенно нельзя начать вторую часть періода съ грамматически правильнаго *соотвѣтственнаго* союза... Періодъ не вышелъ, остановился на запятой, и ораторъ топчется на одномъ мѣстѣ, ничего не выходитъ, онъ растерывается, а слушатели сконфужены, видя муки его и что ничего не выходитъ и дальше нельзя говорить, не впавъ въ какую-то телячью безсмысленность. Это — одно „страданіе" рѣчей, грамматическое. Другое страданіе плана, тоже ужасное: ораторъ начинаетъ приводить примѣры, а приведя растолковывать ихъ, тамъ блеснула острота, смѣшокъ публики, еще увлекающій въ сторону — и, смотришь, ораторъ уже гдѣ-то за шпрмами отъ своей темы, потомъ вспоминаетъ ее — снова возвращается, сказать „извините", опять ее теряетъ: и мнется-мнется, все растерявъ, не оставивъ въ публикѣ никакого цѣльнаго впечатлѣнія и ни единой законченной мысли... Поэтому совершенно поразительно для меня было, что на протяженіи ¾ часа у говорившей только одинъ разъ „не вышелъ періодъ": она совсѣмъ умолкла

(не было какихъ словъ), долго молчала — и кончила предложеніе неуклюже (правильно и нельзя было кончить). Все остальное время одушевленная, простая рѣчь лилась, какъ бы она читала въ невидимой книгѣ. Другое умное качество: „впрочемъ, это уже прямо къ дѣлу не относится", „это бы насъ завело далеко и это мы оставимъ въ сторонѣ", сказала она раза три-четыре. Такимъ образомъ въ рѣчь не было введено ничего побочнаго и разрушающаго, убраны были всѣ пристройки, „флигеля около главнаго дома", и получилось все монолитное и стройное. Мнѣ показалось, что я слышалъ акцентъ и принялъ говорившую за еврейку (кругомъ говорили потомъ: „нѣтъ, армянка", „нѣтъ, русская"). Она говорила о томъ, что же принесетъ движенію крестьянство? „Давно есть мечта предполагаемое единство деревни; это— старая идиллія, завѣщанная намъ славянофильствомъ. Такой деревни теперь нѣтъ, и давно нѣтъ. Проклятый капиталистическій строй затронулъ и ее и, какъ всюду, онъ разселилъ ея населеніе на часть имущую, жадную, съ каждымъ днемъ толстѣющую и жирѣющую, и тѣмъ болѣе жадную, чѣмъ ближе цѣль ея, и на часть неимущую, которая, теряя нитку за ниткою, потеряла наконецъ все. Въ прежнемъ крестьянинѣ бились два сердца, боролись двѣ души: сердце мужика, тянувшаго къ деревнѣ, заботливаго о своемъ мірѣ, о своихъ сосѣдяхъ, и—сердце начинающагося горожанина, лавочника, эксплоататора. Это второе сердце тянуло его въ городъ и тянуло наступить ногою на тотъ самый міръ, съ которымъ онъ юридически былъ

связанъ, имѣлъ права на его сходѣ, въ его совѣтахъ, а нравственную связь съ ними потерялъ. Въ этомъ процессѣ экономическаго роста, на который мы восхищались, видя, что онъ уподобляетъ насъ Европѣ,—умерло прежнее единое крестьянство, съ богатою и сложною душою, съ душою колеблющагося, и на его мѣстѣ встали двѣ рѣзко очерченныя фигуры: кулака и пролетарія. Кулакъ, живя въ міру и на міру, есть врагъ этого міра, онъ разоритель и душитель вчерашнихъ, да и сегодняшнихъ еще, своихъ сосѣдей, какъ хищный звѣрекъ, забравшійся въ курятникъ, какъ паукъ среди обезсиленныхъ мухъ. Но и въ той, другой половинѣ, въ половинѣ большей, деревенскаго пролетаріата, обобраннаго своимъ братомъ-кулакомъ и („неудобь-сказуемыя слова")... тоже уже не бьется это второе сердце, сердце собственника, ибо онъ не только все потерялъ, но и не имѣетъ никакихъ надеждъ. И онъ былъ нашъ. О, господа, теперь мы на низу положенія, — по которому завидуютъ всѣ, стоящіе надъ нами (слѣдуетъ историческій очеркъ, сжатый, яркій). Будущее—наше, и притомъ—все наше, безъ остатка. Мы — нищіе, у которыхъ въ наслѣдіи царства и милліоны, тогда какъ тѣ, стоящіе наверху, похожи на мота, все состояніе котораго уже проиграно и только еще пока не взято кредиторомъ. Мы будемъ побѣждены не два и не пять разъ, но всѣ, стоящіе наверху, нисколько не менѣе насъ знаютъ и видятъ, что съ каждымъ часомъ насъ больше и ихъ меньше, что съ каждой минутой мы усиливаемся, и они слабѣютъ, до рокового дня, когда счеты будутъ све-

день. Съ открытіемъ Думы покачнулась игра, остановился нашъ выигрышъ. Фабричный пролетаріатъ такъ же не ждетъ ничего, какъ и раньше. Онъ съ нами. Въ немъ всегда, и отъ начала, билось только сердце пролетарія, обобраннаго человѣка, который потомъ и болѣзнями далъ имъ все богатство. Совершенно другое дѣло крестьянинъ. У него есть юридическое право на кусокъ земли,— ничтожный, не могущій его прокормить. Но надежда родитъ мечты. Онъ схватится за эту Думу, какъ опору возможнаго улучшенія своего положенія, онъ посмотритъ завистливымъ взглядомъ на сосѣда-кулака и у него зародится мысль: „я буду также сытъ“. Не сразу это; пролетарій будетъ бороться въ немъ съ кулакомъ. Но единства сердца въ немъ не будетъ, и онъ болѣе не нашъ, онъ измѣнитъ и не пойдетъ съ нами, выжидая погоды, обстоятельствъ. И снова потянутся дни, Дума будетъ манить, манить и обманывать, обманывать и обнадеживать,—какъ вездѣ въ мірѣ мы видимъ, и снова надоѣдающій мужикъ будетъ ожидать руки, которая броситъ ему недоѣденные барскіе объѣдки. Такъ вотъ въ чемъ дѣло! Вотъ передъ какой опасностью мы поставлены. Эта проклятая Дума („неудобь сказуемыя слова“) расколола наше единство и вырвала изъ рукъ нашихъ побѣду, привлекши въ сторону неопредѣленныхъ и, конечно, ложныхъ надеждъ главный станъ пролетаріевъ, пролетарія земли, деревни. Все уходитъ въ неопредѣленную проволочку. И пронравившійся мотъ снова будетъ ѣздить въ золоченыхъ каретахъ, отнынѣ вовсе и

навсегда ничего не боясь, потому что никто не соберетъ его векселей и не предъявитъ ихъ къ уплатѣ, хотя векселя и выданы, хотя онъ ихъ не можетъ оплатить и хотя у него въ дѣйствительности менѣе богатствъ, чѣмъ у деревенскаго батрака. Но все уходитъ въ призракъ, фантасмагорію, которую нѣтъ возможности сопоставить съ дѣйствительностью. Вотъ отчего, господа и товарищи, вотъ отчего, друзья-рабочіе, у васъ нѣтъ болѣе ненавистнаго врага, нежели Дума, ибо это врагъ реальный и сильный, сильный внушаемою имъ мечтою и надеждою, тогда какъ раньше вы имѣли передъ собою гнилые столбы, которые сами валились".

— „Во-во!" — хлопалъ и топалъ мой сосѣдъ-вотякъ. — „Во!!" — и онъ пучилъ на меня глаза, выражая сочувствіе. Поодаль отъ него сидѣла, задумавшись, мѣщаночка, лѣтъ 40, въ платочкѣ точь-въ-точь какихъ я видалъ на „собесѣдованіяхъ" въ залѣ „Общества распространенія религіозно-нравственнаго просвѣщенія въ духѣ православной церкви", что на Стремянной улицѣ.

— Взгляните, — проговорилъ мнѣ сосѣдъ-родственникъ. — Это мальчикъ, ребенокъ!

— Гдѣ?

— Да возлѣ самой эстрады.

Взялъ бинокль. Вижу, рядомъ съ предсѣдателемъ" стоитъ въ матроскѣ (дѣтскій костюмъ) мальчикъ лѣтъ 8—9—10, никакъ не больше. За нимъ, должно быть отецъ, блондинъ-мужчина лѣтъ 32—35. Оба не сѣли, а уже третій часъ какъ тутъ.

Я вышелъ. Встрѣтилъ около стѣнки Академіи знакомаго—уже такого лежебоку, который рѣшительно никогда не подымается изъ дома. Я изумился:

— Откуда?

— Съ митинга учениковъ среднихъ учебныхъ заведеній. Въ такой-то (нумеръ) аудиторіи.

— Ну?

— Интересно. Какой порядокъ! Предсѣдательствовалъ гимназистъ съ усами. Тишина, всѣ слушаютъ. „Ораторовъ“ по очереди вызываютъ или подъ иниціалами, или подъ псевдонимами. Боятся начальства. Но главное — порядокъ! Гдѣ у насъ въ Россіи порядокъ?!. Вездѣ—каша, а у мальчишекъ—система.

„У мальчишекъ система“ - и я ужасно смѣялся, спѣша домой. Но какъ бы то ни было, дѣйствительно, -это занимательныя, новыя и содержательныя лекціи, сказанныя не монотоннымъ, мертвымъ языкомъ, и притомъ на какія-то чужія, не русскія темы, какія я слушалъ въ 1878 1882 году въ Московскомъ университетѣ, и каковыя читали вѣрно тутъ утромъ этого дня. „Рыба ищетъ гдѣ глубже, а человѣкъ гдѣ лучше“. И мнѣ стало воочію понятно, отчего митинги ввалились въ учебныя заведенія, и „tout Pétersbourg“ валилъ на нихъ. Кажется, эту „воду опустили“, не досмотрѣли, и она потекла „куда слѣдуетъ“ или „куда не слѣдуетъ“, смотря по вкусамъ и „убѣжденію“.

12 октября.

# Среди анархіи.

Не подлежитъ никакому сомнѣнію, что внезапная, почти моментально наступившая анархія составляла главную муку и главную опасность пережитаго Россіей историческаго момента. Власти нѣтъ. И никто не знаетъ, откуда ее взять. Никто не понимаетъ, какимъ образомъ она могла бы проявиться, какъ должна начать дѣйствовать. Авторитета нѣтъ или, точнѣе, мы присутствовали при моментальномъ почти, на протяженіи какого-нибудь одного мѣсяца, паденіи всѣхъ авторитетовъ, самыхъ старыхъ, самыхъ обширныхъ. Стало возможнымъ все дѣлать для дерзкаго; а для „законнаго", для человѣка, держащагося принципа „законности", для людей скромныхъ и самоограничивающихся, стало невозможнымъ что-нибудь, сколько-нибудь значительное сдѣлать. Колоссальная страна съ тысячелѣтней исторіей на нашихъ глазахъ въ нѣсколько недѣль и мѣсяцевъ превратилась частью прямо въ разбойный станъ, частью въ лагерь всеобщаго возстанія всѣхъ противъ всѣхъ—мѣстами реальнаго, почти всюду потенціальнаго, въ скрытой возможности и скрытомъ стремленіи. Всѣ не знаютъ, что будетъ завтра, ни

министры, ни общественные дѣятели, ни обыватели. Эта потеря „кредита до завтра“ составляетъ самую опасную, самую тревожную и мучительную сторону разсматриваемаго момента.

Что такое? Откуда все произошло? Неужели это серьезно могло наступить „въ одинъ моментъ“, какъ въ сказкѣ, какъ въ волшебствѣ? Ни волшебства, ни сказокъ не знаетъ исторія. „Нѣтъ дѣйствія безъ причины“, и „сила причины опредѣляетъ величину дѣйствія“—вотъ аксіомы науки. Пусть практическіе политики нашей минуты ищутъ средствъ, какъ выйти изъ анархіи. Мы постараемся подумать о существѣ ея и поискать основаній ея.

Все совершилось, въ сущности, страшно просто и страшно понятно. Мы вотъ въ этомъ октябрѣ мѣсяцѣ пережили перестройку понятія „закона“ и „законности“; понятія—не въ головахъ обывателей, а въ самой дѣйствительности, въ жизни,—и затѣмъ уже, зависимо, въ обывательскихъ головахъ. И пока это понятіе „перестраивалось“, вотъ на этотъ мѣсяцъ, пока длился процессъ,—исчезли естественнымъ образомъ всѣ написанные въ Россіи и о Россіи законы, и не появилось еще ничего на ихъ мѣсто, почти ничего. Старые законы, правда, еще значатся въ кодексахъ; но ихъ никто не умѣетъ, не хочетъ или не имѣетъ силы исполнять, не имѣетъ *одушевленія* исполнить, потому что они всѣ потенціально рухнули, а реально, можетъ быть, завтра же будутъ отмѣнены. Перемѣстился, какъ это всѣмъ понятно, самый источникъ законодательства: Государственная Дума, новый источникъ законодательства и законовъ,

еще не собралась, ея въ наличности нѣтъ, а прежній источникъ законовъ самопарализовался, пересталъ дѣйствовать, оробѣлъ дѣйствовать. Наступила эпоха, вѣроятно, краткая, подобная тѣмъ, какія отмѣчены у римскихъ историковъ терминомъ „interrex“: Ромулъ умеръ, а Нумы Помпилія нѣтъ, старые два консула сложили съ себя должность, а другіе два на ихъ мѣсто еще не назначены. Эти два-три дня, иногда одна-двѣ недѣли,—опаснѣйшіе, тревожные, когда ничего не предпринималось, и естественно нельзя было ничего предпринять, когда Римъ замиралъ въ страшномъ бездѣйствіи, и были называемы „междуцарствіемъ“, „междувластіемъ“, „анархіей“; но въ Римѣ страшная опасность подобнаго положенія предупреждена была правилами дѣйствія во время его, выработанными однажды и навсегда народомъ-мудрецомъ и законодателемъ. У насъ „междувластіе“ переживается впервые. Мы не нашлись, растерялись. Вотъ откуда опасность, смятеніе, подавленность.

— Да соберите же какъ можно скорѣе, собирайте сейчасъ Государственную Думу! Изъ кого угодно, какъ угодно, но давайте сейчасъ выборныхъ отъ народа сюда въ Петербургъ!!

Вотъ рецептъ выхода ихъ анархіи, который хочется бросить людямъ власти, людямъ практической политики.

Но продолжу смиренный анализъ.

„Законъ“ всегда у насъ былъ „приказаніемъ“. Проходилъ ли онъ черезъ Государственный Совѣтъ, исходилъ ли отъ Комитета Министровъ, проявлялся ли въ видѣ указа, былъ ли простымъ распо-

рядительнымъ актомъ губернатора, исправника, консисторіи, земскаго начальника — все равно, всегда и вездѣ, въ дробяхъ и въ цѣломъ, блистательно и подпольно („конфиденціальные“ циркуляры) онъ былъ приказаніемъ и только приказаніемъ. И Россія была „приказною страною“ по этому характеру своего управленія и происхожденію законодательства. Перестройка понятія его заключается въ томъ, что отнынѣ онъ будетъ или отнынѣ становится результатомъ переговоровъ, спора (партій, вождей партій), нѣкоторой тяжбы, умственной, политической, умной или страстной—все равно: но непремѣнно онъ будетъ *договоромъ*, *соглашеніемъ* между двумя сторонами, съ тою страшною строгостью, взыскательностью за неисполненіе его, какая вообще присуща всякимъ „контрактамъ“, „договорамъ“, „соглашеніямъ“ двусторонняго характера, и съ постоянною наличностью того, что слѣдитъ за исполненіемъ договора „другая партія“ Государственной Думы, которую и заставили принять законъ, которая „уступила, оказавшись въ меньшинствѣ“. Только бы собралась Государственная Дума: въ мѣсяцъ, въ два, въ три мѣсяца она дастъ рядъ законовъ такой строгости и непремѣнности исполненія, о какихъ до сихъ поръ Россія и понятія не имѣла. Но только для этого нужно самой-то Думѣ быть авторитетною, для чего ей нужно быть только народною, по интеллигентной терминологіи—„демократическою“. Разъ въ Думу собираются „выбранные“ и „отъ народа“, то, очевидно, источникомъ законодательства становится самъ

народъ, толпа народная. Только отъ невозможности этой „массѣ" собраться въ одно мѣсто и въ одно время существуетъ механизмъ Думы. Сама по себѣ она — ничто; машина безъ пара и паровика. Паръ и паровикъ—это народъ; „множество", „громада". Въ немъ—всѣ санкціи, вся святыня, вся власть. И чѣмъ народъ будетъ „полнѣе" представленъ въ Думѣ, непосредственнѣе, матерьяльнѣе, „ядреннѣе", „материковѣе" (да будутъ прощены мнѣ эти понятія-термины), чѣмъ „Дума" будетъ равнозначущѣе съ „народомъ",— тѣмъ она будетъ авторитетнѣе, сильнѣе. Дума по высокому цензу не получила бы никакого авторитета; прямо, ея не стали бы слушать, какъ и теперешнихъ властей. Отчего, да я думаю, глубоко правы, психологически и исторически правы тѣ, которые требуютъ выборовъ подачею голосовъ „всеобщею, равною, прямою и тайною". Это—само дѣло говоритъ. Это крикъ исторіи. Никакого вамъ дѣла нѣтъ, есть ли это или нѣтъ на Западѣ. Что за чепуха „западничество" въ такой критической моментъ, какъ нашъ. Мы должны считаться только съ психологіей страшнаго теперешняго момента. Среди еще невиданной анархіи мы, очевидно, должны получить, должны искать громадную власть, громадный авторитетъ. Какъ искать? гдѣ его найти? Въ знатности? Она отвергнута, она осмѣяна отъ Фонъ-Визина до Щедрина, она показала себя въ помѣщикахъ, въ бюрократахъ, въ инвалидахъ Государственнаго Совѣта. Въ богатствѣ? Надъ нимъ издѣвался даже Крыловъ въ басняхъ, оно ненавидимо въ кулакахъ, въ каба-

кахъ, въ сеудныхъ касахъ, во всемъ. Богатство въ Россіи неуважаемо, почти презираемо, всюду ненавидимо. И вы хотите на немъ, на „имущественномъ цензѣ" воздвигнуть новый авторитетъ! Его бы проклялн, противъ него возмутились бы, его бы истребили.

Дайте власти—страшной, большой, вѣруемой, святой! Народъ только „въ себѣ" не извѣрился,—ну, по той простой психологической аксіомѣ, что „себѣ" всегда вѣришь, въ „себя" послѣдняго перестаешь вѣрить; что разувѣрившійся „и въ себѣ" обыкновенно давится въ петлѣ—ибо что же ему дѣлать еще? Послѣднее прибѣжище. И народъ сталъ передъ нимъ. Отсюда громадный инстинктъ и громадная если не политическая, то психологическая правда съ самаго же начала поносимаго лозунга: „подача голосовъ (при выборахъ) всеобщая, прямая, равная, тайная". „Тайная" это условіе, чтобы не подкупали, условіе искренности, правды, изгнаніе интриги при выборахъ, гадкаго „политиканства" и „процырства партій". Три остальныя условія просто суть качества, признаки въ сущности одного условія: „выборы должны быть *народные*", „отъ громады", „отъ Государя-Народа". И только! Кто противъ этого? Только бѣсъ, доктринерство, профессорство и вѣчные ссылки „на матушку-Европу". Но, ей-ей, мы такой мигъ теперь переживаемъ, когда Россія готовится сказать, да и уже чувствуетъ, говорить: „Я—сама себѣ голова. Что мнѣ Европа? Я и сама не Азія, и у меня—душа, а не паръ. Позвольте

пожить своимъ умомъ, а то на задворкахъ у Европы я до пищеты и срама дожила".

Исключили почему-то изъ выборовъ женщинъ, когда это такъ глубоко не исторично, не психологично, не своевременно, не „порусски". и опасно именно сейчасъ: ибо посчитайте-ка, какая доля теперешняго движенія была возбуждена и совершена женщинами! Но повторяемъ и заключаемъ: всѣ, кого вы выбросите изъ выборовъ, останутся внѣ интереса къ Думѣ, не дадутъ ей того тайнаго, психологическаго согласія и священной санкціи, въ полученіи которой теперь заключается весь интересъ и трагизмъ момента. „Что не въ Думѣ— то противъ Думы": вотъ аксіома, на которую всѣ должны оглянуться. Чѣмъ выборы будутъ ближе „къ тайной, всеобщей, равной и прямой" подачѣ голосовъ, — тѣмъ Дума будетъ (повторяю свои термины) „ядреннѣе", „материковѣе", „народнѣе"; тѣмъ болѣе надежды (а въ нихъ все дѣло), что, увидѣвъ ее, народъ скажетъ, всѣ и каждый скажутъ: „А, вотъ—*я!* Теперь—не проведешь! Это—*мы!* Снимай шапки!"

Только *этого* и надо! *Одного* этого! Больше ничего!

Сущность момента—анархія. Сущность задачи — власть. Власть не юридическая, не оружія: власть довѣрія, увѣренности, субъективной у каждаго. По этимъ качествамъ „искомой власти" она должна быть народною.

* * *

Продолжимъ же еще далѣе анализъ. Отчего, когда идейно вырвано было „зерно авторитета"

у всѣхъ сущихъ законовъ, - не сохранилось однако никакой любви къ нимъ? Отчего у всѣхъ проявилось страшное желаніе „заявить безпорядокъ“, „начать сейчасъ на глазахъ всѣхъ никому и ничему не повиноваться“,—что и составляетъ почти сущность переживаемой трагедіи, такъ сказать, художественный фокусъ видимой картины?

Да „законы“ эти всѣ ненавидѣли и презирали ранѣе октября и августа 1905 г. Печать ненавидѣла „печатные законы“, школа (не въ лицѣ учениковъ однихъ, но и учителей всѣхъ сплошь)—„школьные законы“, даже бюрократія—„бюрократическіе законы“, свои штаты, чины, ордена. Самъ я былъ около 15 лѣтъ чиновникомъ и не видалъ такого чуда-чуднаго, дива-дивнаго, чтобы чиновникъ глубоко не ненавидѣлъ и не презиралъ тотъ стулъ, на которомъ онъ сидитъ, ту комнату, въ которой сидитъ, и весь этотъ „антихристовъ департаментъ“. Напримѣръ учителя гимназій (а я перебывалъ учителемъ въ трехъ) называли учебный округъ, т. е. канцелярію попечителя учебнаго округа — „ордою“ (татарскою).—„Будете въ ордѣ?“—спрашивали учителя, ѣдущаго въ Москву на праздники.—„Въ ордѣ не былъ“,—говорилъ онъ, вернувшись съ каникулъ. Всѣ условно знали, что это значитъ. Чиновники контроля, гдѣ я служилъ, всѣ знали, что сущность контроля заключается въ прикрытіи казнокрадства: именно въ выработкѣ правилъ и въ тщательномъ надзорѣ, чтобы казнокрады ни въ чемъ не отступали отъ строжайшихъ и единообразныхъ для всей Имперіи процессуальныхъ формъ, по какимъ разоренію

страны и государства совершается, чтобы они воровали „по формѣ“, а не безъ формы, „по закону“, а не безъ закона, „въ установленномъ порядкѣ“, а не какъ-нибудь—что, конечно, обезопасивало грабежъ. Ибо раньше онъ походилъ на контрабанду, а какъ установился „контроль съ дѣлопроизводствомъ“, то грабительство сѣло въ вагонъ и поѣхало съ „контрольнымъ билетомъ“. Чиновники это знаютъ. Но они — патріоты, дѣйствительно, безъ фальши, свидѣтельствую и клянусь! Можно ли имъ не презирать свою сферу? Для учителей учебное вѣдомство было—„орда“, для контрольныхъ чиновниковъ—„Нашама“. Не знаю, какъ въ судѣ и управленіи. Объ этомъ писалъ Щедринъ. Вдругъ съ октября мѣсяца появилась физическая возможность „заявить свои чувства“. Ну, и „заявили“...

Просто плюнули—всѣ и на все, „всяческое и на всяческое“, какъ говорится въ Писаніи.

Почему же всѣ ахнули? Чему всѣ ужаснулись, вознегодовали? Отчего никто не „ахалъ“ раньше,—въ контролѣ, о которомъ всѣ знали, что онъ презирается контролерами, объ учебномъ вѣдомствѣ, которое ненавидѣли учителя и ученики? Да знаете ли, мнѣ кажется — всѣ и дожидались октября 1905 года. „Теперь нельзя плюнуть—когда-нибудь“. И садился чиновникъ за карты, или амурничалъ съ женой. Но, будьте увѣрены, всѣ эти садившіеся за карты чиновники отлично понимали, въ чемъ дѣло и чему они служатъ. Да я все сразу объясню гг. писателямъ: было ли такое цензурное правило, и цензурная эпоха, и „главноуправляю-

ціи по дѣламъ печати", которыхъ единодушно всѣ писатели и журналисты, отъ репортера до Тургенева, не презирали, не ненавидѣли и не боялись? Не было. Всѣ ждали „октября 1905 г.", всѣ терпѣли и думали: „ужо я тебя", „ужо мы вамъ", „когда-нибудь сквитаемся". Вдругъ это стало возможно, не активно, а пассивно. Не сговариваясь, не соглашаясь, ибо сговаривались-то сто лѣтъ и давнымъ-давно всѣ и обо всемъ согласились, черезъ журналистику, отъ Тургенева до репортера — всѣ и разомъ „оказали неповиновеніе", отъ стрѣлочника на Харьково-Николаевской жел. дор. до чиновниковъ Государственнаго банка въ Петербургѣ. Чиновники наговорили дерзостей министру финансовъ Коковцову, машинистъ не сталъ на паровозъ, чтобы везти министра путей сообщенія изъ Москвы въ Петербургъ. „Всѣхъ нельзя уволить, нельзя уволить въ отставку всю Россію". Очень простое разсужденіе.

Секретъ въ томъ, что одна мысль прошла по всей Россіи. Опасность и трагизмъ, не предусмотрѣнный бюрократами, заключался въ возможности всей Россіи объединиться въ одномъ чувствѣ. Это чувство — негодованіе, презрѣніе къ самой бюрократіи.

Есть масса людей, глубочайше негодующихъ на теперешнюю анархію. Ихъ нельзя ничѣмъ осворить, никакъ остановить, кромѣ одного магическаго слова: „а что было до анархіи?" При этомъ вопросѣ, если вы говорите въ то же время съ человѣкомъ честнымъ, искреннимъ, любящимъ Россію, — у него опустятся руки, и, горько от-

вертываясь отъ васъ, онъ скажетъ: „о, да, знаю было еще хуже! Всѣ чего-то ждали, безнадежно ждали, всѣ умирали: и не видѣлось исхода изъ этой медленной смерти“.

* * *

Такъ анархія только проявила себя въ октябрѣ 1905 года, а на самомъ-то дѣлѣ мы весь XIX вѣкъ, приблизительно начиная съ Отечественной войны 1812 года, уже живемъ и жили въ анархіи. Анархистъ былъ Грибоѣдовъ, анархисты Лермонтовъ и даже кроткій Пушкинъ; даже Кольцовъ былъ анархистъ: вспомните-ка его пѣсни о деревенскихъ богатѣяхъ-мужикахъ; чудовищный анархистъ былъ Гоголь, какихъ еще земля не рожала; и чѣмъ дальше, тѣмъ больше, тѣмъ ярче, тѣмъ злобнѣе, если не всегда талантливѣе. Вся русская литература XIX вѣка есть „анархическая“: ну, съ этимъ ли движеніемъ было справиться русскому чиновничеству, бездарному, конечному, подкупному, продажному, льстивому, пугливому. Я говорю не о низахъ чиновничества, которые тоже были анархисты, вслѣдъ за литературою и объединенно съ литературою, а о верхахъ его, которые „литературы не читаютъ“, „глупостями не занимаются“, сидятъ въ высокихъ „Совѣтахъ“ и „Комиссіяхъ“ и „сочиняютъ законы для Россіи“. Достаточно было шевельнуться, довольно было повести плечами гиганту-Россіи, чтобы вдругъ все казавшееся „мудрымъ“, „авторитетнымъ“ и „властнымъ“ до сихъ поръ оказалось въ растерянномъ, мальчишескомъ положеніи. Буквально кара-

пузъ-мальчикъ барахтается въ лужѣ грязи, лежитъ на спинѣ, кричитъ немощно о помощи: вотъ впечатлѣніе отъ нашихъ властей за сентябрь—октябрь 1905 года.

Какъ могло все случиться? Былъ „законъ—приказаніе“, законъ „безъ возраженій“, законъ „безъ критики и критикующаго“. Естественно, что онъ давался „въ-темную“, „на-авось“—при всѣхъ и всяческихъ комиссіяхъ, которыя только обирали денежки съ Россіи. Естественно, что эти законы „на-авось“ и „въ-темную“ всѣми были ненавидимы и презираемы, и всѣ только дожидались случая, дня, когда имъ можно будетъ перестать повиноваться. Не было вовсе любимыхъ законовъ! Ну, скажите: знаетъ ли кто-нибудь, можетъ ли кто-нибудь указать хотя единый законъ, который соединенно вся Россія любила бы, чтила, обожала, гордилась имъ и умилялась на него, ссылаясь: „да, все у насъ грустно, но есть вотъ какой законъ! вотъ какой принципъ нашей жизни! вотъ какая идея, положенная въ законодательство“. Кажется такой „идеи“ вовсе нѣтъ у насъ въ законодательствѣ, а изъ принциповъ, кажется, есть только одинъ: „освобожденіе крестьянъ съ землею“ и „гласный судъ“. Но вѣдь и они, особенно первый принципъ—искажены, урѣзаны, смяты. Ничего нѣтъ, ни одной любимой строчки въ законодательствѣ! Ни одной любимой черты! Такъ дивиться ли анархіи? и спрашивать, откуда она „моментально“ взялась? Да мы уже не моментъ, а сто лѣтъ въ анархіи—подавленной, задушенной! Но вотъ глотнуло горло воздуха: всѣ встали и закричали.

Нѣтъ ничего любимаго въ жизни, въ дѣйствительности! Легко ли это сказать!! Да пусть закономъ будетъ сейчасъ сказано: „ей, мужья, побросайте своихъ женъ! жены, побросайте мужей! родители дѣтей и дѣти родителей". Сколько ни кричите —ничего не произойдетъ, сколько ни „позволяйте"—никто позволеніемъ не воспользуется. Почему? Да очень просто связаны всѣ любовью, привязанностью, уваженіемъ. Пошлые наши, во истину пошлые законы все дѣлали видъ, что заботятся о „цѣлости" семьи, боятся „анархіи" въ ней, и установили для нея паспортныя и другія правила, введшія тюрьму въ естественный природный рай (гдѣ удалась семья). Но вотъ, снимите всѣ правила: и, конечно, никто не двинется съ мѣста, все останется попрежнему, по-любимому, по-уважаемому, по-чтимому. Говорю о правилѣ, не объ исключеніяхъ, которыя и теперь „разбѣжались", при всяческихъ запорахъ и замкахъ. Итакъ, гдѣ любовь -тамъ и порядокъ; гдѣ идеалъ—тамъ и стройность; гдѣ уваженіе—тамъ и покой. Чиновники о семьѣ заботились, а вотъ себя и не устроили. Точнѣе, пытались пролить и въ семью злобу, раздѣленіе, формальность, юридичность, да и не смогли этого, ибо въ семьѣ „матушка-кровь" ходитъ и все соединила, слила въ гармонію, идеалъ и порядокъ. Но чиновники и богатый русскій организмъ, огромное народное тѣло попробовали связать „регламентами", „уставами о службѣ", „чинами", „орденами", „пенсіями", всѣмъ безъ-идеальнымъ, всяческими своекорыстными мотивами, дѣйствуя на честолюбіе,

денежную жадность, возбудивъ всѣ гадкіе мотивы, никогда не разсчитывая ни на какую дружбу, вѣрность, любовь, идеалъ. Что такое „чиновничество", какъ не дѣятельность „безъ идеала"? Что есть чиновникъ, какъ не „человѣкъ, изъ котораго вынута душа"? Вотъ опредѣленіе всего нашего государственнаго строя. Знаете ли вы смыслъ подпявшейся анархіи? Загляните за проявленія, всмотритесь въ глубь вещей: все идеальное поднялось противъ всего безъ-идеальнаго, а вождь возстанія—литература, отъ Хемницера до Толстого. Вотъ очеркъ положенія en grand, безъ подробностей. Мы живемъ въ мучительные дни. Но, кажется, всѣ знаютъ, увѣрены, убѣждены: „теперь смерти не будетъ". А еще въ 1903 году этого было вовсе не видно; всѣ именно думали: „идетъ смерть, какая-то вонючая, затяжная, 1,000 лѣтъ издыханья послѣ 1,000 лѣтъ существованія кое-какъ", „изъ кулька въ рогожку": хороши эти наши поговорки народныя! Анархія нравственная уже живетъ въ нашихъ пословицахъ народныхъ, въ заунывныхъ пѣсняхъ, а не въ одной „образованной" литературѣ. Русскій мужикъ такъ же анархистъ, какъ Гоголь. То же уныніе. То же—ни къ чему уваженіе. То же надежда: „тамъ, на небѣ, будетъ лучше".

Да взять только наше *народное* ученіе о „невидимомъ Антихристѣ", т.-е. ученіе, пламенно объемлющее милліоны деревенскихъ сердецъ, что „все дѣйствительное, все нами управляющее, всѣ законы даны оборотнемъ-антихристомъ, все есть печать сатаны и дѣло его". Это анархизмъ почи-

ще Бакунинскаго... И опъ пламенетъ, вступленъ: за увѣренность въ этомъ люди или въ огонь! Хорошая же дѣйствительность, поддерживавшая, по крайней мѣрѣ не развѣявшая 200 лѣтъ эту увѣренность!..

Ни влаги жаждущему, никакого утѣшенія, никакого идеала,—это какъ народу, такъ и въ сторону „образованныхъ". Власть всегда „жалѣла" черный народъ, т.-е. презирала; и „обѣщала" съ твердымъ знаніемъ, что никогда этотъ „дурачокъ" не взыщетъ за неисполненное обѣщаніе. „Образованныхъ" она ненавидѣла, всегда и ярко, по той простой причинѣ, что „образованные" все видѣли и знали. Нисколько не диво, что поэтому въ одинъ счастливый или „черный", что ли, годъ „образованные" и „мужики" поняли другъ друга: и стрѣлочникъ на желѣзной дорогѣ дѣйствуетъ „съ силой сатиры Щедрина". Какъ только произошло это соединеніе, начало происходить,—а чиновники всегда этого какъ огня боялись,—такъ можно сказать и сгорѣла „сущая" Россія, разомъ и вся, все въ ней вмѣстѣ и порознь. Чиновники остались безъ отечества, безъ управляемыхъ, безъ народа: просто—одни; теперь что они ни приказываютъ—никто не слушаетъ; нѣтъ кредита „до завтра". Просто, приходится подать въ отставку. Вѣдь что произошло въ октябрѣ мѣсяцѣ: сперва населеніе „потребовало увольненія отъ службы", предоставивъ чиновникамъ получать попрежнему жалованье, распредѣлять между собою ордена, чины и пр. Но такъ какъ чиновники „безъ отечества и народа" представляютъ необыкновенно

дикую вещь, то чиновничеству осталось только растерянно сказать: „нѣтъ, пусть народъ остается — лучше я выйду въ отставку". И вышло. И разошлись. Чиновничества, въ сущности, нѣтъ; это уже не власть болѣе, не авторитетъ; такъ, списывать кое-что, „прикачивать оставшіяся дѣлишки". Но и народъ буквально безъ организаціи, безъ закона, безъ рельсовъ; съ пламенными идеями въ родѣ того, что „все было отъ антихриста", но что гдѣ-то „есть Богъ и Его правда", да только „какъ это найти". Такою же „нѣтовщиною" (названіе одной нашей секты) пропитаны и литература, и общество. Объ этомъ нѣты всѣ пѣсни, разсказаны всѣ разсказы; сводились къ этому всѣ разсужденія. Читайте нашу литературу, и народную, и „образованную".

* * *

Какимъ образомъ огромныя массы народныя, во всякомъ случаѣ простирающіяся до многихъ тысячъ, вѣрили какому-то невидимому правительству, даже имени котораго, вѣроятно, многіе изъ повинующихся не знали? Пожалуй, я соглашаюсь на всѣ порицательные эпитеты этого правительства: что оно „дѣйствуетъ злодѣйски, самовольно, нагло, во вредъ всѣмъ"; не буду спорить, что это просто „негодяи, мошенники и жиды". Я его не знаю, и защищать его не могу. Мое дѣло—психологія и исторія. Вотъ, однако, на что я долженъ указать, что это правительство „свое" у повинующихся, ибо, напр., хоть въ „союзъ союзовъ", конечно вступили делегаты всѣхъ порознь „сою-

зовъ", а въ „совѣтъ" такого-то „союза"—ну, хоть наборщиковъ или фабричныхъ вступили представители и фабрикъ, и наборщиковъ. Принципъ, діаметрально противоположный чиновническому: „министръ назначилъ директорами департаментовъ того и этого", а „этотъ директоръ департамента назначилъ въ начальники отдѣленій этого и того" и т. д. У видимаго правительства—все „назначеніе", и большею частью „пріятныхъ людей", непремѣнно -„людей почтительныхъ и исполнительныхъ". Министру хорошо, Россіи плохо. Вѣдь не ей „пріятны", не къ ней „исполнительны и почтительны" директора департаментовъ. У рабочихъ—совершенно иначе. Все—„делегаты"; вездѣ, въ каждомъ кусочкѣ тѣла дѣйствуетъ „прямая, равная, общая" и пр., „безъ различія пола, національности и религіи". Тутъ и татаринъ, и русскій—въ одной кучѣ; и мужикъ, и баба—подаютъ голосъ. „Делегаты" почтительны къ выборщикамъ, а съ товарищами, т.-е. делегатъ съ делегатомъ, готовы зубьями сцѣпиться. Не даромъ „спорятъ до трехъ часовъ ночи", и спорятъ не какъ въ нашихъ комиссіяхъ—„почтительно", а можно сказать до крови, до зуботычинъ. Скверно имъ, да хорошо внизу, „выборщикамъ". Такъ все выше и выше, по ярусамъ выбора. Для стрѣлочниковъ и машинистовъ во всякомъ случаѣ это „невидимое правительство" пришло не какъ баринъ; оно—каждому „свое", черезъ „прямую, тайную" и проч. То-есть оно, пропзойдя діаметрально противоположнымъ путемъ сравнительно съ чиновничествомъ, и принесло плоды діаметрально проти-

воположные: повиновеніе, притомъ охотное – хотя оно очень трудно, ибо бьетъ страшно по карману рабочихъ; принесло страшную дисциплину и порядокъ среди „анархичной и недисциплинированной Россіи". Слишкомъ понятно, что всего нѣсколько тысячъ человѣкъ, такъ съорганизовавшихся среди дезорганизованной Россіи, –и заняли въ ней положеніе, какъ движущееся сердце среди инертныхъ членовъ человѣческаго тѣла. Вѣдь что такое „правительство" въ существѣ и идеалѣ? Тоже „нѣсколько тысячъ человѣкъ, связанныхъ дисциплиною и порядкомъ", которые управляютъ въ цѣломъ народѣ въ 100 милліоновъ головъ!

Когда дисциплина въ первомъ рангѣ разсыпалась, тогда вдругъ вышла наружу вторая власть, въ которой дисциплина уже долгіе годы зрѣла, подготовлялась, складывалась „подпольно"...

Тутъ что же сдѣлаешь? Скорѣе Думу, и лучше всего на основѣ „тайнаго, всеобщаго, равнаго" и проч. Думу какъ можно демократичнѣе, шире и свободнѣе поставленную, около которой всѣ „союзы союзовъ" и „совѣты делегатовъ рабочихъ" оказались бы какъ капля около моря. Но около моря –непремѣнно *однороднаго*. Ибо только однородное можетъ *поглотить однородное*. А въ этомъ– все дѣло, вся задача минуты и исторіи. Народа ли, „народнаго" ли бояться Россіи? Нелѣпо, чудовищно. Для кого же мы живемъ? Пусть громада и выдѣлитъ весь сокъ свой въ Думу: тогда у насъ и получится авторитетъ и власть, которыхъ откуда же взять Витте, министрамъ, единичнымъ общественнымъ представителямъ, которые и отка-

зались отъ „портфеля министровъ“ по тому простому соображенію, что эти портфели суть пустые. Въ самомъ воздухѣ нѣтъ власти, авторитета. „На нѣтъ—и суда нѣтъ“. Но утроимъ событія, чтобы скорѣе выдѣлился „сокъ народный“ и сформировалъ новую физіономію Россіи,— голосъ, руку, хорошій басъ и мастерицу-руку.

Іюлѣ 1905 г.

1906 г.

# Гамлетъ въ роли администратора.

— «Бѣдный Іорикъ!»
*Гамлетъ.*

Характеристика демократическаго и освободительнаго движенія, сдѣланная К. П. Побѣдоносцевымъ въ англійскомъ журналѣ „The Cosmopolitan", заставила насъ вспомнить о прекраснѣйшемъ критическомъ этюдѣ И. С. Тургенева—„Гамлетъ и Донъ-Кихотъ". „Гамлеты разсуждаютъ, а Донъ-Кихоты дѣйствуютъ", писалъ знаменитый романистъ. Два эти типа—міровые. И каждый изъ насъ принадлежитъ, блѣдно или ярко, къ одному изъ нихъ.

Къ которому принадлежалъ К. П. Побѣдоносцевъ? Уже по тому, сколько онъ писалъ и пишетъ даже до сихъ поръ, можно отвѣтить сразу же, что онъ принадлежалъ къ типу Гамлетовъ. Великій политикъ Фридрихъ II Прусскій сказалъ когда-то: „если бы я захотѣлъ разорить какую-нибудь страну, я отдалъ бы ее въ управленіе философовъ". Никто не сомнѣвается, что Гамлеты суть философы, и никто не станетъ спорить, что приложимое къ странѣ приложимо и къ части страны, къ области или сферѣ управленія. К. П. По-

бѣдоносцевъ прекрасно писалъ и пишетъ, и уже можно à priori предполагать поэтому, что онъ вяло дѣйствовалъ или совсѣмъ бездѣйствовалъ въ порученной ему „области". И не только бездѣйствовалъ самъ, что было бы еще съ полгоря, но онъ всегда и всею своею „говорящею фигурою" ложился поперекъ всякаго живого теченія воды, всякой инициативы третьихъ людей, можетъ быть, неспособныхъ такъ хорошо писать, какъ онъ, но хотѣвшихъ, иногда безумно хотѣвшихъ что-нибудь сдѣлать, какъ-нибудь начать дѣйствовать.

Онъ пишетъ, для иностранцевъ, о той меланхоліи, которая распространяется отъ либерализма, демократизма, раціонализма и вообще отъ разныхъ „измовъ". Но болѣе всего, думается, навѣвается меланхолія старостью, и не столько физіологическою, сколько этою духовною, которая враждебна по существу всякому дѣлу, ненавидитъ каждое движеніе и шумъ вокругъ себя, и вмѣстѣ съ тѣмъ, если она сопровождается умомъ, не можетъ не чувствовать внутренняго угрызенія совѣсти отъ сознанія этой природной, неодолимой и столь все-таки грѣшной праздности. Давидъ, столько воевавшій и основавшій цѣлое царство, писалъ одушевленные псалмы; напротивъ, Соломонъ, загадывавшій только мудрыя загадки царицѣ Савской, написалъ меланхолическій „Екклезіастъ". Трудъ—это бодрость; бездѣлье—меланхолія. И личная его, К. Н. Побѣдоносцева, меланхолія, яркая не только теперь, но и всегда, объясняется поразительнымъ бездѣльемъ, въ которомъ

онъ провелъ время своего „духовнаго“ и государственнаго управленія и вліянія, почти такъ же долгаго, какъ Соломоново царствованіе. Напротивъ, „сожалѣемыя“ имъ демократіи и свободныя страны, какъ Англія, Германія, Франція, вовсе не такъ безнадежны въ смыслѣ состоянія духа, какъ это ему представляется подъ давленіемъ субъективныхъ иллюзій.

Но есть меланхолія личная, и до нея мало кому есть дѣла; и есть меланхолія цѣлыхъ странъ, или вотъ „департаментовъ“, въ которой мы доискиваемся вины и виновныхъ. Голосъ цѣлой Россіи, и уже много лѣтъ, указываетъ на фигуру нашего „правительствующаго Гамлета“, печатавшаго изящныя книжки на великолѣпной бумагѣ въ Синодальной типографіи, какъ на самаго главнаго виновника не только надуманной меланхоліи, но и настоящей грусти, а наконецъ и реально—грустныхъ дѣлъ, пережитыхъ нашею родиною. Онъ со своимъ „быть или не быть“ и монологами à la „бѣдный Іорикъ“ вѣчно ложился „поперекъ“ всякаго движенія, имѣвшаго намѣреніемъ убрать самый очевидный навозъ изъ-подъ носа. Кто не помнитъ, въ началѣ царствованія Императора Александра III, инцидента съ командующимъ чуть ли не военнымъ округомъ, помнится—Барклай-де-Толли, который вынужденъ былъ оставить службу оттого, что, женатый на православной и самъ будучи лютераниномъ, крестилъ дѣтей своихъ въ лютеранство же, вѣроятно, не безъ согласія ихъ матери, русской? Пусть оба родителя рѣшили вѣру ребенка: ее перерѣшило духовное вѣдомство,

во главѣ съ Конст. Петр., который съ жадным досмотромъ заходилъ въ спальни и склонялся надъ дѣтскими колыбелями. Можетъ быть, Россія и пріобрѣла лишнюю православную душу, лишняго „прихожанина нашего прихода" и плательщика „за наши требы"; но сколько потеряла Россія, когда ея общество съ грустью, и вся Европа съ негодованіемъ увидѣла это сухое чиновничество, вторгающееся въ домы и допрашивающее каждаго: „какъ ты вѣришь?" Теперь Конст. Петр. пишетъ, что „свобода и парламентаризмъ неспособны разрѣшить глубочайшихъ проблемъ" болѣе или менѣе гамлетовскаго происхожденія и характера, равно, что „интеллектуальный прогрессъ народовъ недостаточенъ для того, чтобы обезпечить ихъ счастье". Разнаго излишняго „счастья" и болѣе или менѣе экзотическихъ „проблемъ", какими напр., наполненъ „Московскій Сборникъ", они, можетъ быть, и не даютъ и не разрѣшаютъ, да и не до этого занятымъ людямъ; но вотъ эти „жалкія пріобрѣтенія" цивилизаціи могутъ защитить вѣру ребенка по вѣрѣ отца, могутъ предупредить вторженіе полиціи, хотя бы и духовной, въ мою спальню и, словомъ, обезпечить покой и хотя бы какое-нибудь удобство личнаго существованія. Объ „этихъ пустякахъ" Конст. Петр. не безпокоится, потому что онъ ихъ всегда имѣлъ, а мы безпокоимся, потому что этого не имѣли и не имѣемъ. Извѣстно, что Гамлетъ былъ принцъ, и что до „демократіи и парламентаризма" сановники государства чувствовали себя „какъ принцы": ихъ праздное „быть или не быть" и „бѣдный Іорикъ"

объясняется больше всего чрезвычайнымъ удобствомъ креселъ, безъ гвоздей и шиповъ, на которыхъ они сидѣли. Но что же за дѣло намъ до этого и до неразрѣшимыхъ „проблемъ“ „Московскаго Сборника“, на такой хорошей бумагѣ, когда у насъ спины изодраны, кошельки обобраны, вѣра не своя... И за такія благодѣянія насъ еще приглашаютъ читать книжки на веленевой бумагѣ и благодарить авторовъ за доставленное удовольствіе! Похоже больше на Нерона и его рабовъ, чѣмъ на братьевъ и братство „въ Іисусѣ“, которое намъ предподносится изъ „Побѣды побѣдившей міръ –К. П. Побѣдоносцева“ (какое заглавіе! и такое сочетаніе съ фамиліей автора!!).

Парламентаризмъ и тому подобныя „ненужныя вещи“ существуютъ не для того, какъ учитъ К. П. П., чтобы „развѣивать безнадежный пессимизмъ“ и вообще изображать для меланхоликовъ „игру на арфѣ Давида“, которая, какъ извѣстно, должна была разогнать и не разогнала тоску Саула; парламентаризмъ имѣетъ болѣе простыя и совершенно достижимыя и необычайно нужныя задачи: напримѣръ, спросить, какъ израсходованы были такія-то деньги? или отчего такой-то сановникъ, получающій такое-то жалованье, произноситъ монологи надъ черепомъ Іорика, а напримѣръ не преобразуетъ и не очищаетъ завѣдомую, доказанную и для всѣхъ очевидную гадость подвѣдомственныхъ ему духовныхъ консисторій? Почему, вторгаясь въ неподчиненную и не отданную ему „подъ надзоръ“ учебную область, онъ изгоняетъ оттуда земство и сосѣднее министерство. и

сейчасъ же на мѣстѣ этого чужого труда водворяетъ свое екклезіастическое: „суета суетъ, ученье не нужно!“, а вовсе не какую-нибудь положительную и свѣжую работу, къ каковой по качеству своей гамлетовской натуры отъ рожденія и вообще никакъ и абсолютно не способенъ?! Безъ конституціи обо всемъ этомъ и спросить невозможно, а вѣдь это—мы, русскіе, это наша дорогая Россія, гніющая въ зловоніи, и спросить-то куда какъ надо, да и куда какъ мы въ правѣ. „Не спрашивайте! Читайте *Московскій Сборникъ*. Никакой другой науки не надо! Иначе заразитесь пессимизмомъ“. Слишкомъ по-Нероновски. У насъ не пессимизмъ, а настоящее горе. Хлѣба нѣтъ, денегъ нѣтъ, заработковъ нѣтъ. Кстати о Неронѣ: вѣдь и тотъ любилъ музыку, читалъ „Иліаду“ и вообще былъ художникъ. Художественныя натуры удивительно бываютъ склонны къ жестокости. Въ этомъ смыслѣ о Гамлетѣ говоритъ и Тургеневъ.

Бѣдная Офелія, т. е. бѣдная Россія! Она все тонула и тонула не въ прекрасной рѣкѣ, а въ зловонномъ болотѣ, пока „принцы“, завѣдывавшіе судьбой ея, печатали хорошія книжки на хорошей бумагѣ, и иногда попосывали „даже для иностранцевъ“.

А Конст. Петр. пишетъ: „Мы видимъ, что большинство культурныхъ націй впало въ безсознательный пессимизмъ—истинное слѣдствіе крайностей культуры. Разувѣрившіеся, распустившіеся, обезсиленные мужчины и женщины въ концѣ-концовъ отказываются отъ всѣхъ высшихъ ду-

ховныхъ стремленій, придавая цѣну только тому, что дѣйствуетъ на чувства и что приноситъ положительную матеріальную выгоду и пользу Большинство этихъ жертвъ новой культуры страдаетъ отъ особой духовной неврастеніи и полнымъ отсутствіемъ идей".

Да, изнѣжилась Россія. Лежитъ на розахъ Когда министръ о ней такъ страдалъ!

## О «переживаніяхъ» и «пережившихъ».

Въ концѣ-концовъ въ высокой наукѣ есть столько наслажденія, сколько не дастъ ни поэзія, ни музыка. Ибо въ ней есть и музыка и поэзія, но сверхъ этого движеніями мысли, подборомъ фактовъ, ихъ группировкою наука до того возбудительно дѣйствуетъ на душу и вмѣстѣ уму слушателя открываетъ такую ширь новаго пониманія, что только здѣсь человѣкъ чувствуетъ себя насыщеннымъ, тогда какъ, слушая музыку или читая поэзію, онъ чувствуетъ себя или только встревоженнымъ, или уже слишкомъ пассивнымъ. Такое впечатлѣніе испытываешь при чтеніи лучшихъ историческихъ книгъ. До XIX вѣка исторіи, въ смыслѣ великолѣпной науки, вовсе не существовало. Были разсказы, „изображенія“, документы; были компиляціи и анекдоты; была декламація и фальшь. Но послѣ великаго потрясенія, пережитаго въ концѣ XVIII и въ началѣ XIX вѣка всѣми европейскими народами, первые умы времени взялись за тему: „ходъ исторической жизни народовъ“, -и создали такіе методы изученія и объясненія, такъ подобрали документы, такъ оттѣнили событія и заглянули въ душу ихъ.—что

создалась дѣйствительно великая наука, около которой Титы Ливіи и Тациты оказались только „хорошими прозаиками, необходимыми для школьнаго изученія“.

Особенно удивителенъ пріемъ новой исторіи объяснять явленіе непремѣнно изъ самого себя. На этомъ пути въ своихъ умозаключеніяхъ исторія, можно сказать, поднимается плечомъ къ плечу до древнихъ пророковъ и пророчествъ. Іеремія плакалъ, положимъ, надъ „развалинами Іерусалима“: но историкъ, не проливъ ни единой слезинки, а только подбирая и подбирая подробности, достигаетъ почти большаго, чѣмъ Іеремія: онъ заставляетъ плакать своего читателя или вызываетъ въ немъ тѣ ноты негодованія и сожалѣнія, какія звучали у пророка. Историки, можетъ быть, не религіозные люди; но исторія, именно въ новой обработкѣ своей, есть истинно религіозная наука; и историки, будучи мозапстами и мыслителями, людьми разсудка и холода — воодушевляютъ и воспламеняютъ слушателей и читателей.

„Всякое явленіе имѣетъ въ себѣ свои причины“... И историки подборомъ мельчайшихъ чертъ, подчеркиваніемъ тѣней и полутѣней дали почувствовать читателю молодость историческихъ явленій и ихъ старость. Явилось понятіе „переживанія“ и „выживанія“ въ примѣненіи къ такимъ фактамъ, какъ римская республика или французская монархія, какъ реформація или католичество, какъ „цвѣтущая Греція“. Явились понятіе „наслѣдственности“, „прилипчивости“ и „заражснія“ въ сферѣ идей и настроеній, которыя стали раз-

сматриваться, какъ живые духовные организмы. Каждое поколѣніе оказалось не творящимъ свободно слѣдующій шагъ родной исторіи, а только наслѣдникомъ болѣзней своихъ родителей и хозяиномъ полурастраченнаго имущества, или, напротивъ, имущества которое „въ ростѣ". Выступаютъ то молодыя поколѣнія, то — старыя, уже отъ рожденія старыя, съ инстинктами старости, съ старыми и слабыми силами. Напр. въ послѣднія десятилѣтія XVII вѣка и въ первую половину XVIII всѣ лютеране были и рождались уже стариками; явился книжный протестантизмъ, ученый протестантизмъ, явилось начетничество въ протестантизмѣ. А въ пору Лютера всѣ были, не исключая ученаго Меланхтона, точно гимназисты: гибки, живы, самонадѣяны, наивны, вѣрующи, исполнены суевѣрій, мечтательности и фантазіи. „Свободные мыслители", скептики, раціоналисты — были молоды съ Вольтеромъ и около Вольтера; но „скептики и раціоналисты" половины XIX вѣка уже всѣ тянули назадъ, это были врожденные старики, это была гибнущая аристократія, умиравшая въ XIX вѣкѣ такъ же, какъ родовая аристократія умирала въ XVIII вѣкѣ. То же, что въ сферѣ идей, было и въ сферѣ учрежденій, законовъ, характера управленія. Имперія, эта бранная власть, молодечество шумныхъ лагерей, была юна при Цезарѣ и Августѣ: она была тогда мечтательна, поэтична, исполнена баловства и озорничества, какъ всякая молодость. Напротивъ, уже по стальному слогу Тацита мы видимъ, до чего все республиканское въ это время закостенѣло, отвердилось; выливши въ велико-

лѣнныя формы, заснуло и умирало въ нихъ, какъ умираетъ баринъ, великолѣпный и въ самой своей недвижности, лежа на ложѣ смерти. „Стальной слогъ“... ну, развѣ этимъ слогомъ можно предетавить себѣ написанныя впечатлѣнія юнаго Анахарсиса, путешествовавшаго по Греціи, или „Письма русскаго путешественника“ Карамзина?! Стальной слогъ. дивный, точно изъ чекана—всегда это языкъ старика, много видѣвшаго. бездну испытавшаго и которому ей-ей „пора умирать“: такъ и думаешь это о республиканцахъ и республикѣ, читая Тацита. Нѣтъ болѣе самопротиворѣчивой книги, самоопровергающей. „Все приходитъ и все проходитъ, — говоритъ Екклезіастъ. Или, какъ, взглянувъ на свое время, промолвилъ 30 лѣтъ назадъ нашъ Достоевскій: „проходитъ ликъ міра сего“...

Великіе историческіе институты или учрежденія, какъ римская республика или французская монархія, цѣлыя системы убѣжденій, какъ католичество или даже какъ раціонализмъ, какъ матеріализмъ или позитивизмъ, умираютъ „естественною смертью“, безъ внѣшнихъ толчковъ или съ самыми незначительными внѣшними подталкиваніями: просто отъ того, что сказали все, что могли, что сдѣлали все, къ чему были способны. Вѣра „вырождается“ въ рядъ суевѣрій; позитивизмъ просто становится тупъ и не впечатлителенъ; раціонализмъ и скептицизмъ превращаются въ гадкую поверхность блестящаго остроумія и пустыхъ сужденій. Или республика „выродилась“ въ охлократію. порочную владычественную чернь: а

французская монархія—въ пансіонъ старыхъ кокотокъ, синекуръ, пенсій, въ пудру и парики, въ истощенные нервы и безкровные мускулы. Все перестало „работать для человѣчества“: а, вотъ мы нашли наконецъ критеріумъ молодости и старости: все просто „мѣшаетъ жить человѣку“. И „нужда“, этотъ нищій Геркулесъ, этотъ мѣщанинъ, обирающій наслѣдства ото всѣхъ аристократовъ, сѣренькая, обыкновенная, обыденная „нужда“, не одна физическая, но и духовная,—сталкиваетъ покойниковъ въ пропасть. „Раціонализмъ“ при Вольтерѣ помогалъ писать книги; послѣ Канта и Шеллинга онъ сталъ мѣшать писать книги, просто дѣлалъ авторовъ бездарными, а книги ихъ—скучными, неинтересными, глупыми. „Республиканцы“ при Цезарѣ были уже трусливы (армія Помпея), имперіалисты—храбры. Католичество передъ реформаціей уже только умѣло таскать на костеръ (Савонаролла), а само ни во что не вѣрило (Александръ Борджіа, да и вообще папы-гуманисты). „Нужда“ хорошо писать книги, выигрывать побѣды, помолиться въ болѣзни—и столкнула въ пропасть Дидро и д'Аламбера, Иннокентія III, Сципіоновъ и Катоновъ. Ко всѣмъ этимъ великимъ людямъ или, въ основѣ ихъ къ великимъ институтамъ и учрежденіямъ, подопелъ „человѣкъ“, просто озябшій, не бывшій и довольно темный человѣкъ; и попросилъ „нужнаго“. Нужнаго въ ту пору, къ тому времени не дали; фаталыѣе: его уже не могли дать, ибо „дали все, что могли“, „fecі quod potui“... Тогда темный карликъ толкнулъ ихъ ногой, и они полетѣли въ бездну. „Кар-

ликъ"—это читатель книгъ, въ послѣднемъ анализѣ рѣшающій судьбу идей; это — солдатъ Цезаря или республики, домовладѣлецъ, лавочникъ и ремесленникъ „первой республики" или „послѣдняго королевства"... „Карликъ" - это всѣ, все: слѣпое человѣчество, ужасное, жалкое, могущественное: и которому, увы, служить и „да послужитъ" все геніальное, всѣ геніи.

Карликъ — потребитель, геніи — поставщики. Нѣтъ „потребителя"—закрывай лавочку: закрывай ее все равно Шиллеръ, Байронъ, Ньютонъ, Иннокентій III, святые, всѣ. Просто—„не нужны". И судьба исторіи рѣшена, рѣшена судьба монархій, философій, религій, даже религій! И святость „да будетъ умѣстна", и героизмъ, и подвигъ, само мученичество. А когда все это „не умѣстно" болѣе—тогда ступай подъ крышку, въ почь...

* * *

Читатель удивится, зачѣмъ я говорю такія не практическія вещи въ столь мутную политическую минуту, какъ теперешняя русская. Но я о Россіи-то и хотѣлъ говорить, о теперешнемъ ея моментѣ, который надвинулся „не предреченный", „невзреченный". Безъ пророковъ и логики. Но съ страшною силою, подъ которую все гнется. Исторія однако учитъ, что „нѣтъ силы безъ основанія" и учитъ еще болѣе плачевному, что „гнется только то, что уже въ самомъ составѣ своемъ гибко, распатано, смертно" и, какъ она же еще горестнѣе подсказываетъ—„не нужно".

Несется тысяча упрековъ въ „безвластіи", „безволіи", „парализованности" власть имущихъ; указываютъ на ихъ возрастъ и говорятъ: „все старики". Между тѣмъ уже С. М. Соловьевъ въ своихъ посмертныхъ „Запискахъ", памятникъ замѣчательнаго ума, говоря о началѣ царствованія императора Александра II, объясняетъ печальное и нисколько ненужное по поспѣшности окончаніе Крымской войны и заключеніе Парижскаго мира полною неспособностью всѣхъ сплошь окружавшихъ Государя лицъ: *всѣхъ*, —онъ подчеркиваетъ это, что не было *ни одного* даровитаго, энергичнаго, способнаго подать умный совѣтъ лица. Читая двѣ книги: „Дневникъ" Никитенка и „Жизнь и труды Погодина" Барсукова въ той части, которая касается высшихъ государственныхъ лицъ и (это особенно надо замѣтить) высшихъ государственныхъ *учрежденій*, — поражаешься: какими глупостями они все время были заняты, т. е. по какимъ пустымъ мотивамъ дѣйствовали, къ какимъ мелочнымъ цѣлямъ стремились, какими ничтожными дѣлами занимали все время своей жизни, дни, мѣсяцы, годы. Мы не говоримъ о крупныхъ реформахъ начала царствованія Александра II, которыя были вынуждены жизнью и навѣяны литературою, и ни въ какомъ случаѣ, ни въ малѣйшей степени не зародились въ „государственномъ умѣ" нашихъ сановниковъ; да что сановниковъ—учрежденій!! Чѣмъ, вотъ на нашихъ глазахъ, занимался три царствованія Государственный Совѣтъ? „Пренія" объ учебной реформѣ, ей-ей еще ничего не помнится, т. е. нѣтъ

такого, что не забываемо и помнилъ бы всякій гражданинъ въ каждый свой часъ. „Витте“ — это золотая валюта и винная монополія, сейчасъ вспомнишь. Даже о Татариновѣ вспомнишь—преобразованіе контроля. Но Государственный Совѣтъ? Надо заглянуть въ его высокомѣрную, слишкомъ напечатанную „Исторію“ (къ юбилею?!!), чтобы узнать о его „дѣлопроизводствѣ“. Скажутъ, что Государственный Совѣтъ существуетъ больше „для пенсіи“, -и чтобы было куда посадить по „увольненіи“ съ дѣйствительной службы. Но тогда зачѣмъ же имя, необыкновенное имя, столь обѣщающее, столь громкое не только для Россіи, но и для Европы: „Государственный Совѣтъ“, „Conseil d'Etat“, въ нѣкоемъ смыслѣ олицетвореніе Россіи, „зерцало“ ея... Но воины при Помпеѣ уже не сражаются, а при Авреліанахъ и Нумеріанахъ бѣгутъ отъ варваровъ: вотъ далекая аналогія страницъ Соловьева, Никитенка, Барсукова и „юбилейной исторіи“ Государственнаго Совѣта. Не дѣйствуетъ, не живетъ,—какъ раціонализмъ при Шеллингѣ или позитивизмъ, ну, хоть въ наши дни. Если Государственному Совѣту не поручается или онъ не имѣетъ своею задачею никакого большого дѣла; если онъ разсматриваетъ, напр., „дѣла“ объ учрежденіи должности помощника исправника въ такомъ-то уѣздѣ (помню до яркости точно одно „назначенное къ слушанію“ тамъ дѣло), то отчего же туда и не назначать старичковъ? Если приблизительно такими же вопросами занятъ и Военный Совѣтъ, и Совѣтъ адмиралтейства, то, позвольте, отчего же туда не

назначать старичковъ? Вотъ Государственная Дума, повидимому будетъ заниматься другими вопросами, — такъ туда никто и не пошлетъ „старичка для полученія содержанія". Ну, а малоземелье крестьянъ? А переселенческій вопросъ? Этимъ занимаются газеты. И, напр., редакторы ихъ въ силу нужды заниматься такими государственными вопросами и ищутъ сотрудниковъ побойчѣе, поначитанѣе, клюнутся въ университетъ, поищутъ среди земцевъ: „гдѣ талантъ и молодость?" А вотъ въ чемъ дѣло! Такъ, значитъ, высшимъ нашимъ учрежденіямъ давно не надо ни „таланта", ни „молодости", потому что они суть понятія, а не res, потому что они только номинально яко бы „государственныя" учрежденія, а по сюжету заботъ своихъ и интересовъ, всей своей думы и всей своей заботы—это просто уѣздныя управы благочинія, въ родѣ какъ „мужички собрались, почесались, пропамкали такое, чего никто не услышалъ" и „разошлись". Такъ то деревня, а то—Россія.

Кто же въ Россіи государственными дѣлами занимается?

Ну, какъ кто: въ газетахъ—„передовики", въ журналахъ—по „внутреннему обозрѣнію".

— Нѣтъ, серьезно?

— Въ самомъ дѣлѣ серьезно. Серьезнѣе серьезнаго, что въ государствѣ и даже до нѣкоторой степени міровой державѣ государственные люди были большіе любители литературы, газетъ, журналовъ, впрочемъ больше—повѣстей и стиховъ; а государственными дѣлами занимались, о нихъ

думали, о нихъ въ самомъ дѣлѣ болѣли умомъ и сердцемъ, наконецъ изъ-за нихъ ссорились и ненавидѣли другъ друга фельетонисты и журналисты. Причемъ и они-то занимались этимъ къ большому неудовольствію „настоящихъ государственныхъ людей“, которые въ ихъ сторону говорили:

— Э, бросьте... Мы сами не занимаемся, чего вы лѣзете? Пишите стихи, да хорошо пишите, чтобы мы въ старости видѣли, что муза Пушкина не замолкла и слава россійская не увядаетъ.

Да что Государственный Совѣтъ: увѣренъ, въ Военномъ Совѣтѣ, въ Совѣтѣ адмиралтейства не разразилось тѣхъ слезъ и рыданій, какія вотъ въ 1½ года слили газеты въ протяжный вой! Кто плачетъ о Россіи? Газетчики: да, они!! Ну, конечно ихъ читатели. А въ „учрежденіяхъ“... холодненько, преспокойно... Нѣтъ, въ самомъ дѣлѣ, былъ ли плачъ настоящій, со слезами, послѣ Цусимы и Мукдена въ Адмиралтействъ-совѣтѣ, въ Александровскомъ Комитетѣ, въ Военномъ Совѣтѣ, въ Государственномъ Совѣтѣ, въ Сенатѣ, въ „Святѣйшемъ“ Синодѣ... Русскіе люди словоохотливы: было бы „что-нибудь“, даже „малюсенькое“ — непремѣнно бы повѣдали, зашушукали, умилились или разсказали анекдотъ: „знаете, всталъ и вышелъ изъ засѣданія“, „всѣ потребовали прекращенія засѣданія“, „расплакался“, „не сдержалъ себя“, „раскричался“...

„— Князь, слышали?
— А? хмъ?
— Онъ ничего не слышитъ!
— Хошь, можетъ, видѣли?
— Э? хмъ?“

вспоминаешь невольно Грибоѣдова. Не *это* самое, но „въ этомъ родѣ".

* * *

Къ великому сожалѣнію, мы, русскіе, художники и „мыслимъ образами", великая критика выразилась у насъ въ созданіи великой художественной литературы, которой вовсе не соотвѣтствовала сила мысли, сила, стойкость и яркость политической науки. За литературу насъ и хвалили иностранцы, въ то же время удивляясь безпорядочности всѣхъ русскихъ дѣлъ...

Мы имѣли и имѣемъ:

1) Обширнѣйшія учрежденія, вовсе не имѣвшія никакой задачи, или имѣвшія задачи столь мизерныя, что ихъ могли бы исполнять не сановники, а столоначальники. Эти учрежденія носили и носятъ высокіе, даже высочайшіе титулы, а между тѣмъ они были чуть ли не частями государственной архитектуры просто для выставки иностранцамъ: и чтобы у себя дома, но увѣдамъ, утѣшались: „вотъ какое величіе и значительность", „первая держава въ мірѣ".

2) Учрежденія болѣе цѣнныя, дѣятельныя, зоркія, дѣловитыя: которыя всѣ имѣли свое темное отрицаніе, а не утвержденіе, разрушеніе или „мѣшаніе", а не творчество. „Держи и не пущай" такъ выразилъ въ краткой художественной фразѣ этотъ характеръ цѣлой категоріи нашихъ „властей" Щедринъ, самъ бывшій вице-губернаторомъ. Сей нашъ знаменитый сатирикъ, съ сердцемъ любившимъ Россію („Пошехонская старина") и съ большой наблюдательностью, въ краткое вре-

мя своего вице-губернаторства и почернилъ всѣ темы своихъ писаній. Глупому надо сто лѣтъ смотрѣть, чтобы что-нибудь „замѣтить“, а умному достаточно взгляда, достаточно недѣль, мѣсяцевъ, года наблюденія. Гоголь только „проѣхался“ по Россіи, а все въ ней высмотрѣлъ, чего дотолѣ не видѣли и сами русскіе.

Чтобы не быть голословнымъ, сошлюсь только на одинъ фактъ: такъ называемое „министерство внутреннихъ дѣлъ“ и „министръ внутреннихъ дѣлъ“ у насъ имѣли первою, основною, безотлагательною и всепоглощающею обязанностью сохраненіе и водвореніе полицейской тишины въ государствѣ; и это до такой степени, что обычно министръ внутреннихъ дѣлъ въ „прежнихъ стадіяхъ службы“ бывалъ директоромъ государственной полиціи, а квартира его соединена непосредственно внутренними ходами съ департаментомъ полиціи. Иногда раздавались порицанія министровъ: „отчего онъ не вводитъ реформъ?“, „гдѣ же творчество?“ Но, Боже, всякій можетъ дать только то, что онъ имѣетъ. Въ золотую пору, въ цвѣтущій возрастъ онъ управлялъ полиціею. Тутъ выросли его таланты, сложились методы. „Почему вы не вводите реформъ?“ А онъ можетъ, а онъ долженъ первно крикнуть: „а почему вы *меня* взяли? взяли изъ полиціи и для полиціи, хоть и давъ высшій, сіяющій титулъ?“ „Я *не умѣю* вводить реформъ: да, очевидно, именно *меня* и взяли потому, что не надо никакихъ реформъ“.

И Государственный Совѣтъ „разсматриваетъ предложеніе о назначеніи помощника исправника“

въ Нерехтъ или Ветлугъ, а министръ внутреннихъ дѣлъ все время ловитъ студентовъ.

А малоземелье крестьянъ?

Молчаніе.

— А рацiональная организацiя переселенiя?

Нѣтъ отвѣта.

— А почтовые порядки, служба, жалованье желѣзнодорожнымъ рабочимъ? Убыточность всего желѣзнодорожнаго хозяйства, когда даже лошадиный извозъ приноситъ доходъ!

— Ну, о первомъ пишутъ беллетристическiе разсказы разные занимающiеся литературой, это— не государственное дѣло; а второй вопросъ разсматривается въ комиссiи.

По задачамъ—и человѣкъ; да, наконецъ, дѣло формируетъ человѣка, на работѣ формируется человѣкъ; и „мелкiе люди" уже со временъ Соловьева и Никитенка потому овладѣли у насъ всѣмъ, появились у насъ всюду, что имъ оставлены были только мелкiя дѣла, что никакихъ крупныхъ задачъ принципiально не ставилось, и въ общемъ итогѣ: Россiя просто остановилась и заминерализовалась. Теперь о ловитвѣ студентовъ, какъ главной функцiи министра внутреннихъ дѣлъ. Да создайся у насъ самостоятельное министерство государственной полицiи, и выдѣлись самостоятельно министерство „внутреннихъ дѣлъ" въ ту аристократическую организацiю, какую обѣщаетъ его титулъ: въ организацiю государственныхъ задачъ, въ организацiю государственныхъ умовъ, хозяевъ и опекуновъ Россiи, идущихъ дружно рука объ руку съ молодымъ дѣятельнымъ Госу-

дарственнымъ Совѣтомъ»,—и студенты преспокойно слушали бы лекціи, и ловить бы некого было. Добогорій-Мокріевичъ въ своихъ заграничныхъ воспоминаніяхъ, которыя теперь такъ поучительно было бы издать въ Россіи,—объясняетъ: „Не встрѣть мы въ каждомъ своемъ шагѣ противодѣйствія властей явно глупаго и явно злого, мы просто сдѣлались бы сельскими учителями, врачами, земцами". Такова была общая тенденція, таковъ былъ духъ этихъ народниковъ изъ народниковъ (одного изъ нихъ, О. П. Каблица, я впослѣдствіи лично зналъ много лѣтъ), но „злое и глупое", „тащи и не пущай" погнало ихъ всѣхъ въ эмиграцію, растравило, озлобило, довело до умственнаго изступленія и конвульсій чувства; и создало „хлопоты" именно министерству внутреннихъ дѣлъ. „Всякая вещь объясняется изъ самой себя": иногда думается, что на нашей милой почвѣ каждое „вѣдомство" устраиваетъ себѣ хлопоты, и что даже за отсутствіемъ настоящихъ цѣлей существованія, большихъ и серьезныхъ, они и положили главною задачею существованія разведеніе и созданіе этихъ хлопотъ.

Не будь министерства народнаго просвѣщенія, то въ Россіи по крайней мѣрѣ такъ же, какъ въ Японіи 40 лѣтъ назадъ, въ эпоху трехгодичнаго тамъ плѣна русскаго адмирала Головнина, были бы всѣ грамотны. Навѣрно, иначе и нельзя представить у народа съ исторіею, съ церковью, съ возможными ремесленниками-учителями по селамъ, съ учителями любителями и филантропами. Вѣдь грамотны же всѣ у нашихъ сектантовъ

и старообрядцевъ. Но создалось министерство народнаго просвѣщенія и сказало просвѣщенію: „стоп!". Оно стало „тащить и не пущать" учениковъ, учителей, библіотеки, книги. „Нельзя учить кухаркиныхъ дѣтей". Позвольте: да кому какое дѣло? *Я — человѣкъ*, и учиться хочу: пріемный экзаменъ выдержалъ, деньги за ученье внесъ...

— Э, высшая политика! Государственныя соображенія... Это — единомъ просто: учиться каждому, кто хочетъ. Это по-японски, а они язычники и дикари. Мы—цивилизованная нація, у насъ Владиміръ Святой и Ярославъ Мудрый, у насъ учиться нельзя иначе, какъ 1) изъ опредѣленнаго состоянія или сословія, 2) по одобреннымъ книжкамъ, 3) отъ одобренныхъ учителей. Учителей мы, правда, не выбрали и книжекъ тоже никакихъ не составили, но вотъ соберется комиссія и тогда все будетъ, а пока посидите и потерпите...

И сидитъ Русь въ темнотѣ, потому что чиновникамъ некогда написать; а некогда имъ написать отъ того, что они должны рѣшительно обо всемъ писать, о всякой глупости, о всякомъ пустомъ дѣлѣ, не занимаясь только, подъ страхомъ быть обвиненнымъ въ „государственномъ преступленіи", ничѣмъ важнымъ, серьезнымъ, скорбнымъ и болѣющимъ въ Россіи.

„Перерожденіе" и „вырожденіе", „переродившіеся" и „выродившіеся"—но не люди, а учрежденія: органы, мускулы, артеріи страны и государственности... Вслѣдъ за этимъ и подъ дѣйствіемъ этого стали „перерождаться" и вырождаться цѣлые классы, сословія, состоянія. Объ-

породивъло духовенство въ предложенныхъ ему задачахъ „охраненія“, воображая чистосердечно и доказывая другимъ, что „Христосъ есть шефъ консерваторовъ всего свѣта“ и главный насадитель консерватизма; что это Онъ-то и насадилъ управу благочинія и консисторію, и, какъ они прямо говорятъ, „есть нашъ начальникъ“ („пастыреначальникъ“). Переродилось дворянство, бѣжавъ отъ земли въ губернію, въ столицу, за границу, бѣжавъ „въ службу“ и—какъ послѣдняя мечта, крайнее вожделѣніе—въ службу придворную. Переродилось купечество, считая выше своего званія самый ничтожный шитый мундиръ какого-нибудь „попечителя богоугоднаго заведенія“ или орденокъ въ петличку. Все стало вырождаться. Все съѣхало со своего мѣста. Исчезли трудъ и честь. И теперь дивятся, почему всѣ бросаютъ свои имущества, имѣнія, культуру и бѣгутъ кто-куда, бѣгутъ „хоть съ чѣмъ-нибудь“ и съ дѣтишками... Бѣдная орда: но въ основѣ всего — духовная орда, *казавшаяся* культура, государственный *номинализмъ*, все это затрещавшее, какъ непрочная декорація, когда послышался роковой приговоръ исторіи-матери:

— Не нужно.

# Въ пасхальную ночь 1906-го года.

Опять сегодня, какъ ежегодно въ теченіе вѣковъ, зажглись ночные пасхальные огни, и опять на столахъ эти символы мира, покоя, гостепріимства, радунія, переходящіе въ житейское будничное „хлѣбосольство" - куличи, пасхи и яйца. Но первый разъ за всю тысячелѣтнюю исторію Россія и народъ русскій встрѣчаетъ такъ любимый церковный и народный праздникъ: съ какимъ-то вмѣстѣ и неслыханнымъ подъемомъ силъ, но и вмѣстѣ—съ тревогою. Мы, впрочемъ, думаемъ, что безъ тревогъ не бываетъ и исторіи. А за 1,000 лѣтъ своего существованія Россія слишкомъ полвла, слишкомъ дремала, чтобы роптать на наши дни, когда она, словно ужаленная, вскочила и побѣжала. На этотъ день мы откидываемъ тревоги и сосредоточиваемся только на томъ невмѣримомъ оживленіи, какого „свидѣтелями Господь поставилъ насъ", какъ пишетъ лѣтописецъ Имянъ у Пушкина.

Великіе результаты достигаются только великими страданіями. Сколько мы ни задавали себѣ темы: „Просвѣтить народъ, отпустить десятки милліоновъ на школы", —„поднять земледѣліе

и земледѣльца, пріобщить деревню къ культурѣ"— все оставалось бумажными планами, все такъ и застывало на страницахъ газетъ и журналовъ, не прибавляя ни рубля въ бюджетъ министерства народнаго просвѣщенія и оставляя наше земледѣліе на степени пріемовъ при Ярославѣ Мудромъ. Кровь не бѣжала подъ желаніями: и все было мертво, предположительно, вяло, ни къ чему не нужно. „Можно бы прибавить на школы, а можно и не прибавить", „слѣдовало бы пахать лучше, а, впрочемъ, пахали и этакъ 1,000 лѣтъ": и русскій чиновникъ и обыватель, русскій журналистъ и общественный дѣятель дремливо переворачивался съ одного бока на другой бокъ и, можно сказать, къ каждому новогодію только чинилъ новыя перья, чтобы писать тѣ же слова о тѣхъ же нуждахъ безъ всякой надежды на осуществленіе. Боли не было ни въ комъ. Страданія не было—и всѣ мы сидѣли на тихихъ берегахъ нашей исторіи, какъ итальянскіе лаццарони на пригрѣтомъ пескѣ около теплаго моря, лѣнивые, бездѣятельные, не очень счастливые и не очень несчастливые, „такъ себѣ" во всѣхъ отношеніяхъ. Это—мы, сверху. А народу было очень тяжело; и въ разныхъ формахъ то „упадка центра", то хроническихъ голодовокъ, онъ обнаружилъ явные признаки вырожденія, упадка, истощенія. Въ единичныхъ случаяхъ деревень, семей крестьянскихъ—это достигало невыразимаго страданія, которое такъ и замирало на мѣстѣ, не доходя до верховъ. Въ литературѣ нашей объ этомъ пѣлись пѣсни, разсказывались разсказы. Но все оставалось лите-

ратурою и только литературою... Кровь ни подъ чѣмъ не бѣжала. Было худо, но страшной боли нѣтъ.

Эти два года Россія пережила совершенно невѣроятныя боли,—и даже менѣе физическія, не смотря на кровопролитную войну, нежели нравственныя. Живого мѣста въ душѣ нашей не осталось. Понагнулась вся громада отечественнаго корабля—и всѣмъ на кораблѣ сдѣлалось неудобно, больно, опасно. И всякій оставить свою привычную койку, всѣ выбѣжали изъ глубокихъ каютъ своихъ наверхъ, и начали спрашивать: „что съ кораблемъ". Поднялась работа, суета: пока больше суеты, чѣмъ работы: поднялся переполохъ, мѣстами и минутами переходившій въ смятеніе. Мы, вѣками пріученные къ безмятежности, иногда пугаемся этого чрезвычайнаго шума, опять же забывая, что безъ него нѣтъ и движенія.

Великое рѣшеніе созрѣло среди этого шума: рѣшеніе передѣлать весь внутренній механизмъ нашего корабля, поставивъ его на совершенно новыя начала, устои. Такой зимы, какъ эта, по числу и значительности пережитыхъ событій, Россія не переживала отъ самаго начала своей исторіи. Въ августѣ понесся первый звукъ о созывѣ Думы: съ тѣхъ поръ мы пережили, кажется, цѣлую самостоятельную исторію, и вотъ къ первымъ днямъ первая Дума уже почти созвана. Еще такой Пасхи не будетъ: съ такими особенными надеждами, въ такомъ исключительномъ новомъ положеніи! Въ мукахъ рождалось новое рѣшеніе: но его цѣлебное значеніе таково, что во много разъ перевѣшиваетъ

всѣ эти перенесенныя муки, собственно гораздо болѣе похожія на неудобства, на непріятности, нежели на дѣйствительныя опасности.

Народъ, въ его массѣ, а не ближайшіе окружающіе лица, тѣснымъ кругомъ ставшіе и всегда стоявшіе около Престола,— призываются отнынѣ Государемъ къ помощи ему въ управленіи; притомъ въ помощи не лицепріятной, которая сводится къ угодничеству, а въ положеніи самостоятельнаго совѣтника и друга, къ помощи дѣловой и суровой, свободной и благородной. Раздалась наша служебная олигархія, одна и та же въ Москвѣ и Петербургѣ, только смѣнившая ферязь на кафтанъ и кафтанъ на вицъ-мундиръ. Правительство въ Россіи не будетъ болѣе олигархическимъ и оно не будетъ отнынѣ льстивымъ, угодническимъ, поддѣлывающимся подъ тонъ старшаго въ каждомъ младшемъ: вотъ главная и даже вотъ вся перемѣна, которая произведена въ стройкѣ нашего внутренняго корабля. Все прочее — только приспособленія, только вспомогательные механизмы, обезпечивающіе дѣйствительное исполненіе этого порыва къ правдѣ въ управленіи, каковыхъ порывовъ и ранѣе было много, но безсильныхъ, но необезпеченныхъ.

Не было у насъ „правды по волѣ", станетъ „правда по неволѣ". Не было всепроникающаго, всепронизывающаго чувства долга, и станетъ на его мѣсто чувство и страхъ отвѣтственности. Съ субъективной точки зрѣнія, можетъ быть, это не такъ идеально, не такъ поэтично. Но это во всякомъ случаѣ болѣе спасительно для цѣлости и благо-

получія корабля, и народу навѣрное не будетъ такъ тяжело.

Если принять во вниманіе, что еще три года назадъ мужикъ былъ безотвѣтенъ и запуганъ передъ становымъ, передъ земскимъ начальникомъ, былъ передъ всѣми безправенъ и всѣ надъ нимъ имѣли права, и что теперь этотъ пахарь, въ единичныхъ случаяхъ даже безграмотный, входитъ, какъ полноправный членъ, въ высшее государственное учрежденіе, съ правомъ тамъ сказать „свое мужицкое слово" такъ, что его навѣрное услышитъ не только Государь, но услышитъ все русское общество, услышитъ наконецъ цѣлая Европа—то перемѣна, совершившаяся съ нашимъ отечествомъ и народомъ, получитъ въ глазахъ нашихъ тотъ невымѣримый объемъ, какой она въ точности и имѣетъ. Крестьянинъ—членъ Государственнаго Совѣта (примѣняясь къ старому государство-устроенію), мужикъ—позванный въ Царскую Думу: это сказывалось только въ сказкѣ о золотой рыбкѣ, которая потому и именовалась „сказкою", а не „былью", что въ ней передавалось о такомъ, чего никогда не могло быть. Эту сказочную метаморфозу или точнѣе первый шагъ къ ней мы переживаемъ сейчасъ. Въ ней мы встрѣчаемъ и этотъ Свѣтлый день: и такого Свѣтлаго дня еще не переживали русскіе.

Отъ насъ зависитъ, чтобы не сгущались тучи на горизонтѣ нашемъ. Да, обильное присутствіе крестьянъ въ Государственной Думѣ почти навѣрное послужитъ къ обезпеченію хода нашего корабля отъ излишней первой дрожи. Народъ всегда

эпикъ, а не лирикъ. Наконецъ, повѣримъ, что и общество русское нисколько не французское—и что отъ эксцессовъ французской исторіи конца XVIII вѣка мы обезпечены своею славянскою натурою, болѣе мягкою и широкою, не столь узкою и фанатичною. Не было у насъ Варѳоломеевской ночи: не будетъ и конвента. Вѣдь это яблонька и яблочко одной породы. Исторія дастъ намъ „примѣры", но плохой тотъ ученикъ, который „зубритъ" ея страницы, воображая и ожидая, что которая нибудь изъ нихъ повторится „точь-въ-точь".

Не будемъ далеко заглядывать впередъ. Каждому дню своя забота. Но на сегодняшній день нами избыты самыя низменныя заботы, и мы его встрѣчаемъ только съ свѣтлымъ и только съ спокойнымъ сердцемъ. „Христосъ Воскресе!" добрые люди. Съ какимъ новымъ чувствомъ сегодня обнимается и лобызается вся Русь, отъ Владивостока до Петербурга.

Отъ мыслей о прошломъ обратимся къ настоящему.

— „Не было подкуповъ на выборахъ",—вотъ коротенькое восклицаніе, которымъ мы можемъ похристосоваться завтра. „Воистину не было!"—отвѣтитъ каждый, оглянувшись, удивившись, вспомнивъ.

„Подкупъ" и „выборная система" политической жизни до того слились воедино, сцѣпились, скрутились въ европейской жизни, да были и вѣчно тамъ, гдѣ существовали „политическіе выборы".

напр., въ Римѣ,—что никому не приходило и въ голову отвергать ихъ вездѣсущіе, какъ никто и не ищетъ уже давно средствъ противъ этой гангрены свободной жизни. Въ Римѣ „имперія" и возникла потому, что образовался огромный классъ людей безъ земли, безъ дома, безъ семьи, который въ видѣ имущества имѣлъ только цѣну своего голоса на выборахъ, и торговалъ имъ, жилъ на доходъ съ этого голоса. Нечѣмъ было больше жить: и Цезарь, и Августъ скупали такіе голоса. Въ Англіи, въ началѣ XVIII вѣка, Робертъ Вальполь почти упразднилъ парламентаризмъ, организовавъ геніальную систему подкуповъ: въ парламентѣ могъ каждый говорить свободно, критиковать короля и его перваго министра, но никто этого не *хотѣлъ* дѣлать, ибо и какъ членъ парламента онъ получалъ деньги, и на выборахъ онъ „преуспѣлъ", получивъ для подкупа деньги отъ перваго министра. „Парламентъ", „конституція", „выборы" и—„деньги", „подкупъ", этихъ понятій и словъ никто не пытался разъединить. И у насъ, когда въ давнія времена заикались о возможномъ парламентаризмѣ, съ грустью говорили: „да, но подкупы!" И энтузіазмъ слабѣлъ. И вдругъ, когда поднялась эта волна выборовъ въ Россіи—и какъ хорошо, что она поднялась не въ одинъ день, а растянулась на мѣсяцъ, среди начекъ телеграммъ, извѣстій, описаній, наблюденій, „инцидентовъ" и „курьезовъ" ни разу и ниоткуда, ни о комъ не замѣшалось словечка: „кажется, былъ подкупленъ", „кажется, воздѣйствовали подкупы", „подкупали явно", „немного подкупали".

Ни о комъ! Ниоткуда!

А бѣдные есть, какъ и въ Римѣ. Есть богатые, какъ въ Англіи. Подавали голосъ и страшно нуждающіеся: но подавали „бумажку съ именами", крестясь. Спрашивали нѣкоторые наивные: „кого записать", передъ урнами. И спрошенные главы партій или ихъ видные члены, сидѣвшіе около урнъ, отвѣчали: „Не знаемъ. Кого хотите".

Боже, если бы это былъ не случай, не первая заря, если бы это привилось и пошло въ исторію какъ что-то найденное на дорогѣ и ставшее постояннымъ имуществомъ нашедшаго „счастливчика",—какая бы радость! Русскій народъ, этотъ сейчасъ униженный, окровавленный, обезцѣненный на міровомъ рынкѣ народъ, суцій „пролетарій" даннаго времени, вдругъ показалъ бы міру золотую вещицу, положенную ему Богомъ въ котомку: „выборы, и нѣтъ подкупа", „политика, и нѣтъ алкогольной подачи паровъ".—„Подходимъ къ урнамъ -и крестимся; великое Богъ даровалъ намъ благо: какъ же мы возьмемъ тутъ деньги? Святотатство".

Если бы это удержалось, о чемъ пока мы не смѣемъ и думать, имѣя всемірный передъ собою примѣръ горькаго и унизительнаго здѣсь! Замѣчательно, что не только не было подкупленныхъ, не было и подкупающихъ, какъ тенденціи. Просто забыли объ этомъ! Никому не пришло на умъ. Можетъ быть, опомнятся и начнутъ дѣлать? Но знаете ли, есть надежда, что не начнутъ. Есть таинственныя вдохновенія, внушенія, не надуманныя, вдругъ: о такомъ хочется сказать, что оно -

„отъ Неба", и такое бываетъ всегда страшно крѣпко и долго. Ну, отчего же не „подкупать", хоть теперь, при первыхъ выборахъ? И „торгово-промышленной" партіи, и „17-му октября" это было бы такъ важно, страшно важно. Но не пришло на умъ. Забыли, что ли? Какъ забыть то, что ежедневно, всюду! Но всѣ чувствовали, что если бы кто-нибудь „попался въ подкупѣ", — былъ бы ужасно опозоренъ. Вотъ это-то и важно, что сложилось безмолвно, во всѣхъ нравственное убѣжденіе, предшествовавшее самымъ выборамъ, что „выборы—святое дѣло": это безмолвное, неодолимое, народное, стихійное убѣжденіе, святая вѣра цѣлаго народа и сдѣлала то, что есть всюду и, за неизбѣжностью, уже всюду не осуждается.

Чудо сегодняшняго дня. и мы его имѣемъ.

Какъ не сказать: „Христосъ воскресе!" Какъ не почувствовать: „воистину воскресе!" Мы обложились со всѣхъ сторонъ Панамами: Панама—въ артиллеріи, Панама- во флотѣ, Панама —въ Манчжуріи, Панама—въ Петербургѣ. Все обворовано, разорено. Вдругъ разоренный народъ двинулся къ урнамъ, чтобы выбрать первыхъ своихъ представителей. И никто ничего не взялъ, до такой степени, что объ этомъ нѣтъ и подозрѣнія, этого не несется даже какъ клеветы! Просто -всѣ знаютъ, что никто и ничего не взялъ.

Чудо. То, что мы назвали новымъ вдохновеніемъ. И если мы не обманываемся и есть тутъ дѣйствительно „перстъ Божій", „подарокъ съ Неба", то не есть ли это въ самомъ дѣлѣ начало

исцѣленія болящаго русскаго народа?! Ибо и всято его хворь, историческая, стародавняя, еще отъ золотыхъ маковокъ Кремля, отъ временъ Калиты и Іоанновъ, идетъ отъ поразительной нравственной вялости, отъ безразличія къ дурнымъ запахамъ души, къ дурному запаху дѣлъ и жизни, какое въ немъ воспиталось рабствомъ, приниженностью, подневольностью, гдѣ ему приказано было „терпѣть и молчать“, и онъ, какъ связанный зритель, смотрѣлъ на комедію и трагедію окружающаго, большихъ господъ и большихъ дѣлъ, моргая, безучастно, и потерялъ вкусъ ко всему. Помните ли вы ужасное стихотвореніе, которымъ заканчивается „Новь“ Тургенева, гдѣ этотъ старецъ, вѣчно пытавшійся надѣяться, сказалъ послѣднее resumé своихъ наблюденій и размышленій о русскомъ народѣ. Невозможно заснуть прочитавъ его на ночь:

„Все тотъ же мертвенный, безсмысленный застой,
Строенія безъ крышъ, разрушенныя стѣны,
И та же грязь, и вонь, и бѣдность, и тоска!
И тотъ же рабскій взглядъ, то дерзкій, то унылый..
Народъ нашъ вольнымъ сталъ; и вольная рука
Виситъ попрежнему какой-то плеткой хилой.
Все, все попрежнему...
Все спитъ кругомъ: вездѣ, въ деревняхъ, въ городах,
Въ телѣгахъ, на саняхъ, днемъ, ночью, сидя, стоя...
Купецъ, чиновникъ спитъ; спитъ сторожъ на часахъ
Подъ снѣжнымъ холодомъ и на припекѣ зноя!
И подсудимый спитъ и дрыхнетъ судія;
Мертво спятъ мужики: жнутъ, пашутъ—спятъ;
молотятъ—

Спитъ тожe: спитъ отецъ, спитъ мать, спитъ вся
семья...
Всѣ спятъ! Спитъ тотъ, кто бьетъ, и тотъ, кого
колотятъ!
Одинъ царевъ кабакъ—тотъ не смыкаетъ глазъ:
И, штофъ съ очищенной всей пятерней схвативъ,
Лбомъ въ полюсъ упершись, а пятками въ Кавказъ,
Спитъ непробуднымъ сномъ отчизна, Русь святая!"

Это было написано въ 1876 году. И теперь такъ? Вотъ въ томъ, что мы можемъ объ этомъ смѣло спросить, и въ отвѣтъ расхохотаться самымъ веселымъ и беззаботнымъ смѣхомъ,—и заключается неизмѣримое величіе нашего момента; такое неизмѣримое, что и охватить его мыслью нельзя. Тысячелѣтняя панорама Руси (когда *иначе* на ней было?) рухнула, и на ея мѣстѣ поднялась другая.

— Христосъ воскресе! Какъ не сказать: Христосъ воскресе!

* * *

Я не пишу обычной „пасхальной статьи" въ „пасхальный нумеръ газеты, гдѣ было бы немножко религіознаго, немножко семейнаго, нѣсколько общественнаго, кое-что изъ воспоминаній и ожиданій, а беру прямо „вѣдомость" изъ сегодняшней газеты и подаю ее читателямъ, какъ красное яичко. Оставимъ лицемѣріе и признаемъ, что Богъ присутствуетъ не только тамъ, гдѣ имя Его повторяется третьимъ словомъ послѣ двухъ. „Не всѣ, говорящіе Мнѣ:—Господи! Господи! войдутъ въ Царство Небесное"... Я говорю о такомъ фактѣ нашей жизни, который и безъ богословія есть бо-

гословіе. Эти „курьеры“ казенныхъ учрежденій, тянувшіеся къ избирательнымъ ящикамъ, наемники-сидѣльцы „хозяйскихъ“ лавокъ, прислуга, ремесленники, мѣщане, всѣ—они ничего, ничего не думали о Голгоѳѣ, крестѣ, распятіи Христа, идя голосовать: а между тѣмъ, вышло такъ, какъ бы они шли подъ Голгоѳой, и Страдалецъ смотрѣлъ на нихъ, смотрѣлъ и укоризненно грозилъ... И не одинъ не взялъ копейки, какъ Іуда.

„Не всѣ, говорящіе Мнѣ:—Господи! Господи! войдутъ въ Царство Небесное, но только *творящіе волю Небеснаго Отца*“.

Всѣ эти бѣдняки, перекрестившись положившіе свои бюллетени въ избирательные ящики, они и были „творившіе волю Небеснаго Отца“, богословы безъ богословія и оправданные безо всякаго хапжеского „Господи! Господи!“ И намъ, чтобы сказать нѣсколько религіозныхъ словъ въ утро праздника, не позволительно ли также сказать объ этой публицистикѣ на тему „сегодня“ вмѣсто того, чтобы въ сотый разъ вытягивать и перетягивать сюда и туда эту каждому извѣстную тему о „Страстной пятницѣ“ и „Великомъ воскресеніи“, противоположностью между оживленіемъ и гробомъ.

Не всѣ знаютъ такъ называемыя „Изреченія Іисуса“,—оторванный кусокъ пергамента, найденный въ мусорной кучѣ въ Египтѣ, въ 200 верстахъ къ югу отъ Каира, на краю Ливійской пустыни, въ 1897 году. Безъ всякаго повѣствованія, безъ разсказа, безъ упоминанія о какомъ-либо событіи, эта кожаная тряпка представляетъ голыя

изреченія І. Христа, и ученые, едва начавъ ее разсматривать, были поражены тѣмъ, что передъ каждымъ изреченіемъ стояло: „говоритъ Іисусъ", вмѣсто обычнаго „говорилъ, сказалъ". Памятникъ представляетъ запись непосредственнаго слушателя рѣчей І. Христа,—чему отвѣчаетъ и этотъ голый ихъ характеръ, къ которому ничего не прибавлено; запись слушателя непосредственнаго или настолько близкаго къ Нему, сосѣда, ближняго, друга, родственника, что во всякомъ случаѣ они относились къ записываемымъ словамъ, какъ *къ своему настоящему*, какъ *къ дѣйствительно происходящему*, безъ всякаго отодвиганія его въ прошлое, въ перспективу преданія. Между тѣмъ, въ Евангеліяхъ вездѣ уже стоитъ: „сказалъ". Между этими изреченіями есть два, третье и пятое, совершенно новыхъ, и читатель тотчасъ почувствуетъ, что это—не слово человѣческое, а Того, Кто пришелъ спасти людей:

3. ...Іисусъ говоритъ: Я стоялъ среди міра, и въ плоти былъ виденъ имъ, и нашелъ, что всѣ пьяны, но никого не нашелъ. Я былъ жаждущимъ среди нихъ, и скорбитъ душа Моя о сынахъ человѣческихъ, ибо они слѣпые въ сердцѣ своемъ.

5. ...Іисусъ говоритъ: Если гдѣ будутъ... есть одинъ, то Я съ нимъ. *Подними камень, и тамъ ты найдешь Меня, расколи дерево — и тамъ Я*".

Въ 5-мъ отрывкѣ первое изреченіе разрушено (стерто на листочкѣ), но второе—цѣло. И какой его смыслъ! Не то ли же самое это, какъ изреченіе: „не всякій, говорящій Мнѣ:—Господи! Господи! внидетъ въ Царство Небесное, но творящій

волю Отца Небеснаго". Только здѣсь оно выражено морально, а тамъ—метафизично; какъ открытіе вездѣсущія Божія, соприсутствія Его всему живому, доброму, хорошему, положительному. Это не такъ далеко и отъ того, что я говорю о выборахъ, и найденное на границѣ съ Литвой изреченіе Спасителя совершенно оправдываетъ, что я, кидаясь въ публицистику, ищу Христа. „Расколи дерево—и тамъ Я, подними камень—и тамъ ты найдешь Меня". „Найдешь" и въ этихъ выборахъ, если они были добры, добросовѣстны, ко благой цѣли, въ благой надеждѣ; какъ „нѣтъ Христа" тамъ, гдѣ вращается Его имя бездушными устами и среди бездушныхъ дѣлъ.

* * *

Даже и тамъ, гдѣ мы видимъ чудо, Промыслъ, неожиданное и радостное, намъ не возбраняется искать и находить, такъ сказать, ближайшую механику причинъ и дѣйствій, черезъ посредство которыхъ „чудо" доходитъ до насъ. И милость, брошенная съ небесной колесницы пророку Елисею, падала на землю по законамъ тяжести: и хлѣбъ, которымъ Спаситель накормилъ 5,000 народу, былъ все-таки „печеный хлѣбъ", не чудотворный, не особенный. „Подними камень—и тамъ Я": законы физики, какъ и другіе законы, соціологіи они святы же, какъ и небесныя пути планетъ и звѣздъ. Обращаясь къ чудесному выпаденію лукавства и корысти изъ первыхъ нашихъ выборовъ, я нахожу, что ближайшая причина этого, тѣснѣйшая матеріальная оболочка прав-

ственнаго феномена заключалась въ томъ, что все освободительное движеніе наше, а съ нимъ и эта подробность выборы, идетъ отъ такихъ группъ нашего общества, которыя послѣ Шлиссельбурга, послѣ административныхъ высылокъ, послѣ всего того огня и желѣза, какимъ ихъ смиряли и смирили,—рѣшительно не способны думать о томъ, чтобы взять въ помощь себѣ, въ союзъ съ собою копелекъ золота!! Совсѣмъ другая категорія,—чувствуете ли, что это такъ? Навязывать идеи свои, пропагандировать,—да, это у всей партіи, съ гимназіи, съ университета, въ жизни. Но кто видѣлъ „радикальнаго гимназиста", дающаго взятку? Кто видѣлъ студента, подкупающаго прислугу, и проч. Просто это именно „не приходитъ въ голову": и также „не пришло въ голову" сдѣлать что-нибудь подобное, на выборахъ, весь фундаментъ которыхъ положенъ и основная ткань ихъ ткалась руками этихъ радикаловъ. Они бѣжали, шумѣли, кричали впереди всего (стихотвореніе то Тургенева, до чего оно теперь архаично!!): и наложили гипнозомъ психику свою и на другихъ, на всѣхъ, на враговъ своихъ. Ну, какъ сталъ бы бездомный студентъ, провинціалка-курсистка давать десять цѣлковыхъ рабочему, шепча: „Вотъ 10 рублей и бюллетень нашей партіи: когда подойдешь къ ящику,—положи туда его". Невозможно! Вѣдь это значитъ на рабочаго посмотрѣть, какъ на лакея своего, какъ на раба своего, какъ на бездушную тварь: когда всѣ эти нелѣпыя курсистки и нелѣпые студенты „всосали съ молокомъ матери", или, точнѣе, „убѣдились съ первой про-

чтеной книжки", что рабочій—братъ имъ, товарищъ, во всемъ, какъ онъ же, Божія тварь, безсмертная и вѣчная, „другъ въ будущемъ соціальномъ строѣ". И не подкупали. Рука не поднялась. Одинъ подкупъ, и разомъ кассировалось бы все наше освободительное движеніе, съ 1824 года до 1904 года; все бы разомъ рушилось съ тѣмъ идеализмомъ, изъ котораго оно поднялось.

И не поднялась рука на это ни у кого изъ сотенъ студентовъ. И развилось это духовное давленіе по странѣ. И у кого „изъ чисто-русскихъ людей" шевельнулась мысль о привычной, старой, московской „взяткѣ": промолчалъ и онъ, и не поднялъ руки, и не испортилъ свѣтлаго праздника русской жизни.

Будемъ надѣяться, что такъ это и останется, что парламентаризмъ войдетъ къ намъ, какъ чистый гость въ чистый домъ. Начнемъ честность съ капельки и разольемъ ее въ море; посадимъ зернышко и вырастимъ дерево. Вѣдь новые люди шумною толпой растворили дверь нашей жизни, похожей на казематъ, — и вотъ шумятъ вокругъ и всюду, метутъ, отворяютъ окна, выламываютъ желѣзныя рѣшетки, все чистятъ, переворачиваютъ, и замореннымъ узникамъ говорятъ новыя и ласковыя слова. Весь наборъ ихъ ненависть къ этому каземату, слишкомъ дорого имъ обошедшемуся... И нельзя вѣрить, нельзя думать, чтобы они взяли изъ него что-нибудь для своего употребленія: ну, вотъ эту же ложь давленія на душу съ помощью конвелька, одно изъ основныхъ звеньевъ стараго рабства, прежней пѣни. Дѣло

въ томъ, что въ основѣ и гораздо глубже нашего политико-освободительнаго движенія лежитъ нравственно-освободительное движеніе. „Не подкупаютъ"—оттого, что онъ—„братъ мой". При Цезарѣ „свободные граждане" добровольно сошли въ ряды рабовъ: кого можно подкупить—тотъ, конечно, рабъ, подкупившаго или другого—это уже все равно. Умерли граждане, родились рабы—и родилась „имперія" Августовъ, Тиверіевъ и Нероновъ. Но вотъ у насъ, совершенно обратно, въ „рабахъ" или „въ рабствѣ" родились граждане: и печать раба, дрожащая, подкупная совѣсть, готовность „поцѣловать ручку" политически, опустивъ за 10 руб. бюллетень съ такими-то именами, это умерло!

Христосъ воскресе, новые граждане! Вы уже не рабы болѣе, и не оттого, что на васъ нѣтъ оковъ, а оттого, что ихъ не кто-нибудь снялъ съ васъ, а сами вы сбросили ихъ: съ болью, съ кровью, обдирая кожу, но сбросили!

Нѣтъ воскресенія безъ терніевъ: объ этомъ учитъ не одна религія...

## Пѣгій человѣкъ.

Гапонъ, повидимому, погибъ, — унизительно и жестоко, какъ тотъ союзный римлянамъ царекъ Альба-Лонги, который въ минуту критически-опасной битвы сталъ переходить на сторону враговъ, по сдѣланному заранѣе уговору съ ними, и не перешелъ только по догадливости римскаго царя, сурового Тулла Гостилія. „Это онъ дѣлаетъ по моему повелѣнію и окружаетъ враговъ!“- воскликнулъ Туллъ, когда вѣстникъ прискакалъ сказать ему, что альбанцы сближаются съ врагомъ. Римляне, увѣренные теперь въ успѣхѣ, рванулись и побѣдили. На другой день къ Туллу подошелъ и тайный измѣнникъ съ поздравленіемъ о побѣдѣ. Но царь сказалъ ему: „Какъ вчера ты колебался между римлянами и фиденцами, такъ сегодня тѣло твое будетъ разнято конями“. Несчастный былъ разорванъ пополамъ запряженными „въ него“ конями, а Гостилій воздвигнулъ, по обѣту, храмъ въ честь Страха и Ужаса: царь и самъ былъ испуганъ смертельно во время битвы, когда понялъ измѣну союзниковъ и передъ очами его пронеслась и собственная гибель, и гибель Рима.

Есть люди объ одномъ цвѣтѣ, черные, бѣлые. Но есть еще несчастно-рожденные люди, пѣгіе.

которые совершенно искренно не могутъ одному чему-нибудь служить, и совершенно искренно служатъ двумъ господамъ; т. е. измѣна то одному, то другому, и въ концѣ-концовъ всему и всѣмъ, составляетъ самый стержень и „истину“ ихъ души. Да, есть истина и въ неистинѣ, наносъ лжи, талантъ обмана. Конечно, это несчастье, и такому-то несчастію, повидимому, былъ обреченъ Гапонъ.

Плеве не былъ изъ тѣхъ недалекихъ или довѣрчивыхъ людей, который зря подпустилъ бы къ себѣ или вошелъ бы въ сношенія съ человѣкомъ, для него лишнимъ и ненужнымъ. Плеве былъ человѣкъ дѣла, „службы“, и свое важное служебное время, оплачиваемое государствомъ, не сталъ бы тратить на пустыя отношенія къ третьему, безразличному или мало нужному человѣку. Поэтому „священникъ пересыльной тюрьмы отецъ Георгій Гапонъ“, безъ сомнѣнія, оказывалъ ему цѣнныя услуги въ своей должности, столь близкой къ сердцу заключенныхъ. Такая же связь съ Зубатовымъ и, несомнѣнно, громадный авторитетъ и полное довѣріе „охранительныхъ“ органовъ правительства была пріобрѣтена Гапономъ, простымъ рядовымъ священникомъ, которому такъ трудно выдвинуться передъ большими сановниками и чиновниками, не безъ основаній, и притомъ самыхъ вѣскихъ основаній. Но „охранные органы“ не приняли во вниманіе вотъ эту бывающую у человѣка врожденную „пѣгость“. Между прочимъ о Гапонѣ пишутъ, что онъ былъ „грубо невѣжественнымъ человѣкомъ“. Тутъ разгадка многаго. Рядовой священникъ, сказать по-просту „попъ“,

„не токмо за страхъ, но и по усердію“ служившій (какъ все наше, глубоко государственное, духовенство) отечеству вплоть до Плеве и Зубатова, могъ начать по-семинарски и прилежно, но безъ дара и вдохновенія, ознакомляться по книжкамъ вообще съ рабочимъ вопросомъ, рабочимъ движеніемъ, разъ уже судьба и біографія поставила его въ самое „пекло“ этого движенія. „Фуффенцій (имя союзнаго царька) началъ сближаться съ албанцами“. Обнаружилась „другая шерсть“ въ существенно-разношерстномъ. Все духовенство наше вѣдь глубоко государственно, но и глубоко народно; и особенно все оно (я не встрѣчалъ исключеній) анти-барственно, анти-дворянско. „Мы этими барами тряхнемъ“,—эта мысль Пугачева совершенно также возможна у человѣка въ рясѣ, какъ и мысль послужить государству (не барамъ, а государству) въ качествѣ священника, говорящаго „на духу“ съ узниками тюрьмы предварительнаго заключенія. Словомъ, серьезную демократическую, рабочую струю, рабочій „паѳосъ“ мы также не можемъ отрицать въ Гапонѣ, какъ и серьезныхъ тайныхъ услугъ его Плеве. Во всякомъ другомъ званіи, сословіи это невозможно, но именно въ „попѣ“ возможно по особливой, необыкновенно странной амальгамѣ, исторически легшей на него. Такіе всѣ „государственники“, и такіе всѣ „народники“; а гибкость совѣсти, доходящая до паѳоса, такъ вѣдь у кого же ей и быть, какъ не у людей, помнящихъ притчу о мытарѣ и дивныхъ словахъ его: „Боже, буди милостивъ мнѣ грѣшному“. Такой удивительный этотъ мытарь.

что, во-первыхъ, былъ и сборщикомъ податей, притѣснителемъ бѣдныхъ, по нашему—полицейскимъ и урядникомъ, и словомъ человѣкомъ нравственно „никуда", и сталъ не только святымъ, но примѣромъ святости для всего христіанскаго міра, -примѣромъ христіанскаго чувства, христіанскаго самосознанія. Это ли не „амальгама"... Такъ и вѣдь мы „чѣмъ болѣе христіане", тѣмъ совѣсть наша болѣе гнется, болѣе въ ней „благородной" стали, а не желѣза, не грубаго чугуна: никогда-то она не сломается и гнется, гнется до противоположнаго, до отрицанія себя.

Оставимъ общее и вернемся къ частному. Въ Петербургской духовной академіи мнѣ случилось встрѣтить (еще очень молодыхъ!) профессоровъ, коихъ слушателемъ былъ Гапонъ. На вопросы: „кто онъ? что онъ? каковъ?", которые были такъ естественны послѣ 9 января, въ отвѣтъ съ удивленіемъ я видѣлъ сморщенныя губы и киваніе головой. „Несимпатиченъ", „ничего привлекательнаго"... Отъ одного изъ монаховъ Александро-Невской лавры, среднихъ рангомъ, но съ властью и официальнаго, я выслушалъ вскорѣ послѣ событія разсказъ: „мы съ нимъ изъ одной губерніи и уѣзда, почти изъ одной мѣстности, земляки. Но тамъ на мѣстѣ я его не зналъ, а онъ обо мнѣ, очевидно, зналъ, что я ему землякъ. Далъ онъ (еще студентъ академіи) присылаетъ ко мнѣ записку и проситъ 75 р., ссылаясь, что въ духѣ проигрался въ карты и долженъ сейчасъ уплатить долгъ". Между тѣмъ я даже не узналъ его, т. е. знакомъ съ нимъ не былъ, а главное у ме-

ня не было на ту минуту денегъ. Такъ и отвѣтилъ, что денегъ нѣтъ. Я не ожидалъ послѣдствій, но каково было мое изумленіе, когда онъ въ ту же минуту прислалъ мнѣ страшно ругательное письмо, полное грубостей и дерзостей Я былъ лицо оффиціальное, да и простому человѣку это было бы невыносимо. Я не обратилъ вниманія, только человѣкъ этотъ изъ тѣхъ, съ какимъ не дай Богъ связаться". Еще характерно: когда онъ уже вышелъ въ жизнь, то въ пору законоучительской его дѣятельности у него вышло сперва „недоразумѣніе", а потомъ быстро и грубая ссора съ членами попечительнаго совѣта при этомъ учебномъ заведеніи. Тогда онъ разыгралъ сцену или у него „вышло" совершенно въ духѣ Фотія, извѣстнаго „обличителя" Александровскихъ временъ. Сказавъ, что въ залѣ Совѣта „нечистымъ духомъ пахнетъ", онъ вышелъ рядомъ въ домовую церковь и, зажегши кадило, началъ кадить по комнатѣ, „выкуривая чертей". „Цѣлое" начало,—то карты, то изувѣрное благочестіе, съ подкладкой подъ тѣмъ и другимъ „своего интереса" и неукротимаго своего каприза, произвола, моментальной ярости, очевидно, всегда были въ немъ. Какъ русые волосы на головѣ, такъ все это было натурально, несносно и опасно.

Самая удивительная часть его дѣятельности, конечно, заключалась въ массовомъ, многотысячномъ привлеченіи къ себѣ рабочихъ, въ абсолютномъ авторитетѣ, который онъ пріобрѣлъ въ ихъ душахъ, въ ихъ глазахъ, для ихъ убѣжденія. Такія вещи легко не даются: попробуйте соединить

на себѣ любовь нѣсколькихъ сотъ человѣкъ, любовь не пассивную, въ смыслѣ „добраго мнѣнія", а активную, которая подвигнула бы на общее дѣло, на одно общее движеніе и вы увидите, до чего это трудно и даже до чего это невозможно иначе, какъ для „спеціальныхъ способностей". Можно пѣть у себя въ комнатѣ—и хорошо, но тотъ же голосъ въ концертной залѣ раздастся какъ жалкій, глухой и сильный голосишко. Такъ могутъ любить насъ „наши знакомые", но чтобы полюбили рабочіе обширнаго заводскаго раіона, нужно имѣть „концертный голосъ". Тутъ (повидимому) не нужно имѣть тихихъ, индивидуальныхъ, прелестныхъ сторонъ души, а что-то басовое и гремящее. Нужна не скрипка, а грохочущая по мостовой телѣга съ пустыми бочками. На эстраду выходятъ не „прекрасные семейные люди", и историческіе люди, едва ли не сплошь не весьма симпатичные. Нужно же быть разницѣ между „частнымъ" и „общимъ", бытомъ и исторіею. Гапонъ, повидимому, обладалъ этимъ „спеціальнымъ даромъ", который мы не назовемъ ни добрымъ, ни злымъ, а остановимся только на опредѣленіи, что онъ „спеціальный". Это даръ громкаго, звонкаго, слышнаго. Всѣ одинаково признаютъ, что имя и движеніе Гапона, „гапоніада", сложилось въ наиболѣе крупныя черты, сложилось въ зрѣлище, въ картину, которую послѣ 9 января фотографировали всѣ иностранныя иллюстрированныя изданія. Все-таки этого ни у кого не вышло, не вышло у тѣхъ „настоящихъ и вполнѣ сознательныхъ революціонеровъ", которые „очень умны", но оста-

ѣ за ширмами. Вышло у Гапона, нѣтаго коня, ъ совѣсти, безъ Бога, но съ октавой. Особый рь. Но этотъ даръ, когда онъ не мополитенъ, рано опасенъ въ судорожныя минуты народ- ой жизни, когда наконецъ и „христіанская" сталь змается. И раньше или позже онъ приводитъ къ ой судьбѣ, которую приняли многіе „двонвиіеся" дѣятели первой французской революціи, и раньше всѣхъ ихъ древній царь Альба - Лонги, разо- ванный конями. Между Нлеве и Посаремъ есть рще крюкъ отъ ламны, на которомъ можно по- иснуть, сдѣлавъ головоломное salto mortale. Что дѣлать: исторія есть картина, украшенная тро- іами и висѣлицами... И блаженъ всякій, кто су- ѣетъ усидѣть на своемъ домашнемъ стулѣ...

# Послѣднее похожденіе Кречинскаго.

— „Охъ, уйъ и били меня, били, били“... Эти слова грустящаго Расплюева о себѣ приномина лись всѣ два года, какъ тянулась японская война Расплюевъ (а впрочемъ и звѣздоносныя наши „сферы“ за два года своей „расплюевщины“) пла тился въ сей несчастной оказіи за шулерство и склонность къ особымъ крапленымъ картамъ. Съ сими „картами“ одного дружка поймали въ клубѣ, другого на р. Ялу. Расплюевъ разсуждалъ: „Ну, ударь разъ, ну, ударь два: но нельзя же до безчувствія“. И „сферы“ наши плакали: „ну, при Тюренченъ, ну, у Чиджоу! Что дѣлать! Но вѣдь при Ляоянѣ, Мукденѣ, въ Портъ-Артурѣ, Цусимѣ вездѣ! До полной потери сознанія!“

И оба плакали.

Но японцы знали, кого бьютъ. „Этого не зако лотишь“. И пріятели, когда колотили Расплюева знали тоже, кого они колотятъ. „Этотъ Расплюевъ еще женится“. Дѣйствительно, у Расплюева былъ пріятель Кречинскій, это вторая и благополучная сторона того же плутяги, которую фантазія авто ра отдѣлила отъ несчастной и неудачливой поло-

вины и олицетворила въ особой фигурѣ съ другимъ именемъ.

Кречинскій въ это самое несчастное время, когда его пріятеля „били“, задумывалъ знаменитый свой бракъ и обработывалъ все дѣло съ подцѣльной брилліантовой булавкой.

И „битая“ наша бюрократія, только что жаловавшаяся: „больно! больно! больно!“, едва встала, какъ протянула руку къ чужимъ деньгамъ.

Японія въ правѣ сказать: „Вѣдь я говорила, что переживетъ! И не только выживетъ, а еще сейчасъ же сдѣлаетъ предложеніе барышнѣ. Такіе не умираютъ. Такіе или женятся, или ихъ бьютъ“. Расплюевъ и Кречинскій,—только два положенія. И ничего третьяго, честнаго, обыкновеннаго, нѣмецкаго.

Дѣйствительно, два года чиновная Россія лежала Расплюевымъ. На 3-й встала Кречинскимъ. Это Кречинскій распоряжался въ декабрѣ въ Москвѣ, Кречинскій произносилъ вѣское слово въ Марокко надъ распрей Франціи и Германіи и теперь, вотъ... съ этой брилліантовой булавкой, то бишь съ милліардньшъ займомъ. Вездѣ—Кречинскій. Расплюева точно и не было. „Расплюевъ—это не я! Того били, а теперь, видите, я бью“. Я одерживалъ викторіи при Полтавѣ и Бородинѣ, и вотъ заключаю сейчасъ колоссальный заемъ. Мнѣ вѣрить: какой же я Расплюевъ?“

Скромнымъ русскимъ „вѣрноподданнымъ“ приходится только дивиться на отечество. „Какое у меня талантливое отечество: казалось—бьютъ его

а оно ведетъ себя, какъ побѣдитель. Гдѣ это видано, и хватитъ ли на это ума у нѣмцевъ".

* * *

Все удивительно въ займѣ, но особенно его нравственная сторона. Кречинскій получилъ милліардъ, очевидно, не за то, что его „вчера били", а потому, что сегодня онъ состоитъ женихомъ богатѣйшей въ губерніи невѣсты. Правительство русское „получило" тоже не потому, что оно „правительство" русское, ибо ему съ симъ единственнымъ титуломъ никто и ломанаго гроша за границею не давалъ: ему „дали" и „повѣрили" потому, что оно сейчасъ на линіи жениха, что оно „съ Думою", дали „подъ невѣсту", подъ „невѣстины капиталы", подъ эту самую русскую „конституцію и парламентаризмъ". Дѣло очевидное, и никто объ этомъ не споритъ, что дали не „битому жениху", этому герою отъ Тюренчена до Цусимы, а дали „молодому", который „обрученъ съ Думою", т. е. „поклялся въ вѣрности", порядочности, бережливости, добросовѣстности и другихъ прозаическихъ нѣмецкихъ качествахъ.

Между тѣмъ у насъ-то, въ Россіи, совершенно видно, въ чемъ дѣло. Кречинскому именно надо только деньги, а „невѣста" тутъ не при чемъ, и заемъ дѣлается именно для того, чтобы почувствовать себя независимымъ въ отношеніи „невѣсты" и при первомъ удобномъ случаѣ куда-нибудь „сплавить" ее. Кречинскій привыкъ имѣть дѣло съ коридорными дѣвушками, и эта добро-

порядочная нѣмка, „русская конституція", противна ему, какъ гробъ, какъ неоплаченный векселъ...

Заемъ: 1) *противъ* Думы и 2) *подъ кредитъ* Думы. Дума обезпечиваетъ (въ глазахъ иностранцевъ) заемъ, и въ то же время этотъ заемъ торопливо сдѣланъ до Думы, ибо во внутренней, какъ и во внѣшней войнѣ царитъ то же правило: „чтобы вести войну—надо имѣть деньги, деньги и деньги". Очевидно, деньги выхвачены для войны: съ кѣмъ? Съ „внутреннимъ врагомъ", вотъ съ этой „Думою", этой плачевно обманываемою невѣстою, изъ нѣмокъ, которую кружитъ петербургскій кавалеръ Krechinsky.

У Кречинскаго въ глазахъ мутится при видѣ денежекъ. Вчера онъ слышалъ я фразу, донесенную изъ „сферъ". Рѣчь зашла о „кадетахъ", и „особа" выразилась: „у нихъ (кадетовъ) много голосовъ, а у насъ много пулеметовъ".

Побѣдительный при Цусимѣ собирается побѣждать на р. Невѣ. Можетъ быть, даже „отмстить за пораженія", какъ эта маленькая „воинская месть" сказалась несомнѣнно въ пылѣ „преслѣдованій врага" на Двинѣ, Вислѣ, Москвѣ-рѣкѣ и прочихъ „не достопамятныхъ" въ военныхъ лѣтописяхъ мѣстахъ. Можетъ быть, Кречинскій торжествуетъ и часть газетъ пьетъ шампанское. „Здоровье жениха"... Во фракѣ жениха заколота знаменитая поддѣльная бронка, взятая у французскихъ ювелировъ, вотъ-вотъ сейчасъ изъ витрины.

„Сіяль, шумѣль ужь въ полномъ блескѣ баль"... но мнѣ отчего-то, сквозь блескъ огней и музыки, все слышатся печальные стоны, которые слышались вчера и будутъ, кажется, слышаться завтра: „Какъ меня били! Боже, какъ били меня! Ну — разъ, ну — два: нѣтъ, надо же до полнаго безчувствія!"

## На зарѣ парламента.

Съѣздъ делегатовъ конституціонно-демократической партіи. съѣхавшихся въ Петербургъ изъ всѣхъ уголковъ Россіи и въ которомъ во множествѣ участвуютъ и члены Государственной Думы изъ этой партіи, - можетъ быть названъ „парламентомъ начерно“, или „предисловіемъ къ русскому парламенту“. Мнѣ захотѣлось видѣть его, и я посѣтилъ пренія по аграрному вопросу. Зала училища Тенишевой, гдѣ происходитъ делегатскій съѣздъ, это огромный амфитеатръ, который развѣ немногимъ уступаетъ залѣ засѣданій въ Таврическомъ дворцѣ. Настроеніе было не частное, а „правительственное“: говорились не лекціи, не „рѣчи“, краснорѣчіе отсутствовало насколько оно не есть естественный даръ, и все свелось къ дѣлу, къ. отвѣтственности, къ осторожности обсужденія „законопроекта“ начерно, который въ бѣловой формѣ пойдетъ и черезъ Государственную Думу. и вообще это есть „жизнь и фактъ на завтра“.

Были „кадеты“, и между ними рѣдкими вкраплинами сидѣли делегаты отъ крестьянства. Это стѣна, хотя ихъ и страшно немного. Сейчасъ сказалась разница между „интеллигентомъ“, который,

воспринявъ разнородныя вліянія,—зыбокъ, какъ поляки въ „Тарасъ Бульбѣ", и между мужикомъ или рабочимъ, который выросъ въ единственномъ вліяніи нужды и труда, и поэтому не только не сложенъ и неповоротливъ, но и не умѣетъ повернуться, едва ли сможетъ или захочетъ усложниться. Это Бульба, во всей его силѣ, сидячести, неуступчивости. „Не хочу, чтобы и трубка доставалась чортовымъ ляхамъ" — это я слышалъ въ тонѣ одного безрукаго рабочаго, чернаго, небольшого, безъ возможности улыбки на лицѣ, который произнесъ одну коротенькую рѣчь, и разъ всталъ съ мѣста возразить говорившему оратору (не болѣе 5-ти словъ), все какъ волкъ на ловитвѣ. „Этотъ и трубочки не уступитъ", — думалъ и о Бульбѣ и объ аграрномъ вопросѣ.

Спѣшу предупредить, или, если нужно, извѣстить на всю Россію: такъ какъ половина Думы будетъ „кадетской", а другая половина будетъ крестьянской, то собственно взглядъ или программа „кадетъ" плюсъ крестьянинъ есть въ то же время и рѣшеніе Думы. И оно уже теперь совершенно опредѣлилось. Совершенно нѣтъ никого ни между „кадетами", ни между крестьянами (еще бы!!), кто задерживался бы передъ вопросомъ объ упраздненіи, почти полномъ, частной поземельной собственности, т. е. дворянской, владѣльческой, купеческой, не говоря уже о монастырскихъ земляхъ и земляхъ удѣльнаго вѣдомства. Все должно быть 1) выкуплено у нихъ, 2) обращено въ государственную землю и 3) роздано крестьянамъ въ долгосрочное пользованіе. Остаются, въ видѣ изъятія

только кусочки, обрѣзки, о которыхъ одинъ дѣлегатъ-крестьянинъ выразился, что этихъ незахваченныхъ законопроектомъ обрѣзковъ такъ въ общемъ мало, что „ихъ можно спрятать въ жилетный карманъ". Онъ при этомъ, при смѣхѣ всего сочувствующаго зала, показалъ, какъ прячетъ щепотку чего-то въ маленькій боковой карманекъ своей жилетки... „Я имѣю землю надѣльную, ибо я крестьянинъ, — и свою, прикупную. Частная земельная собственность есть такое зло, такое орудіе угнетенія мелкой окружающей крестьянской земельной собственности, съ какимъ ничто не сравнится. Владѣлецъ большой земли, расположенной среди мужицкихъ маленькихъ надѣловъ, захватываетъ власть надъ ними хуже и тягостнѣе, чѣмъ сосѣдняя лавка надъ бѣдняками улицы. Она должна быть уничтожена: проектъ ее уничтожаетъ. Остаются обрѣзки, которые можно спрятать въ жилетный карманъ, — и вы о нихъ не спорьте, чтобы не помѣшать пройти всему проекту, чтобы не проявить раздора, не разойтись на группы. Единство — сила, и мы (Дума) въ этомъ единствѣ будемъ дѣйствовать".

Великодушіе? порывъ? доброта? мірова мудрость? Не знаю. Говорившій былъ самъ частный собственникъ, добывшій эту собственность съ помощью страшнаго труда и сбереженій (крестьянинъ). Въ залѣ сидѣли все собственники, и всѣ хлопали. Что вы съ этимъ сдѣлаете, если завтра это собраніе будетъ уже оффиціальнымъ, станетъ тѣмъ „генераломъ", которому на Руси все привыкло повиноваться?

Я обернулся направо къ сосѣду, въ пиджакѣ, черненькому. „Делегатъ изъ Риги, русскій.

– Что вы хотите, если это правда? отвѣтилъ онъ на мой недоумѣвающій вопросъ.

Когда я сидѣлъ въ залѣ, до такой степени объединеномъ однимъ чувствомъ, безъ недоумѣній, безъ тоски, безъ злобы, безъ затаванія, – среди этого моря открытыхъ и веселыхъ лицъ, отказывающихся отъ „частной поземельной собственности въ пользу крестьянъ" и, очевидно, ея собственниковъ, большихъ или малыхъ, я понялъ, что *въ отсутствіи сопротивленія отрицанію собственности* и лежитъ корень всего дѣла, прямо магія дня и мѣста, которое завтра будетъ „законодательнымъ". Это то „суевѣріе", которое сильнѣе знанія и науки. Я знаю, что собственность „священна" и что ее „трогать нельзя", и вообще знаю культурныя, образованныя понятія: но что вы сдѣлаете съ суевѣріемъ языка, которое повторяетъ „солнце встаетъ" и послѣ открытія Коперника; „солнце встаетъ" у кухарки, „солнце встаетъ" у гимназиста, „солнце встаетъ" у агронома, у ученаго. У всѣхъ „солнце встаетъ", хотя всѣ не отрицаютъ и Коперника, не отрицаютъ „культурныхъ понятій" о собственности. Но это „не отрицаютъ" какъ-то далеко и отвлеченно, а налично, сегодня, конкретно, фактически и, наконецъ, законодательно всѣ говорятъ и скажутъ: „солнце встало", „земля принадлежитъ тому, кто на ней трудится, ее пашетъ".

Собственность принадлежитъ *на обработку*, а на землю собственности нѣтъ: вотъ новая аксіома.

даже „божественная", какая всѣми владѣетъ, пусть въ качествѣ „суевѣрія", однако, съ какою силою!! „Суевѣріями" вѣдь исторія держится, на „суевѣріяхъ" міръ стоитъ — объ этомъ не надо забывать. И это чувство собственности „на обработку" уже такое же желѣзное, какъ воздушное, какъ воздушно чувство собственности на землю: чувствуется, что кто „выкопалъ себѣ картофель, который и себѣ насадилъ" — тому хоть голову долой: собраніе не запротестуетъ. Это какъ уловъ въ неводъ; рыба въ рѣкѣ „Божья, ничья". Но кто взялъ рыбу изъ верши, *мною поставленной на ночь*, тотъ *воръ*, того убей — съ санкціи всѣхъ людей, собственниковъ и несобственниковъ, рыболововъ и нерыболововъ. Вотъ новая аксіома, русская: и что вы съ нею сдѣлаете.

Около воздуха и воды — земля есть третья *стихія*, „Божія и ничья", на которую никогда *не имѣли права начинаться собственность:* и теперь она отрицается почти съ религіозною увѣренностью! Помните, какъ казаки расправлялись съ „лицами, которыя взяли въ аренду церкви" и не пускали освятить въ нихъ пасхальные куличи иначе, какъ за маленькую плату. „Церкви—Божьи и *ничьи*", т. е. *общія*. Теперь то же происходитъ и въ отношеніи стихіи земли. Вѣдь и евреи „взяли въ аренду церкви" отъ кого-то, кто имъ „отдалъ въ аренду церкви"; взяли ихъ въ аренду, *уплативъ за нее деньги*. Все это было, вѣдь сомнѣнія, юридично, законно; напримѣръ, они взяли „въ аренду" земли, или уплативъ частнымъ владѣльцамъ, частнымъ строителямъ храмовъ, или епархіальной

тогдашней власти. Вообще, евреи ничего *не захватывали, не отнимали*, это-то очевидно! Они вели дѣло „съ начальствомъ“ и у него какъ-то „купили право аренды“. Но „казаки“, „левіаѳанъ“ народный разметалъ все, не справляясь съ документами, не заходя въ контору, не спрашивая архіерея, побросавъ евреевъ въ воду. „Церкви — *для нашихъ куличей*, для нашей *молитвы*, для *насъ*, они — народная аксіома, ни въ какіе законы не вписанная, но живая и дѣйствующая! То же буква въ букву происходитъ сейчасъ съ землею: „да кто вамъ право давалъ землю *продавать, дарить* (въ сторону правительства), *покупать* (въ сторону частныхъ владѣльцевъ), *принимать въ подарокъ, передавать, наслѣдовать*, когда она вся — *наша, народная*, когда это — *трудовое дѣло, стихія труда*, какъ воздухъ — стихія дыханья и вода стихія плаванья, купанья и рыболовства. Кто землю обрабатываетъ того она и есть; точнѣе: тотъ и пользуется плодомъ своего труда на нее и до тѣхъ только поръ, пока трудится. Не вспахалъ *онъ* эту весну, — и *другой* будетъ собирать съ нея плоды по осени, которые весною посѣялъ“.

„Долгосрочное пользованіе“ — да и то еще съ оговоркою о *непремѣнномъ ежегодномъ своемъ обрабатываніи каждаго* — вотъ все и единственное, о чемъ можетъ итти рѣчь въ отношеніи земли, о чемъ допустятъ рѣчь...

Обществу, правительству, частнымъ людямъ нужно приготовиться къ встрѣчѣ съ этой желѣзной грядущей аксіомой. Знаете, какъ весенній

ледъ, пойдя, „срѣзываетъ“ деревянныя суда, деревянные мосты?.. Пусть изготовляются, кто можетъ и если можетъ.

* * *

Кто-то проговорилъ въ залѣ (во время перерыва), и я передаю читателямъ, какъ впечатлѣніе, вынесенное и мною:

— „Кадеты“ и крестьяне сходны въ программѣ. Но между ними та разница, что крестьяне, всѣ, какъ они есть, пойдутъ съ вилами за свои слова. А „кадеты“ не пойдутъ.

— Разница большая, — кивнулъ кто-то, оглянувшись насмѣшливо.

И я думаю — разница большая!

— Намъ все равно умирать, съ голода или подъ пушками. И мы пойдемъ на пушки, — говорилъ рабочій (по о крестьянахъ) въ уголку. — Не дадутъ земли, мы такъ и скажемъ поставленнымъ насъ деревнямъ: земли не дали. Тогда деревня знаетъ что сдѣлать.

Это все „правительству“ или „кому“ слѣдуетъ обдумать. Я вынесъ изъ собранія впечатлѣніе повышенное, энергичное, полное самоувѣренности: и такъ какъ завтра все это будетъ „законодательно“, то, очевидно, мы живемъ передъ днями, далекими отъ ясности и тишины...

* * *

Заговорили о сохраненіи „культурныхъ участковъ“, на которыхъ народъ „могъ бы научаться высшей культурѣ земли, и тѣмъ получать себѣ пользу“.

— Зачѣмъ? Это ловушка! Какой же помѣщикъ, чтобы сохранить за собою землю, не заведетъ на ней кое-что, что онъ назоветъ „культурою", „образцовымъ хозяйствомъ", и о существѣ чего ужасно трудно спорить, трудно это точно опредѣлить, да и кто это будетъ опредѣлять для всей Россіи? „Эксперты"?.. Но тутъ такъ задѣта „своя шкура" у владѣльца, что онъ ни передъ какими жертвами не постоитъ, и гдѣ же это на пространствѣ цѣлой Россіи найти неподкупно-честныхъ экспертовъ... Намъ „образцовыхъ культуръ" не нужно, а нужны „опытныя поля", на которыя каждый можетъ, *въ правѣ* придти и начать учиться, ибо это общее и въ томъ числѣ *его* поле. Вотъ что намъ нужно. А изъ этихъ „образцовыхъ культуръ" крестьянъ гнали не то что сторожами, но и собаками. Мы ничего не видѣли и ничему тамъ не научились, намъ ничего не показывали и даже туда не пускали.

— Двадцать лѣтъ назадъ, когда я былъ мальчикомъ, я понелъ поглядѣть на „образцовый участокъ" въ имѣніе нашего помѣщика. Сторожа не пропустили. Не пропустили разъ, не пропустили два, — а въ третій разъ я пробрался украдкой. На меня выпустили собакъ и чуть не затравили. Намъ этихъ участковъ не надо, да и у господъ это одна мазня. Ему имѣніе приносило, до „улучшеній", 75,000 руб. въ годъ, и эти деньги аккуратно высылались управляющимъ его въ Петербургъ. Но начались „улучшенія", заведена „культура", и теперь ему высылается 60,000 руб. въ годъ: остальное идетъ на „испытаніе", выписку машинъ и сѣмянъ и на

развѣзды. У насъ вѣдь какъ? Кто же ѣдетъ на одной лошади? Унизительно. Подавай пару, подавай тройку, подавай управляющему, подавай агроному. Всѣ ѣздятъ и всѣ платятъ. Много рабочихъ прибылыхъ и нанятыхъ — хлопоты съ урядникомъ, хлопоты со становымъ, съ исправникомъ. Всякій пріѣдетъ, понюхаетъ, и всякому что-то нужно заплатить. Такъ что эти „улучшенія“ и „культуры“, убыточныя для помѣщиковъ, безполезныя для крестьянъ, не подлежатъ исключенію и должны также пойти въ общій фондъ.

И съ такимъ правомъ собственности!

Этотъ говорилъ еще спокойно, съ легкой только ироніей.

— Какія „улучшенія“? Не надо ихъ. Пусть прямо научатъ насъ, а не черезъ благодѣтельное сосѣдство этихъ „улучшающихъ“ помѣщиковъ, которые сидятъ у насъ на хребтѣ: и кто же изъ нихъ не скажетъ, что онъ „улучшаетъ“. Не надо ихъ!

— Не надо!

— Не надо!

И такія угрюмыя лица. Я вспомнилъ сосѣда: — „Пойдутъ на вилы“.

* * *

Заговорили съ другой стороны. „Конечно, увеличеніе земельнаго надѣла есть палліативъ, заплата до времени. Опять размножится народъ, и опять будетъ мало земли. Это только одна изъ мѣръ среди другихъ, болѣе важныхъ. Крестьянинъ долженъ перейти къ другимъ, болѣе куль-

турнымъ формамъ обработки земли, и тогда онъ получитъ достаточный урожай и съ маленькаго надѣла. Далѣе, долженъ быть устроенъ постоянный и свободный оттокъ отъ земли въ городъ, на фабрику, въ ученье, образованіе и разныя профессіи. Вообще, все дѣло зависитъ въ меньшей степени отъ увеличенія надѣла и въ большей степени отъ цѣлой совокупности общихъ условій въ положеніи страны, промышленности, торговли".

Заговорилъ тихій крестьянинъ съ небольшой проспѣй.

— Зависитъ болѣе всего отъ освобожденія личности крестьянина и просвѣщенія его, но и въ основѣ этого все-таки лежитъ увеличеніе куска обрабатываемой имъ земли. Самое поднятіе культуры начинается съ нѣкотораго уровня благосостоянія, послѣ достиженія этого уровня: ниже его—все падаетъ и всѣ падаютъ, не удерживаясь на томъ, что есть. Темнота нашей деревни отъ невыносимой бѣдноты ея. Когда слышатся совѣты крестьянину лучше обрабатывать свою землю, культурнѣе относиться къ своему труду, то невозможно слушать этого безъ невыносимой боли. Это напоминаетъ укоризны въ газетѣ „Слово" бывшаго министра земледѣлія, который писалъ тамъ, что крестьянинъ и на той же землѣ могъ бы, при болѣе культурномъ трудѣ, получить тройной противъ теперешняго урожай, и такое удивленіе, какое при разговорахъ о нуждѣ крестьянской высказывалъ „блаженной памяти" К. П. Побѣдоносцевъ, оберъ-прокуроръ Синода. Онъ спрашивалъ: „да отчего крестьяне на той же десятинѣ

земли не разводятъ малину? Не понимаю. Малина принимается по высокой цѣнѣ въ аптекѣ" (всеобщій смѣхъ). Крестьянину понравиться и негдѣ, и нельзя. Онъ весь связанъ путаницей произвола и полузаконія или беззаконія надъ нимъ всѣхъ этихъ полицейскихъ, и окружающихъ и верхнихъ, властей, и нанетъ на своей ½ десятинѣ или 1 десятинѣ, впроголодь, сытый только до завтра, со страхомъ за послѣзавтра, и безъ всякой возможности мысли на годъ впередъ, о чемъ-нибудь будущемъ, о чемъ-нибудь далекомъ. У него нѣтъ запаса земли, запаса рубля, и отъ этого нѣтъ запаса мысли. Никакого запаса. А культура начинается съ запаса. Не трепещу я за сегодняшній день и могу подумать о слѣдующемъ годѣ, какъ его оборнуть, куда пойти, что дѣлать. Нужда гонитъ крестьянина, и онъ не можетъ остановиться: а чтобы начать улучшеніе, надо остановиться и подумать. Отъ этого, я повторяю, кто заговариваетъ объ улучшенныхъ формахъ крестьянскаго труда на теперешнемъ надѣлѣ—преступникъ или ребенокъ, не знающій положенія вещей въ деревнѣ. Но чаще всего, это—равнодушіе, не желающее помочь крестьянству. Крестьяне должны совершенно прекратить эти разговоры съ господами объ улучшеніи ихъ крестьянской работы и сперва потребовать себѣ земли, — въ достаточномъ размѣрѣ земли и, уже только получивъ ее въ руки, могутъ перейти къ другимъ вопросамъ, тоже страшно важнымъ, и посовѣтоваться о нихъ съ господами: что имъ дѣлать со своею темнотою, какъ и чему учиться; что имъ дѣлать со своимъ

безправіемъ, которое сводится къ юридической, бытовой, экономической и всяческой недвижности. Сперва — благосостояніе, нѣкоторое, сносное, потомъ — просвѣщеніе и свобода, и уже на концѣ всего этого — культура, повышеніе качествъ и способовъ работы и обработки — не иначе!

И все какъ аксіомы!! — „Страшныя суевѣрія"?.. „Счастливыя суевѣрія"? Пусть разберется историкъ. Я передаю, что слышало ухо и что видѣлъ глазъ.

# Въ Таврическомъ дворцѣ.

Мнѣ кажется, для всѣхъ временъ и положеній остается вѣрною истина, что чѣмъ съ большаго числа точекъ будетъ брошенъ на предметъ свѣтъ, тѣмъ самый предметъ станетъ виднѣе. Ясно: мы переживаемъ зарожденіе парламентаризма въ Россіи, — эпоха несравненной важности! Сколько будетъ написано о ней со временемъ! Съ какою жадностью будутъ историки хватать каждый штрихъ, каждую черту дѣйствительности, подъ которою стоитъ помѣтка: „видѣлъ", „очевидецъ". Увы, вѣдь все это мелькаетъ, забудется; на завтра уже пойдутъ заволакивающія сплетни, „преданія", тенденціозныя окрашиванія въ ту и другую сторону. Нужно записывать или нужно описывать со всѣхъ сторонъ каждый фактъ въ такой ранней стадіи его, когда онъ еще не опредѣлился въ добрѣ и злѣ своемъ, не вызвалъ къ себѣ ни опредѣленнаго восторга, ни мотивированной ненависти.

Я пробрался въ Думу „фуксомъ"... Безобразившія правила, по которымъ надо „за три дня подать предсѣдателю заявленіе о желаніи посѣтить Думу", — и уже на этотъ третій день получить право явиться. Да, можетъ быть, у меня на

этотъ третій день не будетъ времени „посѣтить Думу", а вотъ есть случайно сейчасъ свободныхъ два часа, Дума — почти рядомъ съ моею квартирой, и, конечно, я иду безъ всякаго разрѣшенія, смотря смѣло въ глаза полицейскимъ офицерамъ въ воротахъ дворца и при входѣ въ самую Думу. Я человѣкъ ancien régime и мнѣ на законы всегда было „наплевать", какъ Коробочкѣ, Собакевичу „и прочимъ". Смѣлый взглядъ „прямо въ глаза начальству" (я по ancien régime каждаго полицейскаго почитаю своимъ начальствомъ, а въ конкѣ даже и кондуктора кошки) далъ мнѣ безпрекословный пропускъ въ воротахъ, но на крыльцѣ офицеръ сдѣлалъ движеніе и спросилъ: „билетъ"? Такъ какъ билетъ, конечно, полагается въ карманъ, то я и просунулъ руку въ карманъ, чего-то ища, чего тамъ не было. Но офицеръ, видя этотъ „взглядъ прямо въ глаза начальству" и что, очевидно, билетъ находится въ карманѣ, когда его тамъ ищутъ, сказалъ вѣжливо „пожалуйте", не дожидаясь болѣе очевидныхъ доказательствъ. Тѣснились тутъ, къ моему счастью, курсистки, уже, очевидно, безъ всякаго билета, и полицейскій офицеръ торопился задержать сихъ „злоковренныхъ", можетъ быть несшихъ въ карманѣ разные двусмысленные фитили и сардиночныя коробки съ „извѣстнымъ содержаніемъ". Словомъ, человѣкъ дѣйствительно „стараго порядка", я былъ пропущенъ, куда слѣдуетъ, и я возблагодарилъ провидѣніе, различающее добрыхъ и злыхъ и открывающее передъ добрыми „пути", а передъ злыми ихъ закрывающее...

Дивный залъ, многоколонный, длиннымъ-длиннымъ оваломъ, полонъ народа... Развѣ теперь умѣютъ дѣлать такіе залы? На умъ не придетъ, фантазіи не хватитъ! Для этого надо было быть „вѣку Екатерины и Потемкина", золотой норъ ихъ влюбленности и счастья... Очень хорошо, что для парламента не строили особаго зданія: построили бы что-нибудь нелѣпое и безвкусное, или въ утрированномъ „русскомъ стилѣ", съ „полотенцами" и коньками по фризамъ и крышѣ, или что-нибудь „вообще человѣческое", казенное, à la Аракчеевъ и à la Наполеонъ, среднее между ними и соединительное... Время Екатерины (и Елизаветы) вѣдь было временемъ чудеснѣйшаго русскаго Renaissance'a, самаго искренняго, самаго милаго, самаго наивнаго, когда Херасковъ написалъ цѣлый толстый томъ „Россіады" въ подражаніе Виргилію — писалъ, и вѣрилъ, и любилъ... Развѣ мы это можемъ? И вотъ этотъ же „русскій Ренессансъ" создалъ, параллельно „Россіадѣ", и дивный Таврическій дворецъ, не блещущій снаружи, но полный изумительнаго вкуса внутри... центръ этого вкуса — овальный залъ „кулуаровъ"... Въ Вѣнѣ я видѣлъ парламентъ: „кулуары" тоже очень хороши, но хуже нашихъ таврическихъ. Не довѣряя себѣ, я подошелъ къ І. І. Колышко, котораго зналъ по сотрудничеству въ „Гражданинѣ", гдѣ помѣщалъ статьи о бракѣ лѣтъ шесть назадъ.

— Конечно, конечно, здѣсь лучше! Я видѣлъ всѣ европейскіе парламенты, и ни одинъ такъ не хорошъ, какъ этотъ Таврическій дворецъ...

Я думаю, онъ забылъ о Вестминстерскомъ аббатствѣ, которое, по крайней мѣрѣ, по рисункамъ изумительно. Впрочемъ, готика ужасно обманчива на рисункахъ: на бумагѣ—великолѣпіе, въ дѣйствительности — „такъ себѣ". Какъ былъ я разочарованъ св. Стефаномъ въ Вѣнѣ...

Не забуду этого своего впечатлѣнія въ Вѣнскомъ парламентѣ: залъ по громадности, свѣту, внѣшнему (можетъ быть безвкусному?) великолѣпію подавляетъ; и по нему торопливо бѣгаютъ, не снявъ шляпъ (да! да!) какіе-то почти международные человѣчки, безъ физіономіи, безъ лица, безъ мысли, выраженія, только, очевидно, съ аппетитами. „Фу, какая гадость", промелькнуло у меня. „Царскій дворецъ и какіе-то приказчики". Это были депутаты и депутатики, финансисты, журналисты, репортеры, корреспонденты: въ общемъ походило все на пассажъ или гостиный дворъ.

— Нѣтъ величія!—мелькнуло у меня. Да и гдѣ оно есть въ нашу эпоху, когда и человѣкъ и исторія потеряли вообще „стиль". Художникъ тосковалъ во мнѣ.

Не скрою съ тоскою, что часть этого впечатлѣнія повторилась и здѣсь. Человѣкъ слишкомъ малъ, скроменъ, бѣденъ, некрасивъ сравнительно со зданіемъ, сравнительно съ окружающимъ архитектурнымъ великолѣпіемъ... Какіе дьяволы строили Нарсепонъ, Колизей? Неужели было соотвѣтствіе зданія и человѣка? Если такъ, — мы уже никогда не увидимъ такихъ людей, этихъ чудовищъ (Колизей) и ангеловъ (Нарсепонъ). Богъ съ ними. Въ Тавридѣ я бродилъ среди мѣщанъ, получив-

ныхъ въ обладаніе что-то царское и великолѣпное.

Но все же здѣсь было гораздо лучше, чѣмъ въ Вѣнѣ. Вотъ идетъ какой-то „купцишъ“; кожаный поясъ 1½ четверти шириною, оригинальный кафтанъ песочнаго цвѣта, съ цвѣтными тесемками на немъ. „Это хорошо! Это по крайней мѣрѣ сапогъ Наполеона“. Идутъ русскіе сюртуки (очень мало), пиджаки (очень много), но походка важная, не торопливая. „Это хорошо“. А вотъ и узенькая сутана католическаго священника, и даже епископа съ лиловымъ кушакомъ. „А, ваша эминенція“, поздоровался я въ духѣ. „Нѣтъ, это ничего“. И вотъ идутъ, какъ слоны, совершенно квадратные, точнѣе — кубическіе, татары изъ Самарканда или туземной Тавриды. „Это — совсѣмъ отлично: ксендзъ и мулла въ одномъ собраніи, съ правомъ того же голоса, съ правомъ рѣчи на всю Россію, и даже для сихъ торжественныхъ минутъ— на всю Европу!“ А вотъ и они, сѣрые мужички, наши кровные „Минин“ и „Митяи“, которые станутъ законодательствовать. „Отлично! совсѣмъ отлично! Чѣмъ диче, чѣмъ натуральнѣе — тѣмъ вѣрнѣе съ подлиннымъ“. И, натуралистъ въ сердцѣ, „школы Рѣпина“, я перебросился сочувствіемъ отъ дивнаго зданія, которое чаровало глазъ, къ его обитателямъ, которые занимали умъ. „Ну ихъ къ чорту, Хераскова и Потемкина: самъ я и не Херасковъ, и не Потемкинъ, а русскій обыватель, уважающій начальство, и мнѣ наши мужички, тоже уважающіе начальство, ближе и понятнѣе этихъ колоннъ, среди которыхъ амурничали боги

и царя". „Боги" — въ живописи великолѣпныхъ вазъ, оставленныхъ въ залахъ дворца.

— Ну, какъ парламентъ? Были въ депутатскомъ залѣ? Слышали прения? — спросилъ я у сотоварища по „Гражданину".

Его я не видѣлъ много лѣтъ и живо разговорился. Это былъ канунъ „историческаго дня", когда столкнулись министерство и Дума. День этотъ былъ тихій и немного скучноватый.

— Не ходите въ залъ. Провѣряютъ полномочія депутатовъ. Какъ парламентъ? У него дивный предсѣдатель. И благодаря его покою, знанію формъ, достоинству, я позволю сказать — великолѣпію, все идетъ отлично. Мы съ вами люди ancien régime... Можно ли было ожидать, что изъ „русскаго парламента" что-нибудь выйдетъ, кромѣ чепухи, кромѣ толчеи и болтовни, рисовки собою, бездѣлья и неумѣнья? Да и не объ однихъ насъ. О всякомъ народѣ можно сказать, что, начиная новое, онъ только ломаетъ и портитъ, смѣшитъ и смѣшитъ. Я изумленъ, что вижу передъ собою настоящій европейскій парламентъ, который пока держится съ такимъ достоинствомъ, какъ я не видѣлъ ни въ Берлинѣ, ни въ Парижѣ. Помилуйте, тамъ бываютъ драки, а ужъ объ ругани и говорить нечего; каждый день инцидентъ и почти скандалъ. Здѣсь вы этого не чувствуете въ воздухѣ, не слышите носомъ. Скандала нѣтъ, и нѣтъ его питающей почвы — міазмовъ. И вмѣстѣ это свободное и смѣлое учрежденіе, со своимъ „я". Гдѣ это видано, у насъ! у насъ! у которыхъ были только мертвыя комиссіи чиновниковъ, повто-

рюція за предсѣдателемъ его слова. Удивительно!

Я нарочно позволяю себѣ назвать имя говорившаго: потому что обратный взглядъ на Думу очень распространенъ, и я его допускаю же, признаю даже истиннымъ, но пусть предъ историкомъ ляжетъ и это другое впечатлѣніе очевидца, сказанное интимно, не для читателей и общества, и отъ человѣка дѣйствительно „ancien régime", какъ всѣ сотрудники „Гражданина". А г. Колышко былъ много лѣтъ по журналу правою рукою кн. Мещерскаго, хотя всегда со своею физіономіею, не вторившею редактору. Во всякомъ случаѣ — консерваторъ и государственникъ.

Что бы ни было въ залѣ депутатовъ, я рѣшилъ ее видѣть. Пробрался на хоры: они очень неномѣстительны, и по величинѣ залы — далеки (на заднемъ фасѣ) отъ предсѣдателя и отъ оратора. Депутаты видны или съ затылка, или въ профиль. Дѣйствительно, предсѣдатель излагалъ результаты провѣрки выборовъ. Было шумно, и я, пробывъ съ $^1/_4$ часа, вышелъ.

Говоръ, конечно, русскій; но нѣтъ-нѣтъ и мелькнетъ хохлацкій, жмудинскій (литовскій), еще чаще — польскій, съ ихъ несносными шипящими буквами, совсѣмъ рѣдко нѣмецкій или французскій (вѣрно, корреспонденты?). Поляки депутаты подходятъ къ ксендзамъ; сами ксендзы ни къ кому не подходятъ: католическая повадка (гордость). Одинъ ксендзъ совсѣмъ тощъ, другой потолще. Епископъ Роопъ имѣетъ хорошій видъ, только худоватъ, лицо доброе и задумчивое; видно — умный среднимъ умомъ

и немного больше средняго. Пишу для историка, конечно, съ ошибками, что видѣлъ и какъ показалось. Историку важно и „показалось", съ точной отмѣткой этого. Много помѣщиковъ, дворянъ, „баръ". Среди мужиковъ одинъ, очевидно, южнорусскій, такой красоты, роста, сложенія и оживленнаго прекраснаго лица, что хоть рисовать. Вотъ такой-то, при Елизаветѣ, и попалъ изъ пѣвчихъ въ вельможи. Вообще, если припомнить, что Сократъ и Алкивіадъ въ гимназіи и университетѣ не учились, и даже самъ Перикль „срѣзался бы на экзаменѣ на аттестатъ зрѣлости", то совершенно очевидно, что мужикъ изъ Тулы и Костромы, чуть-чуть поотесавшись и привыкнувъ къ новымъ понятіямъ, поворотамъ мысли, испытавъ новое обращеніе и новое къ себѣ отношеніе — въ годъ, два, даже въ нѣсколько мѣсяцевъ можетъ преобразоваться изъ „обывателя" и „сѣряка" въ гражданина, въ почти образованнаго, во всякомъ случаѣ въ умнаго и не роняющаго своего достоинства человѣка. Вчера „дядя Митяй", сегодня — Дмитрій Кочетовъ, а завтра — и полный „депутатъ перваго русскаго парламента". Въ немъ, въ палатѣ преній, въ кулуарахъ, въ разговорахъ, въ обращеніи всѣ эти мужики, очевидно, очень быстро подучиваются, полируются, „приходятъ въ разумъ"; и я изумленъ былъ на другой день, какъ открыто, со своимъ „колеромъ", говорятъ они передъ огромнымъ собраніемъ, передъ членами Госуд. Совѣта и министрами, — что очень трудно, требуетъ большихъ нервовъ и, казалось бы, навыка. Мужикъ очень посмѣлѣлъ; прибавлю твердо и со стороны точ-

пости безукоризненно: онъ пока нисколько не дерзокъ, не наглъ.

Если бы кто-нибудь, не бывшій вовсе въ парламентѣ, переспросилъ: „а Аладьинъ? Аникинъ? Жилкинъ?", то я отвѣчу, что это—недоразумѣніе: всѣ эти три депутата только „изъ рода крестьянскаго", но по одеждѣ, по манерамъ, уровню свѣдѣній и пр., и пр., и пр. это совершенно люди „нашей среды", книжной, журнальной и публицистической. Ни одной физіологической и бытовой ниточкой они не соединены съ крестьянствомъ, натуральнымъ, пашущимъ и деревенскимъ. Но о нихъ особо и ниже. Повторяю, не бывши въ Думѣ, о ней невозможно судить точно ни по какимъ отчетамъ, въ родѣ: „говорилъ депутатъ Аладьинъ, отъ крестьянской группы", и дальше—рѣчь.

Въ отчетахъ мы только слушаемъ Думу, и то безъ интонацій, страшно важныхъ. Это очень мало, это одна логика и грамматика. Нѣтъ колорита, цвѣтовъ, запаха. Ихъ нужно придти и услонть.

Напр., Родичевъ. Никто о немъ не написалъ самаго важнаго, что съ перваго же взгляда меня поразило незабываемою чертою. Въ лицо я уже зналъ его.

Всѣ сидятъ, слушаютъ говорящаго оратора. Полная тишина. Предсѣдатель величественъ... — Робко-робко, семеня безсильными ножками, пробирается темная фигура вправо; что-то извиняющееся и какъ бы запуганное; голова опущена. „Нѣтъ скромнѣе человѣка". Ничего нахальнаго, дерзкаго, адвокатскаго: едва ли даже что дворянское. Воплощенная тишина и испугъ чему-нибудь

помѣшать, пашумѣть. Кажется, онъ идетъ на цыпочкахъ: не видно, но такое впечатлѣніе отъ боязливой походки. Только уже въ кулуарахъ я разсмотрѣлъ, что онъ большого роста, фигура видная и внушительная. Но пока онъ пробирается между перилками, по проходу, въ семи саженяхъ отъ васъ, и весь, весь виденъ, — вы ошибочно приписываете ему маленькій ростъ отъ этой природной тишины и, кажется, слабости всего корпуса, тѣла. Онъ въ черномъ (люстриновомъ, шелковомъ?) пиджакѣ. Въ платьѣ — никакого покроя, точно дома или на работѣ. Ораторы продолжаютъ говорить, все внимательно и серьезно; прошелъ часъ, полтора, до перерыва еще осталось полтора часа; но опять пробирается та же фигура — назадъ, вонъ, вѣрно въ буфетъ съѣсть котлетку или такъ, выкурить папироску. Въ кулуарахъ онъ также движется взадъ и впередъ, тихо и безпокойно, никогда не „расхаживаясь", не „разглагольствуя", а точно торопясь куда-то въ уголокъ, гдѣ у него есть дѣло, когда на самомъ дѣлѣ никакого дѣла нѣтъ. Все обыкновенно, кромѣ лица и ногъ. Такой смѣшной, мелочной, неважной походочки нѣтъ (не ошибаюсь!) ни у одного человѣка въ громадной людной залѣ кулуаровъ: отсюда я и назвалъ походку безконечно слабой физіологически. Точно въ ногахъ у него не кровь, а парное молоко. Далѣе все обыкновенно до головы: откуда начинается опять же единственное въ кулуарахъ!! Человѣкъ этотъ физіологически, анатомически не уравновѣшенъ. Весь организмъ какъ будто страшно обезсиленъ, отдавъ всю свою энергію головѣ, не

любимъ ея частямъ, а вотъ этимъ горловымъ-глоточнымъ-челюстнымъ: гдѣ и вдохновеніе, умъ, и геній! Въ палатѣ, судя по этимъ частымъ входамъ и выходамъ, по вѣчнымъ опаздываніямъ послѣ звонка на ½ часа, онъ никого не слушаетъ и ничего опредѣленнаго объ этой палатѣ не думаетъ. Ни въ какую „тактику" и предварительные „уговоры" его, очевидно, нельзя вовлечь: онъ на все пассивно согласится и все обѣщавъ („условившись") — ничего не исполнитъ, забывъ, о чемъ была рѣчь. Онъ никого не слушаетъ, кромѣ себя, какихъ-то своихъ постоянныхъ внутреннихъ рѣчей, голосовъ, возраженій себѣ и мысленныхъ своихъ возраженій на возраженія. Словомъ, какъ у другого постоянно „играютъ мысли", у картежника мелькаютъ карты, во снѣ и на-яву, въ церкви, въ театрѣ, — такъ этотъ постоянно слышитъ рѣчи и произноситъ рѣчи, обрывки рѣчей, восклицанія, слова. Онъ постоянно живетъ въ нѣкоемъ внутреннемъ звонѣ, поэтическомъ, страстномъ, счастливомъ. Но говорятъ другіе, или идутъ и обсуждаются „дѣла": а, до этого ему нѣтъ дѣла! Изъ всего парламента Родичевъ, въ сущности, есть единственный „урожденный" для этого человѣкъ; прочіе присоединили парламентаризмъ къ біографіи, профессіи, къ занятіямъ, дѣятельности, наукѣ, убѣжденіямъ своимъ. Родичевъ внѣ парламента просто отсутствуетъ, онъ „родился въ парламентѣ", какъ у младенцевъ бываетъ, что вотъ иногда они рождаются „въ сорочкѣ". Ничего еще онъ не сдѣлалъ, можетъ быть и не сдѣлаетъ ничего; для „дѣла" и вообще-то онъ какъ-то не идетъ. Но если

судьба Думы пойдетъ очень зигзагами, если она будетъ необыкновенна, случатся въ жизни Думы моменты исключительной патетичности, важности, героизма или ужаса, даже преступности: Родичевъ во всѣ вотъ эти особенные моменты окажется на вершинѣ волны, произносящимъ какое-нибудь страшно-рѣшающее, страшно-отвѣтственное слово, и притомъ произносящимъ почти безсознательно, безразсудно и увлекательно! Разумомъ онъ не обдѣленъ: но разумомъ болѣе психологическимъ, нежели логическимъ. Въ „историческій день", когда Горемыкинъ произнесъ свою декларацію, онъ же говорилъ неодушевленно, вяло: это не одинъ я замѣтилъ, но это же впечатлѣніе мнѣ пришлось выслушать и отъ другихъ. И по всему вѣроятію отъ того, что ему уже заранѣе, какъ и другимъ депутатамъ, было извѣстно содержаніе деклараціи, и онъ говорилъ „какъ по заказу", а „заказа" эта патетическая и неуравновѣшенная натура не выноситъ. И тѣмъ не менѣе когда послѣ великолѣпной „государственной" рѣчи Набокова, отточенной, обдуманной, „служебной", — заговорилъ онъ, и заговорилъ, что „отвѣтственность министровъ должна быть написана не въ законахъ, что отвѣтственнымъ каждый человѣкъ долженъ чувствовать себя самъ въ своей совѣсти, и, видя себя не на мѣстѣ, вредящимъ, обязанъ не по приглашенію или понужденію, а по своей волѣ и самъ — уйти", то это было и прекрасно, и человѣчно, и вѣрно. Это — не логическая, а психологическая правда. Наконецъ, при правдѣ и очевидности - это оригинально и ново. Сколько у насъ генераловъ и

командующихъ флотами погубили дѣло, нанесли неисчислимыя раны родинѣ — только не имѣвъ „совѣсти учти во-время“. Совѣсть ихъ не пустила учти. Они остались. И проиграли не только ордена и чины свои (этого, къ безсовѣстности всего нашего строя, они не проигрывали), а „проиграли“ долю Россіи, армію, флоты, славу, богатство. Отъ привычки къ скромности, къ обыкновенной человѣческой скромности на службѣ, въ государственной дѣятельности; конечно, это ново и нужно, страшно важно! Двадцать минутъ, пока длилась рѣчь, я по крайней мѣрѣ поучался у этого тверского депутата, богатѣлъ отъ него умомъ, соображеніемъ: а я самъ написалъ десять книгъ и уже рѣдко чему учусь, т. е. что нахожу поучительнымъ. Родичевъ же и не профессоръ, и не ученый, и не писатель. И у другихъ ораторовъ въ Думѣ я не поучался, а говорилъ только: „вѣрно“, „не вѣрно“, но безъ всякаго пафоса. У Родичева патетически поучаешься, его — не одобряешь, а къ нему — присоединяешься, примыкаешь, становишься „на его сторону“: это и есть секретъ заражать. Хотя, я думаю, самъ онъ тоже „заражается“ моментами, обстоятельствами, никогда не предвидя, что именно по нему „чиркнетъ спичкою“—и онъ вспыхнетъ.

Всегда я считалъ физіологію матерью психологіи: и изъ депутатовъ замѣтилъ еще только одного, котораго нельзя не отличить и не замѣтить въ огромной толпѣ. Это проф. Петражицкій. Безумительно онъ схваченъ фотографомъ „выпрыгнувшимъ изъ экипажа и входящимъ на крыльцо Ду-

мы". Онъ, конечно, не зналъ, что его снимаютъ: и вышло божественно натурально, между прочимъ даже въ выраженіи лица, сколько можно разсмотрѣть на такомъ маломъ рисункѣ. Но вообще никакого другого рисунка не нужно, всякій иной портретъ будетъ хуже: Петражицкаго надо брать именно въ движеніи и торопливости. Зритель обратитъ вниманіе, что при большой утомленности — лицо задумчиво, молчаливо, серьезно, мысль погружена въ себя. Петражицкій страшно сосредоточенъ (я видѣлъ его въ Думѣ и раньше на кадетскомъ съѣздѣ по аграрному вопросу), но западною культурною сосредоточенностью, общечеловѣческою, безъ индивидуальныхъ оттѣнковъ, безъ меланхоліи, безъ поэзіи. Онъ весь проза, страшно умная проза. Ни капли вдохновенія. Впрочемъ, сперва о физіологіи, „матери думы". Въ громадной въ нѣсколько сотъ человѣкъ толпѣ вы замѣтите бѣленькую, маленькую, слабенькую фигуру, сгорбленную и серьезную, которой, къ удивленію, даютъ мѣсто и позволяютъ говорить: до того онъ похожъ на неоформировавшагося мальчика, гимназиста въ штатскомъ, и особенно эти бѣлыя подъ гребенку стриженые волосы, такіе бѣлые, какіе бываютъ только у мальчиковъ, которыхъ черезъ три мѣсяца въ четвертый стрижетъ мамаша!!! Фотографъ не могъ этого передать: а между тѣмъ это такъ отличительно, что нельзя не передать историку. Нѣтъ необыкновеннаго внутри, если нѣтъ чего-нибудь необыкновеннаго снаружи. „Петражицкій! Петражицкій!..." слышу я вотъ десять лѣтъ, отъ студентовъ, отъ людей, соприкосновен-

нихъ съ наукою и университетомъ,—„авторитетъ въ юриспруденціи". И я представлялъ себѣ солидную фигуру, въ креслѣ, съ книгой, съ большими волосами, въ очкахъ, „сорбеннаго" какъ раустъ. Увидѣлъ—и плюнулъ не на что. На улицѣ его не видѣлъ, а фотографъ снялъ его въ цилиндрѣ; въ собраніи онъ всегда въ сюртукѣ (почти всѣ въ пиджакахъ). Цилиндръ увеличиваетъ ростъ, а сюртукъ придаетъ солидность: и этому человѣку до того нужно и больше росту, и чего-нибудь мужского, баснстаго, октавнстаго: ибо какется и говорить-то онъ можетъ только дискантомъ. Безспорно онъ не чисто польскаго рода, а что-нибудь изъ бѣлорусовъ или изъ литвы (вѣрнѣе!), или изъ какого-нибудь мѣстнаго малоизвѣстнаго племени. Въ немъ мало даже славянскаго, широкаго, крупнаго, добраго: эта сухая бѣленькая фигурка,—я бы ее отнесъ къ корелкамъ или финнамъ: но у него совершенно правильное европейское лицо. Вѣроятнѣе всего, онъ въ дѣтствѣ страдалъ недоразвитостью, долгимъ рахитизмомъ, „бѣдной немочью": лицо его совершенно безкровное, бѣлое, съ приближеніемъ къ бумагѣ, безъ тѣни и безъ возможности румянца, краски. Вся фигура—глубоко безкрасочная: ни одного такого поляка я не видалъ, ни одного въ Варшавѣ, въ Россіи, нигдѣ! Этотъ громадный усъ, большой овалъ лица, широкій подбородокъ, тупость или наивность въ лицѣ, гордыя съ переходомъ въ нахальство манеры—у Петражицкаго все обратно! Между тѣмъ замѣтно по рѣчамъ, что онъ - полякъ, и юристъ-полякъ, крѣпко намѣревающійся

отстаивать „права отчизны“. Впрочемъ — „прп. Западнаго края“,—такъ какъ по безкровности. в немъ не предполагаешь „отчизны“, „родной земли“ и вообще романтизма. Для сравненія проведу параллель, и въ преувеличеніяхъ: еслибы Думъ выпалъ „патетическій моментъ“, и въ сторону минуса, катаклизма, то я могъ бы представить себѣ что Родичевъ кого-то „заколоть“, „пронзить“. Вообще тутъ — ударъ, секунда, и непремѣнно колющее оружіе. Романтикъ революціи! Петражицкій въ тѣхъ же условіяхъ и подъ тѣми же мотивами кого-то сталъ бы рѣзать, даже тупымъ ножомъ, наконецъ — косаремъ, но долго, фанатично и непремѣнно до смерти, самъ весь измучившись и почти умерев на мертвомъ (жертвѣ). Въ случаяхъ плюса, апоѳеоза — Родичевъ „увѣнчалъ“ бы, а Петражицкій назначилъ бы пенсію и далъ должность. Въ Петражицкомъ полное отсутствіе вдохновенія, пафоса, страсти: и огромное, громадное напряженіе воли, терпѣнія, что-то конающееся, роющееся, инженерное, въ области подземныхъ норъ, минъ, проходовъ. Ничего летучаго, птичьяго и пророческаго. Можетъ быть ему суждено играть роль въ будущемъ? Можетъ быть; хоть можетъ быть — и никакой роли. Смотря по тому, какъ пойдетъ Дума и съ Думою. На первый случай мои замѣтки будутъ полезны историку.

Апрѣль—Май.

Я уже давно не былъ въ Думѣ и замѣтки мои явились бы вовсе запоздалыми для политики, но я пишу для любопытныхъ историковъ. Увы, все пошло слишкомъ быстро, и теперешнее впечатлѣ-

ніе Таврическаго дворца, судя по газетамъ, уже далеко не то, какое онъ давалъ три недѣли назадъ. Увы, рокъ или безразсудство увлекаетъ обѣ стороны. Мнѣ, отъ природы мирному человѣку, представляется совершенно возможнымъ, чтобы Дума въ отвѣтъ на тронную рѣчь Государя, *оставивъ всю ту программу, которая есть въ немъ*, программу нужную и правильную (на мой взглядъ), предпослала программѣ тѣ нѣсколько психологическихъ, деликатныхъ, говорящихъ душѣ словъ, какія она обязана была сказать, *какъ наслѣдница русской литературы*, въ моментъ столь великій, трогательный, единственный! Декларація Думы не обязана была быть столь исключительно и сухо политической: это только по-европейски, а не по-русски. И нѣтъ сомнѣнія, что Государь, который не одною японскою войною и вообще всѣми „послѣдними событіями", но и собственнымъ характеромъ, весьма новымъ и неожиданнымъ на русскомъ престолѣ, явно предназначенъ былъ ввести конституціонный строй въ Россіи, проститься съ Россіей солдатской, грубой и безудержной въ самовластіи, — сдѣлалъ бы все самъ и радостно, на встрѣчу Думѣ, въ полной программѣ ея пожеланій. Видѣть Россію безъ „латифундій", почти крестьянскою, безъ крови съ обѣихъ сторонъ,- съ судомъ демократическимъ и свободнымъ, безъ земскихъ начальниковъ „и тому подобнаго": все, все, всѣ пожеланія Думы, всякіе завѣты русской литературы, свободу слова, собраній, реформу выборной системы и пр. и пр.; Государь явно далъ бы, ибо тутъ нѣтъ ничего затрагивающаго бытіе

Россіи и достоинство Государя. Все, все могла бы получить Дума, сказавъ нѣсколько словъ, сказавъ ихъ сердцу не послѣдняго русскаго человѣка — Царя ея. Чувствовалось, что таковъ психологическій моментъ. Но она (въ первыхъ словахъ г. Муромцева) рѣшилась „оберегать *прерогативы* конституціоннаго государя", совершенно по-европейски, по учебнику, безъ души, холодно и безучастно. И въ отвѣтъ получила безучастное, холодное, формальное -„*нѣтъ*". Было ли оно вынуждено? Нисколько. У Горемыкина также не нашлось души русской, чтобы сказать: „Попробуйте, поработайте!" Вѣдь программа Думы—только предначертаніе, планъ, листъ бумаги. „Резолюція, а не дѣйствительность", какъ потомъ догадались въ самой же Думѣ. Теперь чего на газетной бумагѣ не печатается, — и Россія стоитъ цѣлехонька. Очевидно, при „треніи" съ дѣйствительностью, при безднѣ затрудненій финансовыхъ, инородческихъ (ибо есть у племенъ „вкусъ" напр. къ виду собственности, мелкой или крупной, общинной или частной, наслѣдственной и не наслѣдственной) и пр., и пр., — программа Думы весьма бы поубавилась, сузилась. Такъ на кадетскихъ собраніяхъ и говорилось громко: „мы беремъ *самое широкое*, что можно взять, предначертать: а тамъ — *какъ покажетъ работа*". Вотъ это „какъ покажетъ работа, а *мы благословляемъ*" – и обязано было сказать министерство, правительство, если-бъ оно было съ душою, умомъ и предвидѣніемъ. Но ничего этого не оказалось, и все пошло слѣпо, стихійно... Все родилось изъ злобы, неуваженія оскорбленнаго, не-

умолимаго. Теперь это уже фактъ, теперь этого нельзя залить. Это и есть революція, которая теперь совершенно явна, тогда какъ еще мѣсяцъ назадъ она была въ скорлупкѣ и могла бы изъ нея не выклюнуться...

Но можетъ быть я ошибаюсь? Можетъ быть. Весьма возможно, что тогда какъ умъ человѣческій „гладко раскладываетъ" и все пытается умиротворить, — глубочайшіе, первичнѣйшіе токи исторіи требуютъ въ ея процессѣ великихъ перемѣнъ, хрупкости, ломкости, страданій, болн. Увы, почему-то *жертва* и *жертвоприношеніе* вездѣ играютъ роль, во всемъ великомъ! Я не вѣрю, совершенно, аналогіи русской революціи съ первою французскою по той азбучной причинѣ, что все живое, и въ томъ числѣ все историческое, ассиметрично, непропорціонально, ново, не конструетъ (безсознательно) прежнее: что нѣтъ не только *событій* тожественныхъ, но и *лицъ* тожественныхъ, героевъ, какъ, впрочемъ, и обыкновенныхъ людей; нѣтъ въ исторіи колонны и „колоннады", — одна, другая, третья... Поэтому и не будетъ у насъ конвента, террора,, Наполеона и пр., какъ предсказываютъ во множествѣ. Но я отвлекся отъ идеи жертвы. Если бы Людовикъ XVI и Мирабо поладили (это былъ замыселъ Мирабо) и революція „Богъ далъ минуту",—Франція пережила бы „эпоху великихъ реформъ", но исторія Европы не получила бы такого громаднаго обновленія всѣхъ своихъ внутреннихъ основъ, до перемѣны всей психологіи, всѣхъ идей, въ какомъ она, очевидно, нуждалась... Есть разсудительность и есть фатумъ. Кто знаетъ, гдѣ

больше ума? Повѣримъ въ умъ и божественный, сверхъ человѣческаго, и допустимъ, что если бы переговоры Горемыкина и Думы, при шомъ взятомъ тонѣ, повели къ „переработкѣ правительственнаго строя" и вообще новой „эпохѣ великихъ реформъ", то въ эти реформы не уложилось бы что-то такое, чего мы не знаемъ, и чему можетъ быть будетъ радоваться и Россія и Европа лѣтъ черезъ 15. Мы ничего не знаемъ. И я по крайней мѣрѣ устраняю свои личныя предвидѣнія.

* * *

Въ засѣданіи 13 мая мнѣ привелось впервые увидѣть говорящихъ крестьянъ. Они были страшно бѣдны, оборванные, прямо отъ земли. „Настоящіе", а не литературные мужики. Невозможно достаточно оцѣнить измѣнившееся положеніе вещей, въ силу котораго передъ Престоломъ, передъ сонмищемъ министровъ и государственныхъ сановниковъ, предъ множествомъ профессоровъ, помѣщиковъ, дворянъ, цѣлою интеллигенціею и, наконецъ, всѣхъ всей Россіи и цѣлой Европы заговорилъ „сѣрякъ", едва грамотный, который доселѣ ничего не видалъ, кромѣ неба и сохи, и его никто не слушалъ, кромѣ лошади и коровы, съ которыми онъ жилъ. На другой день представленія Думы въ Зимнемъ дворцѣ мнѣ привелось выслушать впечатлѣніе иностранцевъ:

— Это не депутаты, а звѣринецъ. Развѣ это люди, граждане?

Изъ русскихъ, конечно, ни единый этого не подумалъ. Мы мало замѣчаемъ, что русская литера-

тура, а за нею и русское общество, все, все — имѣетъ до того демократическій, народный, до извѣстной степени деревенскій складъ (по тенденціямъ), какъ этого рѣшительно не бывало въ исторіи, нѣтъ нигдѣ кромѣ, можетъ быть, древнихъ восточныхъ деспотій. Вся Европа, не исключая и отпрыска ея, Америки, неизмѣримо аристократичнѣе, барственнѣе. Вся она въ перчаткахъ, тогда какъ Россія, по замѣчанію Щедрина, ходитъ даже безъ штановъ („За рубежемъ"). Въ Таврическій дворецъ Россія пришла, въ дробяхъ собранія, рѣшительно „безъ штановъ". И замѣтилъ, что изъ ложи министровъ двое, уже вставшіе, чтобы уходить, остановились и прослушали до конца всю рѣчь „безштаннаго" мужичка, говорившаго о Самсонѣ.

Мужичку этому было лѣтъ 40-50 и еще въ золотую пору воскресныхъ школъ и Ушинскаго онъ выслушалъ разсказъ объ израильскомъ богоизбранномъ мужѣ и хитрой Далилѣ, длинныхъ остриженныхъ волосахъ, и заключительной драмѣ въ филистимскомъ капищѣ. Тогда онъ былъ бѣлокурымъ мальчикомъ, съ насѣкомыми въ длинныхъ волосахъ, намоченныхъ квасомъ вмѣсто помады. Всѣ знаютъ этихъ деревенскихъ мальчугановъ, нѣмыхъ, внимательныхъ и впечатлительныхъ. И вотъ дивнымъ Промысломъ Божіимъ мальчикъ этотъ „яко Самсонъ" приведенъ былъ въ Таврическій дворецъ съ изумляющими колоннами, такъ напоминающими филистимскія; приведенъ сюда съ правами, голосомъ, съ силою. Я наслаждался его рѣчью, какъ бы малороссійскою бандурою, и,

кажется, всѣ наслаждались. Онъ творилъ на каѳедрѣ менѣе политику и болѣе Шехеразаду, самъ какъ бы одинъ изъ безымянныхъ восточныхъ пѣвцовъ и эпиковъ. Политика сплелась со сказкою, и требованія мужа и гражданина — съ воспоминаніями школьника. Дикція его была растянутая, нѣвучая, вѣроятно, это говоръ которой-нибудь изъ губерній; а главное — очень уже онъ былъ погруженъ въ дивную израильскую исторію, съ ея чудесами и, перетаскивая ее на русскую дѣйствительность, какъ бы творилъ русскую эпопею, не то ветховавѣтную, не то современно-русскую, и самъ тронутъ былъ этою переработкою, какъ поэтъ поэмою,—говорилъ съ сильными интонаціями, точно тосковалъ и пѣлъ, болѣе очарованный самъ, нежели претендовавшій очаровывать. Онъ не доказывалъ, какъ всякій политикъ, свою тему: но онъ хотѣлъ привлечь любовь собранія къ крестьянину-Самсону, привлечь вниманіе собранія къ положенію этого Самсона:

— „И вотъ, господа спутаты, выкололи глаза этому Самсону (почти плачетъ). Куда же онъ пойдетъ (протягивая руки къ депутатамъ), когда уже нѣтъ у него длинныхъ волосъ, которые остригли ему, пока онъ спалъ? Какъ и нашъ невинный народъ, дремавшій въ темнотѣ, безъ свѣта... Руки связаны (у Самсона и русскаго народа)... „Новеди меня, мальчикъ (длинное вытянутое восклицаніе кверху), говоритъ онъ, въ главный храмъ филистимлянъ, на великое торжество ихъ, гдѣ ихъ князья сидятъ и издѣваются надъ народомъ Божіимъ". И повелъ его мальчикъ, такого исполина

маленькій мальчикъ, и поставилъ посреди храма... (голосъ страшно повысился, самая патетическая минута) и говоритъ онъ душѣ своей: „погибнемъ мы здѣсь, душа моя, и задавимъ недруговъ своихъ окаянныхъ, ослѣпившихъ, остригшихъ волосы и взявшихъ силу хитростью". Потому что она была хитрая, эта Далила. И потрясъ онъ столбы храма. И филистимляне погибли и съ ними душа Самсона... Господа онутаты: не такой же ли Самсонъ и народъ русскій и не то ли сдѣлано съ нимъ, пока онъ спалъ довѣрчиво на колѣняхъ хитрой женщины, этой нашей бюрократіи (слово, висящее въ воздухѣ Думы), господа онутаты... Но страшна минута, когда онъ потрясетъ столбы... Страшна минута, когда голодный народъ, темный, отчаявшійся, скажетъ: „душа моя! погибнемъ здѣсь, гдѣ веселятся враги наши! погибнемъ вмѣстѣ съ ними, чтобы и они не жили"...

Неуклюжій, косолапый, въ чемъ-то черномъ, онъ спустился внизъ. „Бандура" очаровала слушателей: и незамѣтно было какъ самому говорившему, такъ и всѣмъ слушателямъ, что онъ грозилъ и отчасти призывалъ къ разрушенію отечества. Это — и родникъ штунды: „у *нѣмцевъ* лучше: *будемъ* — нѣмцами!" А у этого: отечество велико, славно, но народъ въ немъ голодень и голоду этому не видно конца. придетъ народъ, — пѣть, сильнѣе: пусть идетъ народъ и погубляетъ все это великое, славное, отъ чего народу ни тепло, ни холодно, и, можетъ быть, будетъ теплѣе, когда этого величія не будетъ". Разинъ и пугачевщина, это политическая, государственная штунда же, рѣзнаю-

щая „разомъ все, отъ маковки до пятокъ“. Но можно ли Разина, жестокаго, кроваваго, огненаяящаго, умѣстить въ этого тихаго мужичка, очень чувствительнаго, очень романтическаго, который, кажется, болѣе способенъ качать люльку и сказывать пѣсни ребенку, чѣмъ заниматься государствовѣдѣніемъ?.. Разинъ и сантименталистъ? Очень совмѣстимо: вѣдь сантиментальность не есть доброта, не есть даже снисхожденіе. Сантиментальность — богатое воображеніе; и когда она входитъ въ политику, она отодвигаетъ мелкую дѣловитость текущаго дня и привываетъ къ далекому, великому, даже огненному. На то и мечтатели... Не люблю я аналогій, но замѣчу, что среди жестокихъ и грубыхъ монтаньяровъ Робеспьеръ былъ сантименталистъ и риторъ, съ букетомъ цвѣтовъ въ рукѣ (праздникъ „Высшаго Существа“), не любившій пьяныхъ компаній, а любившій проводить вечера въ одной дружеской семьѣ... Вѣдь и онъ читалъ „Новую Элоизу“... Большія картины увлекаютъ. И этого „бандуриста“ въ Думѣ я очень могу представить себѣ ведущимъ толпы къ очень рѣшительнымъ дѣйствіямъ... Въ этомъ смыслѣ онъ цѣльнѣе и цѣннѣе, напримѣръ, Родичева или Петражицкаго, которые говорятъ, политиканствуютъ и будутъ такъ „до скончанія свѣта“: такова натура... Тогда какъ у этого мужика-пѣвуна „натура“ живненная и практическая, дѣятельная и непремѣнная.

* * *

Важный вопросъ, о которомъ многіе думаютъ: „отчего рѣчи // мужичковъ“ такъ же либеральны

и даже радикальны, какъ всѣхъ прочихъ въ Думѣ? „Гдѣ *Св. Русь?*“— спрашиваютъ. Молчитъ она? Еще не высказалась? Или она такъ быстро передѣлалась за годъ-два въ рабочемъ и соціалъ-демократическомъ направленіи?

Мнѣ кажется, объясняется все очень просто тѣмъ, что „политика“ *(активная* политика) не входила никакъ въ идеалъ и систему „Св. Руси“, не была никакимъ камнемъ въ ней, ни которымъ угломъ. Тамъ было терпѣніе, страданіе и покорность. Въ политическомъ отношеніи совершенно не было никакого завѣта, даже никакой мысли и никакого представленія, кромѣ апостольскихъ зововъ: „нѣсть власть *аще не отъ Бога*“, „всякая душа *властямъ предержащимъ да повинуется*“ и „рабы, *повинуйте господъ своихъ*“: истины, принесенныя еще византійскими монахами, и на которыхъ воздвигалось все крѣпкое царство Москвы. Даже въ эпоху Грознаго народъ, бояре, духовенство не имѣло иного, кромѣ этихъ же текстовъ... Теперь, когда въ 1906 году пришло явно другое время, когда народъ и въ томъ числѣ мужикъ поставленъ явно предъ чѣмъ-то активнымъ, передъ задачами движенія, сопротивленія, гражданскаго творчества, государственнаго обновленія и проч., у него нѣтъ и не могло найтись другихъ рѣчей, кромѣ сословныхъ, напр. кадетскихъ, или соціальныхъ, даже революціонныхъ; какъ для москвича Петра I не было формъ жизни, труда, обновленія —иныхъ, чѣмъ западныхъ, шведскихъ, голландскихъ, нѣмецкихъ, французскихъ. Изъ ничего ничего не растетъ. И активной „православной политики“.

даже „старо-русской политики" не могло появиться, ибо въ самыхъ стихіяхъ православія и „доброй старой Руси" не содержалось и не содержится вообще никакихъ элементовъ бѣгучести, взрывчатости, раздраженія, критики, осужденія, гнѣва, вѣчныхъ началъ вѣчнаго историческаго движенія. Увы, наша исторія вѣчно стремилась *остановиться:* ея былое существо — точка, масса, но не линія, не полетъ. Всякое новое дѣло мы разсматривали какъ „безпокойство"... Такъ на это смотрѣли Илья Ильичъ Обломовъ, русское чиновничество („дѣло не медвѣдь — въ лѣсъ не убѣжитъ") и наконецъ „тишайшій Алексѣй Михайловичъ", идеалъ царей московскихъ, святой и прекрасный... Нельзя съ горечью не замѣтить, что и вся русская поэзія, начиная съ „Сельскаго кладбища" Жуковскаго (переводъ изъ Грея, но давній новый тонъ цѣлому направленію), была литературой грустящею, не героическою, не сопротивляющеюся, нѣсколько элегическою, нѣсколько даже меланхолическою. Увы, кроткое увяданіе и наконецъ надмогильная скорбь всегда были темою русскихъ стиховъ, повѣстей, романовъ. Не одинъ Обломовъ: сюда же относится и „непротивленіе злу" Толстого, не говоря объ идеалѣ всѣхъ русскихъ дѣвушекъ и юношей. Татьяны Лариной и Лизы Калитиной. Пассивность сдѣлалась для насъ почти религіей...

И вдругъ — Дума. „Иди и законодательствуй". „Иди и поправляй русскую державу послѣ японской войны"... Задача, какъ у Петра; и снова пришлось плыть „къ варягамъ". А у варяговъ теперь уже не Рюрикъ, Синеусъ и Труворъ, а Карлъ

Маркъ, Энгельсъ и еще кто-то. Пришлось черпать сырьемъ, что́ есть, черпать кадетамъ и наконецъ мужикамъ и даже наконецъ попамъ. Все полу-революціонныя рѣчи, какъ всюду теперь въ Европѣ, даже въ благоразумной Германіи; какъ въ XVIII вѣкѣ всюду были фижмы и парики. Всякія другія рѣчи, напр. у виговъ въ Англіи, у аграріевъ или юнкеровъ въ Германіи, у ультрамонтановъ во Франціи — суть какъ бы специфическіе, мѣстные говоры, вытекающіе изъ особенностей мѣстной исторіи, отвѣчающіе на краткія ихъ нѣмецкія или англійскія нужды, — которыхъ перенести на русскую почву рѣшительно невозможно! И было бы смѣшно пытаться это сдѣлать! Единственный универсально-европейскій жаргонъ есть либерализмъ, даже радикализмъ, немножко даже революція и соціализмъ. А, это всѣмъ понятно, — на Невѣ, Шпрее, Сенѣ, Темзѣ, даже понятно на Иртышѣ или Байкалѣ. Это всемірный говоръ, всюду понятный языкъ, какъ латынь въ средніе вѣка и французскій языкъ начиная съ Людовика XIV, Корнеля и Расина... Кадеты и усвоили этотъ „французскій языкъ“ политики, легкій, общепонятный, звучащій, пріятный, убѣдительный... Кадеты и Ладынинъ, Аникинъ, — даже наконецъ гр. Гейденъ, классическій образецъ русско-нѣмецкаго барина...

Кстати: вотъ бы кому на мѣсто Горемыкина! Когда онъ проходитъ, сѣдой, спокойный, деликатный, никому не наступающій на ногу и ни передъ кѣмъ не отступающій, исполненный извѣстнаго достоинства, внушающій даже недругамъ глубокое

почтеніе, вызывающій у каждаго желаніе по возможности согласиться съ нимъ, одобрить его, даже привѣтствовать его голосъ и поступокъ. — думаешь: „вотъ естественный министръ спокойно конституціоннаго уклада!"

Но, пока, таково расположеніе силъ въ Думѣ и вся психологія ея, что ему приходится только „вотировать съ другими"... Пока это симпатичное имя и благородная фигура безъ всякаго значенія...

„Революцію" въ Думѣ представляютъ Аникинъ, Жилкинъ, Аладьинъ и вообще „трудовая группа": и именно въ данные дни они выбираются на верхъ положенія, заливая рѣчами своими, формулами, предложеніями, поправками „соловьевъ" первыхъ дней Думы, Родичева, Набокова, Ковалевскаго и проч., дворянъ и профессоровъ. Точно 60-ые годы съ „Современникомъ" и Добролюбовымъ, которые „приколотили" Тургенева, заставивъ его издавать жалобныя, грустныя нѣсни... Скажу личное впечатлѣніе о нихъ, — и опять для историка.

Молодые, крѣпкаго прямого сложенія, точно никогда не хворали. Этой христіанской „хвори" — они о ней и понятія не имѣютъ. Не зачитаются „Сельскимъ кладбищемъ" Жуковскаго-Грея. Въ женѣ имъ нужна не Татьяна и Лиза, а „ядреная баба", безъ вздоховъ и сантиментальности. Безъ романа и воспоминаній. Безъ всякихъ грезъ. Вообще грезамечта, духовное кружево, всякій ароматъ, всякая нѣжность и сладость имъ непонятна, враждебна, смѣшна. „Заработная плата — и никакихъ" (т. е. ничего другого), какъ формулируютъ между рабочихъ, между простонародьемъ. Люди эти — крови

простонародья, но внѣшность и вся выправка ихъ и рѣчи уже ничего не имѣютъ общаго съ тѣмъ „бандуристомъ", который занѣлъ о Самсонѣ и явилъ сѣрую деревню. Ладынинъ чуть ли не всю свою зрѣлую жизнь провелъ въ Англіи, по крайней мѣрѣ много лѣтъ, и отсюда (какъ объясняли въ кулуарахъ) его аффектированная, не русская рѣчь, съ искусственно-придуманною дикціею, не натуральная à la Рѣпинъ... Мнѣ она не понравилась, и не понравилась (13 мая) другимъ, такъ что ему кричали, или кричали „довольно" (знакъ неодобренія, желанія остановить, нежеланія слушать). Напротивъ, — Аникинъ понравился, и просто голосомъ, натурою голоса. Нужно же наполнить звуками такой залъ, и безъ усилій, точно разговаривая, не крича... Бѣдные заучившіеся профессора, столько гнувшіе спину надъ книгами, явно пасуютъ передъ ними: просто -такой голосъ! Профессора вѣдь и вообще не нашими активны, а дворяне очень крахмалисты: и „трудовики" жестко тѣснятъ ихъ, тѣснятъ и оттѣсняютъ назадъ, какъ „кулаки" баръ изъ старыхъ „дворянскихъ гнѣздъ"... Культура есть нѣчто размягчающее и разрыхляющее, углубляющее и вмѣстѣ ослабляющее; это красота и вмѣстѣ начало болѣзни и нѣкая отдаленная смерть. „Культурный" Жуковскій и занѣлъ о „Сельскомъ кладбищѣ"... Вообще культура есть слабость и ослабленіе: объ этомъ и Иловайскій на каждой страницѣ подтверждаетъ: „такъ было съ печенѣгами", „такъ же съ греками", „съ римлянами"... съ русскими барами и, наконецъ, съ „кадетами" въ Думѣ, изъ бар и профессоровъ. „Трудовики"—свѣжій дичокъ:

и эта вотъ свѣжесть и „непорченность культурою" (въ смыслѣ Иловайскаго) такъ и брызжетъ изъ ихъ голоса, наполняющаго залъ, изъ краткихъ неодухотворенныхъ тезисовъ, жесткихъ требованій, прямого сильнаго стана, который, кажется, никогда не доживетъ до Фаустовской сгорбленности... Вообще съ ними входитъ въ политику нѣчто немудрое, сильное, побарывающее, ломающее, немирящееся, несговорчивое. Буквально „Добролюбовъ, садящійся на кресло Тургенева; точнѣе, — распоряжающійся выбросить кресло Тургенева, „отъ бабушки", съ узорчатой старинной рѣзьбой XVIII вѣка, и становящій на мѣсто его американскій гладкій табуретъ. „Такъ удобнѣе, мнѣ и человѣчеству". Кто не помнитъ, сколько боли и болей принесла эта литература 60-хъ годовъ... Тоже несутъ и принесутъ въ политику, въ конституціонный строй, и „трудовики". Боль въ исторіи, въ парламентской жизни начнется отъ нихъ. Съ „кадетами" ея никогда бы не началось. И тутъ вспоминается все, что я выше говорилъ о „жертвоприношеніяхъ". Увы, оно всегда распадается на жертву и жертвоприносителя: и если „старой Руси", терпѣливой, страдавшей и покорной, такой поэтической и столько воспѣтой, нужно въ самомъ дѣлѣ вовсе умереть, — то жертвоприноситель уже подходитъ...

А впрочемъ все темно. И кто что-нибудь видитъ впереди?..

* * *

Въ одинъ изъ перерывовъ засѣданія я сидѣлъ въ ложѣ журналистовъ. Теперь она очень боль-

шая, вмѣстимостью почти до 100 человѣкъ, — разумѣется, если стоять. Мало-мальски интересное засѣданіе, и она набивается биткомъ. Два задніе ряда ея отведены для представителей иностранной журналистики. Такъ какъ я не имѣлъ своего стула, то сѣлъ на свободное мѣсто этой „Presse étrangère", какъ значится на маленькомъ плакатѣ, прикрѣпленномъ къ крайнему стулу. Зала была почти пуста. По нашему русскому обычаю, хотя перерывъ былъ назначенъ всего на 15 минутъ, но никто не собирался въ залу, и самъ предсѣдатель не занималъ своего мѣста даже и по прошествіи получаса. Дума вообще страшно работаетъ, страшно устаетъ, и отдыхаетъ въ перерывы (назначаемые очень рѣдко, скупо) по нервамъ, а не по „заданному". Это какъ потный мужикъ; поднялся отъ земли, вытеръ лобъ, да и застоялся. Нѣтъ силушки нагнуться опять сейчасъ же. Даже присутствовать въ Думѣ въ качествѣ „гуляющаго", т. е. то слушающаго, то перестающаго слушать, безъ дѣла, безъ обязанностей,—и то тяжело. Каково же записывать, слѣдить пунктуально за рѣчами, отмѣчать въ нихъ ходъ мысли, ошибки, промахи, софизмы, опущенія въ фактахъ, которыя допускаютъ возраженіе, которыя требуютъ возраженія?.. Между тѣмъ, это и есть работа депутатовъ: споръ, полемика, „прені́я" и „рѣшеніе"... Невыносимо... Въ Думѣ сидятъ не только капитаны нашего государственнаго корабля, но и его кочегары.

Напримѣръ, это засѣданіе: оно началось въ 2 часа дня, перерывъ былъ данъ въ 5 часовъ, и

умеръ въ 7, когда второе отдѣленіе только еще началось. Я умеръ совершенно разбитый отъ усталости, а Муромцевъ еще сидѣлъ, и ему оставалось еще долго сидѣть.

Муромцевъ, Ковалевскій и Милюковъ — вожди „кадетской" партіи, всѣ москвичи, всѣ университанты, и хотя разныхъ возрастовъ, но одного университетскаго времени. Ихъ всѣхъ я помню въ аудиторіяхъ Московскаго университета 80 –81-го года. Милюковъ кончалъ курсъ на филологическомъ факультетѣ, — молодой, безбородый, худощавый студентъ, недурной товарищъ, хотя безъ специальныхъ студенческихъ исторій какъ по части политики, такъ и кутежей. Онъ отлично занимался, зналъ хорошо языки, былъ очень начитанъ во всеобщей исторіи, отмѣченный проф. Вл. И. Герье и готовясь вступить на линію профессуры. Но о Вл. И. Герье, строгомъ, взыскательномъ профессорѣ и превосходномъ ученомъ, въ то время разсказывался анекдотъ, что когда онъ проходитъ мимо чайнаго стола, то отъ его близости сливки въ молочникѣ скисаются. Талантливый и „съ душкомъ" студентъ, студентъ со своимъ „я" и, можетъ быть, не безъ самолюбія, не безъ отдаленнаго честолюбія, - развопелся съ гордымъ, формальнымъ и сухимъ ученымъ, деспотичнымъ и властительнымъ. Все же видно было, что свое „я" господствовало въ наукѣ: ибо иначе, имѣй онъ страстное влеченіе ко всеобщей исторіи,—онъ, конечно, ради науки примирился бы съ шероховатостями въ личномъ характерѣ руководителя, который оставался образованнѣйшимъ профессоромъ. То-

варищи узнали, однако, что Милюковъ переходитъ отъ всеобщей исторіи къ русской, т.-е. въ смыслѣ пути профессуры, искапія каѳедры. Онъ перешелъ къ В. О. Ключевскому. Кто знаетъ науку и совершенно разный характеръ интереса русской исторіи и интереса всеобщей исторіи, тотъ пойметъ, сколько надо было „корабле́й сжечь" Милюкову, чтобы рѣшиться на этотъ переходъ отъ одной каѳедры къ другой, только повидимому близкой, уже въ моментъ окончанія университетскаго курса. Пожалуй, тутъ сказался въ Милюковѣ тотъ „душокъ", страстное свое „я", умственная и всяческая неуступчивость, безъ которыхъ не бываетъ политика, невозможенъ политикъ. Труды по русской исторіи Милюкова - высокаго качества; но они не достигаютъ и половины уровня той высоты, на которой стоятъ труды его наставника, любимѣйшаго профессора Москвы В. О. Ключевскаго. Зато Милюковъ выросъ въ первоклассную величину, какъ двигатель общественнаго и политическаго сознанія. Именно—качества практическаго двигателя въ немъ оказались первенствующими. Онъ самъ, какъ фигура, вошелъ въ исторію: роль, конечно, совершенно другая, чѣмъ тихаго кабинетнаго ученаго, проводящаго дни свои среди пыльныхъ хартій.

Милюковъ не членъ Думы только по внѣшней причинѣ: выпущенный изъ политическаго заключенія, онъ сейчасъ же снова попалъ подъ слѣдствіе и судъ за нѣкоторыя рѣчи и агитацію и потерялъ права выставить свою кандидатуру. Но онъ негласный вождь, и многіе говорятъ—самый влія-

тельный вождь главной думской партіи, конституціонно-демократической, до Думы, теперь внѣ Думы и, слѣдовательно, въ самой Думѣ. Безъ сомнѣнія, его роль въ будущемъ еще длинная и большая; о немъ услышать, его увидять: какъ, въ какихъ положеніяхъ, съ какими рѣшеніями, - никто не знаетъ. Вначалѣ онъ былъ крайнимъ лѣвымъ своей партіи, — почти на границѣ революціоннаго. Тюрьма оттачиваетъ зубы. Онъ былъ страстенъ, пылокъ, разрушителенъ. Нельзя забыть фразы, сказанной имъ на одномъ общественномъ собраніи сейчасъ же по выпускѣ изъ тюрьмы, еще до октябрьскаго манифеста: „Если бы бурное движеніе общественное сколько-нибудь утишилось отъ того, что правительство полуоткрываетъ иногда милостиво свои тюрьмы, и вотъ я среди васъ,— я предпочитаю сѣсть опять въ тюрьму, только чтобы общество не останавливалось на пути, на который оно выступило" (фразировка иная, но мысль — эта). Это буря. Теперь, когда раскачка корабля не только налицо, но и грозитъ перейти въ опасность, въ крушеніе и его, и груза, и пассажировъ, Милюковъ дѣлаетъ всѣ напряженія воли и ума, чтобы удержать руль въ курсѣ конституціонно-демократической партіи, не давъ броситься судну влѣво... Тутъ сказалась въ немъ наука, культура, отвращеніе къ вандализму. Хороши арабы, когда они шли за Пророкомъ, но не тогда, когда они жгли Александрійскую библіотеку.

Муромцевъ въ томъ же 1880—81 году читалъ въ Московскомъ университетѣ римское право. Я бывалъ на лекціяхъ у него: онъ читалъ очень

хорошо, хотя безъ выдающагося блеска, безъ „ничего" въ себѣ, безъ характернаго. Умный, тогда еще совсѣмъ молодой, красавецъ-брюнетъ, хорошаго роста, сложенія, манеръ, всегда серьезный. Нѣтъ человѣка менѣе геніальнаго, чѣмъ онъ, и нѣтъ человѣка, къ которому понятія „неумнаго", или „безтактнаго", или „ошибочнаго" или бы менѣе, чѣмъ къ нему. Онъ былъ тою умѣренною, солидною формою ума, характера и красоты, на которою невольно любуешься и за которою никогда не слѣдуешь. Такимъ онъ, въ сущности, остался и сейчасъ: удивительно, какъ за 25 лѣтъ люди, въ сущности, нисколько не измѣнились. Величественная пассивность его содѣлываетъ изъ него идеальнаго предсѣдателя преній: безъ него парламентъ просто не смогъ бы, не сумѣлъ бы такъ начаться, какъ началея. Это — врожденный, ничего не дѣлающій баринъ, но умный, но зоркій, но наблюдательный, безстрастный, холодный, безгранично терпѣливый. Самыя черты его лица, имѣя только въ себѣ общечеловѣческое и европейское, не имѣя ни чуточки русскаго, чего-нибудь „этакаго" въ носѣ, въ губахъ, чего-нибудь характернаго въ улыбкѣ, во взглядѣ, — удивительно подходятъ къ роли и смыслу предсѣдательствованія. „Родятся же этакія... безъ плюса и безъ минуса... безъ пороха и мороза",—думаешь, глядя на него. Мнѣ кажется, онъ такъ и родился уже —солиднымъ мужемъ, солиднымъ гражданиномъ, солиднымъ ученымъ и именно по каѳедрѣ римскаго права, науки умной и безпристрастной. И нельзя, невозможно представить его ребенкомъ, шалуномъ,

школьникомъ, студентомъ, клакеромъ въ театрѣ, энтузіастомъ около рампы, женихомъ, политическимъ бойцомъ. Сидѣть... И какъ хорошо сидѣть!.. Единственный, такъ удачно выливнійся у природы, даръ возсѣданія... Если и не Зевсъ, то тронъ Зевса, или, точнѣе, что-то сливнееся изъ трона и того мѣста, которое сидитъ на немъ...

Теперь онъ посѣдѣлъ и, кажется, еще болѣе посолидѣлъ... Роль его, работа его въ Думѣ — прямо страшная. Восемь часовъ молчанія при непрерывномъ, ни на секунду не обрывающемся вниманіи къ каждому слову, какое говорится съ каѳедры, и ко всему думскому залу, ко всему, что дѣлается депутатами и публикой. „Тяжела ты, шапка Мономаха", — и въ смыслѣ красы, и въ смыслѣ, особенно, тяжести. Попробуйте, испытайте, вооружась биноклемъ и нотами, пойти въ оперу и прослушать четыре часа пѣвцовъ, не спуская глазъ съ игры ихъ и не пропуская ухомъ ни одной взятой ими ноты. Четыре часа, — а надо восемь; одинъ день, — а надо мѣсяцъ! И вотъ уже два мѣсяца протекло!! Ужасно... И, главное, безъ активнаго дѣйствія... Не знаю, сколько онъ получаетъ жалованья: но невозможно за такое единственное сочетаніе подходящихъ способностей и спеціальнаго труда платить менѣе 50 - 40 тысячъ въ годъ. И еще разъ напомню: Дума прямо *не удалась бы* такъ безъ него. И нельзя не отдать чести „кадетамъ", что они такъ зорко выглядѣли его, поставили „человѣка на мѣсто". Когда я, недѣли за три до открытія парламента, осматривалъ залъ депутатовъ въ Таврическомъ дворцѣ,—и, въ

частности, эту громадную, какую-то слоновую предсѣдательскую каѳедру, то уже вокругъ говорили (приблизительно „кадеты" же изъ публики): „Предсѣдатель уже рѣшенъ—будетъ Муромцевъ". И это такъ распространилось по городу, что, когда впервые, 27-го апрѣля, депутаты собрались въ Думѣ и должны были сейчасъ же выбрать предсѣдателя, то въ огромной уличной толпѣ, даже простонародье, но изъ „сознательныхъ", спрашивало: „Вѣдь выбранъ Муромцевъ?" И, услышавъ „да", удовлетворенное отходило.

Третій изъ москвичей 80—81 гг. - - Максимъ М. Ковалевскій. И онъ поумирѣлъ сейчасъ, хотя и свободолюбивъ: а какъ профессоръ Московскаго университета,—онъ былъ „запѣвалой" своего времени въ смыслѣ оппозиціи правительству, и даже, вообще, всякому начальству сплошь. Съ чудными задумчивыми черными глазами, исполинской фигурой, необъятной толщины, онъ былъ любимцемъ студентовъ и барынь (на диспутахъ), всегда имѣвшій что-то интимное между собою и публикой. Изъ него, при удачѣ, обѣщалъ бы быть Мирабо. Но онъ гораздо тише и вообще къ возрасту, къ старости -стихъ. Но въ тѣ годы онъ бурлилъ протестомъ и громовымъ голосомъ и вѣчно возбуждающимъ вліяніемъ, какое имѣлъ на студентовъ и изъ-за котораго начальство ужасно безпокоилось имъ. Между тѣмъ, онъ просто былъ только незаискивающій, нельстивъ, нешизкопоклоненъ въ отношеніи всемогущихъ „ихъ высокопревосходительствъ",—и былъ только свободенъ хорошею европейскою свободою, былъ гражданиномъ „по-

рядочнаго" отечества, — безъ всего революціоннаго. Но такъ какъ у насъ „порядочнаго" на верхахъ не было, то его и гнали, придирались къ нему по каѳедрѣ, слѣдили за лекціями и вообще мучили. На что онъ брыкался, — не больно, но свободно и насмѣшливо.

Кажется, и г. Щепкинъ, изъ московскихъ студентовъ 80—81 года, нервный, наивный, отличный товарищъ, хорошо шедшій по наукамъ. Но, можетъ быть, я и ошибаюсь: можетъ быть, тутъ только однофамильность и единство избранной науки — всеобщей исторіи. Но, во всякомъ случаѣ, вотъ эти Муромцевъ и Ковалевскій, оба „претерпѣвая" мелочные уколы жалкаго тогдашняго попечителя учебнаго округа и вообще министерства, думали ли они когда встрѣтиться въ залѣ депутатовъ перваго русскаго парламента, оба — вождями его, во всякомъ случаѣ, видными, значащими, дѣятельными фигурами русскаго конституціонализма?.. И когда я украдкой (это не дозволено) навожу бинокль на Муромцева и, переводя его потомъ внизъ, къ депутатскимъ скамьямъ, останавливаю его на Ковалевскомъ, посѣдѣвшемъ, — то какъ сейчасъ передо мною оба они сидятъ въ Москвѣ на каѳедрахъ, въ тѣсненькихъ аудиторіяхъ и читаютъ лекціи студентамъ, съ лаской и игрой (у Ковалевскаго) — и я точно вижу сонъ, и бывшее въ Москвѣ мнѣ кажется дѣйствительнымъ, а сущее въ Петербургѣ кажется призракомъ, наважденіемъ... До того несбыточно: вѣдь въ 80-мъ году и подумать нельзя было, что будетъ у насъ парламентъ, да не жалкій, кой-какой, „насколько позволено", а

„самъ“ позволившій себя, крикливый, требовательный, бушующій... Боже, сколько перемѣнъ, какія перемѣны!

Если взять и Милюкова со Щепкинымъ, то Москва 25 лѣтъ назадъ сказалась теперь въ Думѣ хорошо, вѣско; Москва, и именно Московскій университетъ, краса и сила города. Этому нельзя очень не порадоваться. И дворянство московское, и купечество московское, столь, казалось бы, увѣсистое сравнительно съ небогатымъ, скромнымъ, забиваемымъ со стороны начальства университетомъ, — теперь, когда дѣло дошло до „исторической минуты“, отодвинулись передъ нимъ назадъ. Что такое дворянство московское въ Думѣ?—Ничего. — Купечество? — Ничего же. — А университетъ? — Онъ говоритъ, рѣшаетъ, думаетъ; онъ — гражданинъ будущаго, законодатель уже сейчасъ, онъ — братъ и въ братствѣ съ цѣлою Россіей. Вотъ вамъ и „Gaudeamus“, за которое щипало начальство, и милая студенческая „Дубинушка“ которая вовсе „была запрещена“... Все — ея „душокъ“, все—этотъ вольнолюбивый „душокъ“...

Какъ я отвлекся, увлекшись воспоминаніями... Но ужъ, вѣрно, доскажу душевныя впечатлѣнія этого дня потомъ...

* * *

Когда депутатъ Щепкинъ, при вопросѣ о распредѣленіи сидѣній въ думскомъ залѣ, выразился „о глубокомъ уваженіи конст.-демокр. партіи къ трудовой группѣ“, то „трудовики“ Аникинъ и Жилкинъ отвѣтили:

Мы нуждаемся не въ уваженіи вашемъ, а въ удобныхъ мѣстахъ.

Инцидентъ разгорѣлся, и другой членъ „группы“, Диденко, рѣзко высказалъ, что вся партія, къ которой онъ принадлежитъ, „ненавидитъ кадетовъ“. Когда поднялся шумъ,—онъ поправился, оговоривъ, что это его только „личное мнѣніе“. Но въ присутствіи многочисленныхъ „трудовиковъ“ такое слово едва ли вырвалось бы, будь оно дѣйствительно только „личнымъ мнѣніемъ“. Вѣжливость вѣжливостью, а истина—истиною.

Увы, горькая истина нашего политическаго положенія заключается въ *странномъ запозданіи* парламентаризма, конституціонализма у насъ, въ томъ, что еще со временъ Герцена и Бакунина, т. е. начала царствованія Александра II, русское общество заняло позицію *гораздо лѣвѣе парламентаризма*. Кто Герцена не читалъ, кто имъ не увлекался? Кто порицалъ и особенно очень порицалъ Бакунина? А уже онъ былъ анархистъ съ бомбами, съ вооруженнымъ возстаніемъ, съ истребленіемъ всякаго соціальнаго строя, правильнѣе—гражданственности, гораздо лѣвѣе мирныхъ соціалъ-демократовъ. И Бакунинъ, и даже Герценъ о „буржуазномъ парламентаризмѣ“ Европы высказывали буквально то, что грубо высказали „трудовики“. И оба, даже утонченный Герценъ, хлестали его въ словахъ еще болѣе рѣзкихъ, пренебрежительныхъ. Вотъ отчего *исторически*, провиденціально, вынужденно *до неумолимости* „кадеты“ занимаютъ въ Думѣ положеніе не „парламентаріевъ-буржуа“, но парламентаріевъ-революю-

ціонеровъ, *почти* революціонеровъ. И вотъ за это „почти“ съ нерѣшительностью и можно только ухватиться, остается ухватиться, чтобы не сорвалось все... Положеніе, которое очень немногіе оцѣниваютъ.

Шуточками тутъ нечего отшучиваться; а вы спросите изъ своихъ знакомыхъ, или припомните за всю вашу жизнь, много ли встрѣтили вы такихъ людей, которые ярко и гнѣвно порицали бы „Полное собраніе сочиненій“ Герцена. Этотъ вопросъ рѣшаетъ все. Всѣ „за Герцена“, кто только держитъ книгу, чему-нибудь учился, кромѣ исключительныхъ, рѣдкихъ лицъ, въ родѣ „дворянина Павлова“ (что это, не миѳъ?). „Всѣ“, „почти всѣ“— *за* Герцена, т. е. лѣвѣе самой либеральной буржуазіи, самаго свободнаго конституціонализма; всѣ „*за* революцію“ на соціальной подкладкѣ: ибо именно *за нее* стоялъ Герценъ. Литературное вліяніе что нибудь значитъ! Кто противъ Тургенева? *Никто!* Герценъ такая же большая фигура въ нашей литературѣ, какъ Тургеневъ, и авторитетъ его, вліяніе, передаваясь изъ литературы въ политику, ибо совмѣщены въ одномъ лицѣ, также непобѣдимъ и неоспоримъ для политическихъ возраженій *обыкновенныхъ умовъ*, какъ если бы кто сталъ отстаивать Хераскова противъ Тургенева. „Хераскова мы не читаемъ, а Тургенева читаемъ: Герцена читали всѣ и восхищались, а Каткова читали мало, читали тайные совѣтники; а кто изъ гражданъ—то негодовали и возмущались“. И это литературное вліяніе, эти „школы литературныя“, коихъ преемниками сдѣлались школы политиче-

скія — рѣшаетъ все, *непремѣнно* рѣшаетъ, въ теперешнемъ 1906 году.

На сторонѣ „государственной осторожности" и въ частности „крѣпкой собственности" стоятъ Катковъ и Леонтьевъ, „Русскій Вѣстникъ", „Московск. Вѣдом.", „Гражданинъ". *Такъ было уже много лѣтъ!* Это хуже, чѣмъ tabula rasa, вреднѣе, чѣмъ еслибы ихъ никто не защищалъ. На сторонѣ „молодой мечтательности" и „розовыхъ надеждъ" стоитъ не одинъ Герценъ, стоитъ и Тургеневъ, стоитъ вся „свободная русская литература", отъ Чернышевскаго до его антагонистовъ, и какихъ антагонистовъ! — Тургенева и Достоевскаго. Всѣ „мечтали", — и тѣмъ болѣе, чѣмъ дѣйствительность далѣе угнетала. Никто революціонеровъ *прямо* не рѣшался осудить, — какъ вотъ и Дума, когда нужно было сказать прямое слово объ убійствахъ! Молчаніе Думы, отказъ Думы отъ прямого слова — это традиція всей русской литературы, почти всей; традиція русскаго общества, которое, „точно набравъ въ ротъ воды", молчитъ и молчало всегда, что бы ни дѣлали революціонеры.

Этимъ „почти" революціоннымъ характеромъ своимъ, революціоннымъ „безъ кончика", — Дума добилась результатовъ, по-истинѣ неожиданныхъ, которымъ глаза не вѣрятъ:

„28-го мая состоялся митингъ среди рабочихъ Старорѣчкинскаго завода. Присутствовало болѣе 2.000 человѣкъ. Главнымъ вопросомъ обсужденія на митингѣ явилось отношеніе соціаль-демократической рабочей партіи къ образу дѣйствій Го-

сударственной Думы. *После многихъ горячихъ рѣчей*, посвященныхъ этому вопросу, собраніе *почти единогласно* приняло резолюцію о поддержкѣ Думы всѣми силами и средствами до тѣхъ поръ, пока она не позволитъ себѣ грубаго нарушенія интересовъ пролетаріата. Кромѣ того собраніе постановило присоединиться къ общему требованію отмѣны смертной казни, а также просить администрацію завода объ удаленіи крайнихъ правыхъ элементовъ, нарушающихъ нормальный ходъ заводской жизни".

„29-го мая на Васильевскомъ островѣ въ частномъ помѣщеніи состоялось собраніе представителей и партійныхъ работниковъ всѣхъ организацій, входящихъ въ составъ соціаль-демократической рабочей партіи. Собраніе было организовано съ цѣлью уладить обострившійся на-днихъ конфликтъ большевиковъ съ меньшевиками, а также выработать общіе тактическіе пріемы и лозунги. *После продолжительныхъ преній* меньшевики согласились уступить своимъ противникамъ въ томъ, что Государственная Дума пока должна считаться выразительницею народнаго голоса. По словамъ большевиковъ, полный бойкотъ Думы въ данный политическій моментъ заставилъ бы всю соціаль-демократію занять положеніе крайней правой партіи: бойкотируя Государственную Думу, которая въ свою очередь бойкотируетъ кабинетъ Горемыкина, соціаль-демократія при помощи этого маневра стала бы на сторону кабинета, а это совершенно не въ ея видахъ". И пр.

Вотъ и плодъ, огромный *примирительный плодъ умиротворительный плодъ* „грубостей", наговоренныхъ министрамъ 13 мая. Въ теченіе двухъ недѣль эти „грубости", отъ которыхъ вѣдь никто не сгорѣлъ, не потонулъ, не умеръ, — переработались въ фактъ общественной психологіи, о которомъ невозможно было мечтать мѣсяцъ назадъ который недостижимъ былъ для гигантской по насилію и для египетски-изнурительной кропотливой работы такихъ министровъ, какъ Синягинъ и Плеве. *Соціалъ-демократія кладетъ оружіе!* Сколько бы за это дали Плеве, Синягинъ? Но перемѣнились условія русской жизни, стало дѣйствительно свободнѣе.—министрамъ, на отказъ въ реформахъ, говорятъ: „вонъ", „въ отставку!" и ничего. Ну, вѣдь никто отъ этого въ самомъ дѣлѣ не умеръ. А слишкомъ очевидно, что если соціалъ-демократія въ самомъ дѣлѣ положитъ оружіе, начнетъ свою духовную внутреннюю переработку, почувствуетъ хоть какой-нибудь миръ въ сердцѣ относительно „существующаго строя",—то сохранится слишкомъ много жизней. Этого не нужно объяснить... Это поважнѣе неудовольствія гг. министровъ. И соціалъ-демократія вѣдь устала; и у нея кости поломаны: пусть ей покажутъ возможное лучшее, покажутъ, что отнынѣ она можетъ добиваться справедливости словомъ, мыслью, убѣжденіями — и она прибѣгнетъ къ этому духовному оружію вмѣсто физическаго...

Тутъ даже нужно поблагодарить судьбу, что въ Думу вошли и „трудовики", безъ присутствія которыхъ въ парламентѣ едва ли бы соціалъ-де-

мократія постановила свои резолюціи. Но она постановила ихъ *о Думѣ*, слѣдовательно и *о кадетахъ*, и *о гр. Гейденѣ* „правомъ", все уже сдѣлалось и теперь органически перерабатывается, какъ и гр. Гейденъ высказался, прямо и рѣзко, за обширную аграрную реформу. Умиротвореніе страны такъ огромно и явно, что не видѣть его можетъ только слѣпой.

И отвѣтно, справедливыя и неполнимыя требованія соціалъ-демократіи Дума должна всѣми силами постараться выполнить; или, какъ говорили кадеты: „мы питаемъ глубокое уваженіе къ трудовой группѣ парламента". Это должно сохраниться всегда, чистосердечно, серьезно, какія бы грубости „трудовики" ни говорили. Грубости „на воротъ не виснутъ", а историческая заслуга остается. Эта заслуга — умиротвореніе. Т.-е.? Удовлетвореніе *алканія сердецъ*. Необъятная сила соціалъ-демократіи, не подчиненная пушкамъ, теминцамъ, сильнѣйшая Плеве и Сипягина, лежитъ въ присутствіи у нея въ сердцѣ нѣкоего „романа", той „мечты", которой покорились Тургеневъ и Герценъ, коею жилъ Бакунинъ; а безъ „мечты", „романа" вообще не живетъ никакая исторія, ею былъ полонъ средневѣковый католицизмъ, ею жилъ Данте, всѣ ею живемъ, безъ нея — задохлись бы: и въ нашъ фазисъ исторіи, дѣйствительно „буржуазный", то есть имущественный, „мечта" и могла вылиться только въ ту форму, которая именуется „соціалъ-демократіей". По вѣку — и мечта. Но мечта всегда есть продильное, возбуждающее начало, и вотъ отчего „товарищи" ли, „трудовики" ли, какъ всѣ согла-

ваются и видятъ, суть самые дѣятельные, быстрые, рѣшительные члены Думы, улицы, общества. Все, говорю я, теперь органически сцѣпилось и перерабатывается: и Думѣ нечего чураться „трудовиковъ", а принять ихъ въ свой сокъ *не какъ программу* (хотя отчего бы, частью, и не какъ программу, въ предѣлахъ *исполнимости?*), *а бродильное и возбудительное начало.* И католицизмъ обѣщалъ Царство Небесное, а далъ только величественное зрѣлище трудовъ, надеждъ и неудачъ... Такова вся исторія, плачевная, слабая, человѣческая. Соціалъ-демократія, будучи мечтательнымъ и облагораживающимъ началомъ XIX вѣка, едва ли насытитъ *весь*, что и Христосъ сдѣлалъ только однажды и *не навсегда.* Что-то тутъ стоитъ „ломомъ" для человѣка. А впрочемъ пусть стараются романтики, Богъ имъ въ помощь: во всякомъ случаѣ они быстры, не бредутъ, а бѣгутъ, руки у нихъ не устаютъ, голова работаетъ: все въ движеніи, и этимъ движеніемъ не мѣшаетъ заразиться старой цивилизаціи, слишкомъ старой. Въ каждомъ вѣкѣ мечта есть молодость. Соціализмъ безспорно „молодилъ" людей XIX вѣка. Въ утопію его можно не вѣрить: но вотъ при установленіи парламента и конституціи не благотворно ли воспользоваться этою его психологическою стороною? Такъ, я читалъ разъ, одинъ англійскій морякъ, отлично знавшій теорію вѣтровъ, воспользовался циклономъ при плаваніи около Западной Африки, введя корабль свой въ *красную часть его.* Корабль летѣлъ все время, какъ на крыльяхъ: моряки этотъ хорошо знаютъ движеніе циклоновъ, ихъ постоянный.

невѣдомый путь въ этомъ океанѣ. И не разбился. И проплылъ свой путь такъ легко и скоро, какъ не удавалось до него никому.

* * *

Все, что творится въ спокойныя эпохи, выходитъ нѣсколько лѣниво, апатично; все, что творится среди бѣды, волненія, опасности, — выходитъ живуче, крѣпко. Такъ родился европейскій строй нашей арміи при Петрѣ и другія его преобразованія.

Десятилѣтія мы жалѣли, негодовали, отчего конституція не даруется „своевременно“ и „сверху“; но теперь, кажется, можно только возблагодарить Бога, что мы не получили въ 81-мъ году мертворожденной Лорисъ-Меликовской или Игнатьевской конституціи, что все пошло своимъ чередомъ и до конца, старый порядокъ, можно сказать, „вывороти.ъ свою душу наружу“ въ японской войнѣ, и конституція пришла какъ гнѣвъ возмездія, пришла сама, а не была „приведена за ухо“, что она явилась, какъ энергія и работоспособность, а не благоразумное новое учрежденіе. Это сейчасъ же чувствуется, какъ только вы входите въ Думу, беретесь за газету съ думскими отчетами, читаете письма изъ деревни къ депутатамъ. Можно ли было ожидать, что конституціонно заживетъ не Шпалерная улица въ Петербургѣ, не петербургская интеллигенція, не профессура и адвокатура, — а заживетъ „конституціонно“ сама Россія, вся Россія, ея не только города, но и села съ бѣлыми колоколенками. солдатскій строй, по-

пѣвающій новыя пѣсенки, громада фабричнаго люда, всѣ, всѣ!! Вѣдь еще 75 лѣтъ назадъ „конституціею“ считали супругу Великаго Князя Константина Павловича, считала ее таковою петербургская гвардія,—и съ тѣхъ поръ хотя и прошелся неполный вѣкъ, но въ теченіе его населеніе очень мало подучилось грамотѣ, искусственно удерживаемое въ темнотѣ. А конституція—довольно сложная вещь даже и не для элементарнаго образованія. Но все двинулось народно, громадно, все создалось изъ нужды, страданія. И весь народъ понялъ ту основную сущность конституціонализма, что къ заправленію судьбами своими призванъ онъ самъ, народъ, призванъ стать гордымъ и сильнымъ защитникомъ правъ своихъ, обезпеченія свободы выбора историческаго пути.

Только толкаясь около сановныхъ лицъ въ Петербургѣ или близкихъ къ сановнымъ, можно видѣть все кислое разочарованіе, всю неумолимую злобу на то, что парламентъ, едва родившійся, сразу же выразилъ свое непреклонное, желѣзное „я“, тогда какъ всѣ эти господа ползли ползкомъ къ той мечтѣ, что „парламентъ“—это только для вида, для названія, для того, чтобы зачаровать глаза Европѣ, а на самомъ дѣлѣ онъ будетъ не что иное, какъ широко развернутая „комиссія выборныхъ людей“, „съѣздъ свѣдущихъ людей“, но не болѣе. Не могу не вспомнить выраженія двухъ весьма и весьма зоркихъ и освѣдомленныхъ людей въ самый разгаръ выборной кампаніи:

— „Дума будетъ *тихая*“, сказалъ 62-лѣтній К. А. Скальковскій.—И сколько было вѣры, убѣ-

женія и презрѣнія къ будущей „комиссіи“ подъ парламентскимъ соусомъ этого дѣльца, балетомана и финансиста. Во всякомъ случаѣ, въ Петербургѣ онъ зналъ вся и всѣхъ, отъ кокотокъ до министровъ. Слово его, въ смыслѣ отзвука „общаго взгляда“ на положеніе вещей, во всякомъ случаѣ, значительно.

— „Дума будетъ *поповская*“,—сказалъ Витте. Слова эти я слышалъ отъ его ближайшаго помощника, которому онъ ихъ сказалъ лично.

И вдругъ Дума оказалась „кадетская“, „трудовая“, бурно конституціонная, съ угрозами революціей. Увы!—старцы ошиблись, какіе старцы! Но и то правду сказать: старецъ гадаетъ не о томъ, о чемъ молодость, а съ Думой пришла къ намъ молодость, и старцы ея не разгадали.

Побѣди на выборахъ „октябристы“ или торгово-промышленная партія, и мы имѣли бы среднее между комиссіею свѣдущихъ людей и полудворянскимъ, полу-купеческимъ клубомъ. Съ чиновничествомъ эти люди „сговорились“ бы очень легко, уступочки — здѣсь, уступочки — тамъ. Ничего народнаго въ такомъ парламентѣ не было бы; на старой ели нарось бы новый слой древесины, и только. Бюрократизмъ все „провелъ“ бы и всѣхъ „провелъ“ бы, оставшись крѣпко сидѣть на своемъ мѣстѣ. Вотъ отчего побѣда „кадетовъ“ на выборахъ, столь громкая и единодушная, и была настоящимъ рожденіемъ настоящаго парламента. До нея все были рукописанья и бумагописанья, все было въ полулукавыхъ проектахъ и ничего не было настоящаго въ жизни. Огром-

нымъ напряженіемъ при выборахъ и тактомъ своимъ „кадеты" и дали Россіи настоящій конституціонализмъ. И какова бы ни была послѣдующая судьба этой партіи, ея великой заслуги въ мартѣ—маѣ 1906 г. передъ Россіею уже ничто не затретъ. Трудовики смотрятъ теперь на „кадетовъ" какъ на прямыхъ враговъ своихъ, но не могутъ они забыть и не смѣютъ отрицать, что самымъ бытіемъ своимъ, рожденіемъ, они обязаны „кадетамъ" же. Что безъ нихъ никогда бы они не сидѣли въ Таврическомъ дворцѣ, никто бы ихъ не допустилъ до разсужденій о народномъ благѣ, о государственныхъ дѣлахъ.

Съ другой стороны, трудовая группа въ парламентѣ сообщила ему народный, любимый характеръ; превратила парламентаризмъ изъ явленія общественнаго и интеллигентскаго въ народное, обще-россійское,—всегородское и всесельское. По характеру своему и по связямъ своимъ „кадеты" никогда бы этого не могли сдѣлать. Не тотъ языкъ, не тѣ нравы. Не та рѣчь, не тотъ говоръ. Не тѣ книжки и газеты. Тутъ получаютъ свой смыслъ и свое мѣсто даже такіе инциденты, какъ случай съ Съдельниковымъ, дважды побитымъ полиціею. Какъ говоритъ фамусовъ въ „Горе отъ ума":

„Узналъ онъ больно,—всталъ здорово!"

Полиція въ жизни нашей, въ жизни народной, въ каждомъ городѣ и видномъ селѣ играетъ такую всеобъемлющую роль, до того она у всѣхъ и постоянно передъ глазами и до того во всякую мелочь вмѣшивается, что „инцидентъ съ полиціею" получилъ въ глазахъ всего населенія ха-

рактеръ хорошаго „предметнаго урока" и „объяснительнаго чтенія", даже „чтенія съ туманными картинами" — на тему: „Что такое старый и что такое новый строй". На примѣръ все разглядывается яснѣе; и то, что Аладьинъ выбралъ именно этотъ мелочной случай улицы поводомъ, чтобы наговорить министрамъ еще неслыханныхъ до тѣхъ поръ рѣзкостей и угрозъ, показываетъ, что онъ сразу оцѣнилъ случай въ его возможной государственной значительности. Вообще, этотъ вождь трудовой группы выказываетъ большія государственныя способности: вѣдь послѣднія въ чемъ же и выражаются, какъ не въ умѣньѣ оцѣнить явленіе, увидѣть въ немъ значительность положенія, вліянія и силы. Случай съ Сѣдельниковымъ, конечно, мелочной случай, который можно было бы почернать „замѣчаніемъ" и перейти къ „очереднымъ дѣламъ", между которыми стояли такія, какъ о бѣлостокскомъ погромѣ, помощи голодному населенію и пр., и пр., такой же и еще большей принципіальной значительности. Такъ гр. Гейденъ и взглянулъ на дѣло, говоря, что въ „запросѣ Думы рѣчь идетъ о городовомъ, а не о министрѣ". Это такъ съ клубной и литературной точки зрѣнія, но Аладьинъ истинно государственно воспользовался имъ, чтобы дать „чтеніе съ туманными картинами" для Сибири, Кавказа, Поволжья и чтобы такъ крѣпко утвердить „неприкосновенность и священство званія депутата Думы", какъ это вовсе не было утверждено до инцидента съ депутатомъ-казакомъ Сѣдельниковымъ. Самъ гр. Гейденъ, всмотрѣвшись въ эту сторону дѣла,

не могъ бы отвергнуть, до чего Аладьинъ былъ проницателенъ и правъ, а онъ, старикъ, и близорукъ, и наивенъ, хотя по-чиновнически и совершенно правъ. „Цѣлость и неприкосновенность депутата выше, чѣмъ министра", „если еще разъ полиція попробуетъ тронуть члена Думы, — ни одинъ изъ министровъ болѣе не произнесетъ ни одного слова съ этой каѳедры", „мы не ручаемся за неприкосновенность министровъ здѣсь, — и это говорю я не отъ себя, а отъ имени всей трудовой группы",—все это раздалось слишкомъ громко и ясно по Россіи, слишкомъ памятно, чтобы можно было забыть; и министры, конечно, этого не забудутъ. А беря во вниманіе инцидентъ съ военнымъ прокуроромъ Павловымъ, „выгнаннымъ" изъ Думы, когда онъ пришелъ „объясняться" съ нею,— министры, конечно, совершенно оцѣнили и полную исполнимость сказанной угрозы. Не бояться этого они не могутъ, не отступить передъ такой перспективой не могутъ же. И угрозы Аладьина, которыя казались до такой степени несоразмѣрными съ мелочностью случая, что ихъ можно было приписать несдержавшимся первамъ, капризу, „горячкѣ", — на самомъ дѣлѣ были прозорливымъ холоднымъ ударомъ врагу, удачнымъ шагомъ впередъ, притомъ безповоротно закрѣпившимъ за Думою новую хорошую позицію. „Министры стали какъ шелковые",—и тонъ объясненій ихъ или ихъ товарищей предъ народными представителями послѣ этого случая сталъ совершенно другой, чѣмъ былъ до этого случая. Коковцевъ, Соллертинскій говорятъ уже не какъ Гурко и Стишинскій, не

какъ Горемыкинъ и Павловъ. „Объясняются“ точно отвѣтственные и знающіе о своей отвѣтственности люди, хотя „отвѣтственность“ въ параграфахъ конституціи и не значится. „Не значится“, а *есть*: ну, это еще лучше, чѣмъ какъ если бы она только „значилась“.

„Кадеты“ вообще суть отцы, родившіе намъ реальный, наличный, осуществленный конституціонализмъ, а трудовая группа есть ея живой, двигающій впередъ паръ. Въ „трудовикахъ“ больше силы, чѣмъ въ „кадетахъ“, и это чувствуютъ и они сами. Увы!—никто не можетъ выскочить изъ своей біографіи, никто не можетъ пересилить „условій своего существованія“, какъ выражается дарвинизмъ. Жизнь и трудъ „кадетовъ“ до Думы и внѣ Думы почти безъ исключеній есть трудъ и жизнь тихихъ, мирныхъ и обезпеченныхъ людей, развѣ съ небольшими треволненіями, но безъ мучительныхъ опасностей, безъ физической работы, безъ той „борьбы за существованіе“, которая вырабатываетъ крѣпкіе зубы и острые когти, закаляетъ темпераментъ, создаетъ рѣшимость и готовность на опасную борьбу и рискъ. Въ „кадетахъ“ много джентльменской гордости, своей, личной, фамильной; у „трудовиковъ“—народная, почти простонародная натура, гдѣ имя и личность совершенно тонетъ и впередъ выдвинуто только дѣло, партія, интересъ общей борьбы. Трудовики больше лично сплочены, въ нихъ больше „товарищества“: сравнительно съ кадетами они то же, что передъ профессорами гурьба студентовъ, безымянная и сильная. Конечно, кое-что „претер-

нѣли" и нѣкоторые изъ вождей „кадетской" партіи: Максимъ М. Ковалевскій былъ высланъ за границу, какъ и Петръ Б. Струве; П. Н. Милюковъ былъ въ тюремномъ заключеніи. Но ни про одного изъ членовъ этой все же барской, „господской" партіи нельзя сказать, какъ про „трудовика" Митрофана Михайличенко: „вотъ депутатъ съ перебитыми ребрами и зубами". Въ самомъ дѣлѣ, послѣдній былъ изуродованъ казаками и полиціей при усмиреніи одной демонстраціи.

* * *

Дума именно *работаетъ*, а не говоритъ; и эту сторону въ нее внесли по преимуществу практическіе „трудовики". Чѣмъ она была, когда собралась? Только два мѣсяца прошло: а та ли у нея теперь сила, положеніе, компетенція, авторитетъ? Тогда она была блестящимъ и обѣщающимъ, любимымъ и привѣтствуемымъ собраніемъ. Но и только. Всю *силу* наработала себѣ Дума сама. Этой силы ей никто со стороны не давалъ. Горемыкинъ отвѣтную декларацію на тощую рѣчь читалъ (я присутствовалъ при чтеніи) тономъ учителя передъ учениками, стараго барина передъ „начинающими" барчонками. На чтеніе деклараціи явился весь сановный Петербургъ, предвкушая очевидно, зрѣлище, какъ „мальчишкамъ утрутъ носъ"... Что же случилось, какъ все произошло далѣе? Успѣхъ свой Дума „зарабатывала" день за днемъ, какъ бурлакъ тянетъ бичеву на Волгѣ. Самое важное, прямо громадное, что дали Думѣ именно трудовики, — это то, что она *связалась со*

*страною, съ землею, съ городами и селами.* Тутъ какъ-то все ило и сознательно, и безсознательно, и преднамѣренно, и „само собой". „Кадеты" этого бы не сумѣли и не смогли бы. При „кадетахъ", только при нихъ Дума осталась бы интеллигентскою, нѣсколько „барскою"; была бы *петербургская, а не всероссійская.* „Трудовики", явившись въ Думу, явившись въ нѣсколько инородную среду адвокатовъ, врачей, земцевъ, дворянъ, профессоровъ, вообще людей не послѣдняго положенія и состоянія, — естественно почувствовали себя здѣсь нѣсколько сиротливо, одиноко и безсильно. Съ послѣднимъ имъ никакъ не мирилась ихъ энергичная и дѣятельная натура. Кто они по положенію, по состоянію? Не окончившіе студенты или не окончившіе курса гимназисты, чаще — сельскіе учителя, сельскіе писаря, крестьяне, ремесленники. Между ними только одинъ профессоръ — казачій сынъ Тим. Вас. Локоть, занимающій каѳедру сельско-хозяйственнаго института въ Новой Александріи. Аникинъ, лидеръ трудовой группы, кончилъ только саратовское ремесленное училище и потомъ былъ сельскимъ учителемъ. Такимъ образомъ, они тотчасъ почувствовали въ Думѣ извѣстное психологическое одиночество и выдѣленность, и имъ неоткуда было взять силы иначе, какъ изъ той народной массы, которая ихъ прислала въ Петербургъ. И вотъ они, какъ бывалые легендарные „ходоки", обратились изъ Петербурга на родину: т. е. къ крестьянамъ, деревнямъ, селамъ. Газеты помогли тому, что безъ опыта было бы немыслимо и неосуществимо.

Вѣроятно, первыхъ писемъ было немного, и чаще они шли изъ Петербурга въ провинцію, нежели изъ провинціи въ Петербургъ: но достаточно было прочесть двѣ-три телеграммы съ „мѣстъ“ въ Думѣ, сослаться на нихъ, какъ на реальный фактъ, передъ представителями цѣлой Россіи, и газеты донесли объ этомъ до самыхъ темныхъ уголковъ Россіи,—чтобы вездѣ въ этихъ темныхъ уголкахъ зашевелились однородныя мысли, сходное желаніе, сочувствіе и сознаніе, что и „мы, темные и далекіе, можемъ сдѣлать дѣло, и не поднимаясь съ мѣста“. Все пошло какъ въ геометрической прогрессіи: двѣ телеграммы родили десять, десять родили уже сто, а сто — тысячу. И черезъ два мѣсяца съ Думою и черезъ Думу уже говорила вся Россія. Опять этотъ проницательный шагъ, пожалуй, смѣшной съ перваго взгляда — читать безграмотное посланіе передъ всероссійскимъ законодательнымъ собраніемъ — сдѣлалъ первый Ладьинъ. Но черезъ это посредство связалась съ Думою живыми нитями вся страна, связалась она въ ежедневномъ пульсѣ своемъ, въ повышеніяхъ и пониженіяхъ сердца, въ каждой, можно сказать, „думкѣ“, и Таврическій дворецъ сдѣлался, работая изо дня въ день, авторитетомъ, командующимъ надъ страною. При такомъ положеніи, напр., распустить Думу, что было совершенно возможно еще въ первой половинѣ мая,—сдѣлалось невозможнымъ уже къ половинѣ іюня. Въ нѣсколько недѣль, безъ всякаго новаго законодательнаго акта, значеніе Думы удвоилось, утроилось. Теперь она есть огромное, могучее „я“: о роспускѣ никто

и не говорить. А между тѣмъ, съ перваго дня ея собранія въ ея стѣнахъ и вокругъ ея стѣнъ постоянно слышался то опасающійся, то торжествующій шопотъ: „распустятъ", „разгонятъ". Да и въ самомъ дѣлѣ было возможно, — психологически, нравственно, политически, всячески. Этимъ тономъ говорилъ и Горемыкинъ: „если вы будете продолжать упорствовать,—васъ распустятъ", звучало между строкъ читавшейся имъ декларации.

Такимъ образомъ, Дума изъ себя родила свою силу; пріобрѣла ее ходомъ занятій въ ней. А все пишутъ, что она „говоритъ, а не работаетъ". Конечно, и Пушкинъ только „писалъ", но изъ этого „писанья" вышла Пушкинская поэзія и переворотъ въ русской литературѣ. По существу дѣла въ Думѣ и нельзя ничего кромѣ какъ „говорить", но изъ этого „говоренья" могло бы и ничего не получиться, могло бы получиться безсиліе представительства и торжество стараго строя, могъ бы получиться роспускъ Думы или оппортюнистическое согласіе ея со старымъ чиновничествомъ. Вообще, могла бы получиться тысяча теперь непредвидимыхъ результатовъ, кромѣ находящагося въ настоящее время налицо. Когда дѣло уже сдѣлано, всѣмъ кажется, что оно и не могло быть сдѣлано иначе, но это доказываетъ только, что оно сдѣлано хорошо, искренно и натурально. Дума „говореньемъ" своимъ не только сдѣлала всю реальную политику Россіи за эти два важнѣйшіе мѣсяца, но и подвела фундаментъ, необходимый и крѣпкій, на много лѣтъ впередъ для этой политики,—по крайней мѣрѣ, на три пять лѣтъ впе-

редъ. А вѣдь мы живемъ недѣля за мѣсяцъ и мѣсяцъ за годъ, какъ въ истинно осадномъ положеніи. Кто не помнитъ, какъ быстро посыпались новые „законы" и всяческія „дозволенія" и „свободы" послѣ 9-го января? Собственно, „писать" законы не труднѣе, чѣмъ говорить въ Думѣ. Но никакого органическаго роста страны изъ тѣхъ законовъ послѣ 9-го января не получилось. Изданіе законовъ—дѣло времени, и оно можетъ быть дѣломъ небольшого даже времени. Но вотъ начать *растить силы, растить самосознаніе народное* — это мудрено, это трудно, это не всякому дается. Вспомнимъ, сколько лѣтъ работала (кажется, не закрытая еще) „комиссія по выясненію причинъ малодоходности русскихъ желѣзныхъ дорогъ", такъ ничего и не выяснившая или „выяснившая" что-то такое, отчего эта доходность нисколько не увеличилась. Вспомнимъ еще „совѣщаніе" по вопросу о поднятіи центра страны: тоже результаты—нулевые. Два эти примѣра показываютъ, что творчество государственное въ Россіи совершенно остановилось уже за нѣсколько лѣтъ до конституціи, что правительство потеряло силу разрѣшать и улучшать самые насущные и больные вопросы, нужды, потребности. Пульсъ останавливался, дыханья не слышно было: не отъ лѣни, не отъ беззаботности, а отъ утраты именно самой силы жить. Дума, неоспоримо ни для кого, возвращаетъ эти силы жизни, которыя растутъ на нашихъ глазахъ, развертываются и отчасти формируются.

## Левіаѳанъ шевелится.

Въ Кадетскомъ клубѣ, близъ Думы, было вечернее чтеніе. Предсѣдательствовалъ г. Френкель, депутатъ отъ Костромы. Набралось человѣкъ 200 гостей, кадетовъ же очевидно, ибо въ клубъ допускаются только гости по личной рекомендаціи членовъ к.-д. партіи. Итакъ, были свои люди, свой кружокъ. Чтеніе состояло въ объясненіи членами Думы, т. е. кадетами-политиками, кадетамъ „изъ общества" программы Думы, и въ оправданіи какъ этой программы, такъ и вообще дѣйствій Думы и дѣйствій к.-д. партіи въ Думѣ. Все шло мирно, гладко. Повторяю, — были „свои люди". Мирное собраніе уже кончалось, когда попросилъ слова какой-то „Алексѣевъ, рабочій съ Выборгской стороны". Слово было дано. Ораторъ появился на каѳедрѣ.

Онъ былъ молодъ, безъ бороды, почти мальчикъ. Только лицо, плечи, грудь — все очень широкое и говорило о возмужалости. Лицо — необразованное: видно, что недавно, года два, началъ читать, учиться, размышлять. Онъ не сразу заговорилъ, все поворачиваясь вправо и влѣво, оборачивая туда и сюда свою большую голову съ

мглистымъ, темнымъ, глубоко безжизненнымъ, какъ бы оступенѣлымъ лицомъ. Наконецъ заговорилъ тихо, протяжно:

— Тутъ все говорили господа кадетскіе ораторы. Оправдывали Думу (большая пауза)... Я голоденъ. Я второй день не ѣмъ. Что же мнѣ Дума дала? Кадеты обманули народъ. Они измѣнщики народу...

Поднялся шумъ. „Свой“ кружокъ. Ораторъ продолжалъ:

— Они (кадеты) хвастали, что не будутъ искательно заглядывать въ передніе дворцовъ. Одначе г. Муромцевъ поѣхалъ на Царскій праздникъ. То есть все-таки значитъ лакеемъ постоялъ въ передней.

Шумъ, „замолчите!“

— А хвастали. Храбрились. Они лакеи и обманщики. Народу отъ нихъ нечего ждать. Народъ не пойдетъ съ ними (Опять пауза, ужасно длинная). Я второй день не ѣмъ. Агенты партіи правового порядка соблазняли меня: „Голосуй за насъ—получишь хлѣбъ и мѣсто“. Но, господа: голосовать за партію правового порядка—это что же такое? Сами знаете. Лучше умереть съ голоду. За антихристовъ, кровопійцъ народныхъ голосовать?! Теперь для безработныхъ устроены даровыя столовыя, и орудуютъ ими кадеты. Что же они говорятъ? „Мы будемъ выдавать порціи только тѣмъ, кто сочувствуетъ нашей партіи. А нѣтъ—нѣтъ“.

Поднялся невыразимый шумъ. Весь залъ всталъ, какъ ужаленный. Повторяю—„свой кружокъ“: и это было какъ плевокъ въ лицо всему залу. Барыни. Господа.

— Ложь! ложь! клевета!..

Рабочій стоялъ спокойно. Тѣ же безжизненные глаза и медленные повороты.

Френкель съ предсѣдательскаго стула подскочилъ къ каоедрѣ оратора. Онъ весь дрожалъ, лицо блѣдное:

— Назовите имя!

Тѣ же тусклые повороты глазъ и бормотанье: „Я голоденъ! Я пришелъ сюда голодный".

— Если вы не назовете имя, вы лжецъ!

Отъ рабочаго это какъ отъ стѣны горохъ. Онъ „въ запрежніе годы" и оплеухи съѣдалъ.

— Говорятъ завѣдующіе столовыми:—„А если ты не нашъ, то и проси хлѣба у другихъ, можетъ тебя октябристы накормятъ". Справедливо ли это, господа?

Изъ дальняго угла залы подымается сѣдой благообразный господинъ и говоритъ тихимъ голосомъ:

— Я самъ раздаю обѣды безработнымъ и знаю всѣхъ работающихъ въ нашемъ районѣ на этомъ дѣлѣ. Ни одного подобнаго случая не было, клянусь вамъ! Не только случая: ни одной жалобы на это не было слышно! Никогда, никогда не спрашивали безработныхъ, какой они партіи! Раздавали всѣмъ, краснымъ, черносотенцамъ, всѣмъ, не разбирая, не спрашивая! И—клянусь! клянусь!

— Какого вы района? (изъ публики).

— Васильеостровскаго. Я всѣхъ работающихъ тамъ знаю. За всѣхъ даю слово (называетъ свою фамилію).

— Вы откуда? (къ рабочему изъ публики).

— Я съ Выборской стороны. У насъ не даютъ.

— Вамъ не дали?

Молчитъ.

— Говорите!!!

— Что же мнѣ говорить? Говорятъ въ народѣ. Я говорю, что мнѣ привелось слышать.

Не помню, чѣмъ и какъ кончилось. Рабочій какъ-то сошелъ на нѣтъ, незамѣтно. Спустился и ушелъ. Публика успокаивалась,—да и не въ немъ дѣло, а въ рабочемъ. Такой *неумолимой* ненависти я никогда не видалъ на человѣческомъ лицѣ. Но кто бывалъ на митингахъ еще съ октября 1905 г., тотъ хорошо знаетъ, что кадеты похожи на кучку отважныхъ туристовъ, взобравшихся на кратеръ Везувія и которыхъ незамѣтно *почти со всѣхъ сторонъ* окружила расплавленная лава. Кто этого не понимаетъ и не видитъ, или не хочетъ съ этимъ считаться, тотъ совершенно не можетъ судить и осуждать и нервности кадетовъ въ Думѣ, ихъ рѣзкихъ выходокъ въ сторону правительства, ихъ грубостей министрамъ и проч. Послѣднее спасеніе!!! Воображать, что можно передушить этихъ „волковъ“, изъ которыхъ вотъ одинъ входитъ въ двухсотенное собраніе и плюетъ въ глаза, *неумолимо клевещетъ*: ну, порозь одного, десять, сотню, тысячу ихъ можно „связать и упрятать“, но вѣдь сколько ихъ въ Россіи, кто учелъ?!! Кто не окажется просчитавшимся?! Что мы навѣрное знаемъ!? Ничего. Темно вокругъ. Кадеты и вынуждены были этимъ натискомъ лавы объявить самую лѣвую программу, выкинуть наиболѣе изъ позволительныхъ красный флагъ: чуть-чуть блѣдиѣе, чуть-

чуть правѣе, и крикъ: „измѣнщики народу!“, „лакеи правительства!“, „прихвостни власти“, „разъѣвшіеся буржуа“ — обратился бы въ вопль народный, по крайней мѣрѣ бы въ вопль улицъ, въ такой ревъ стихій, передъ которымъ не устояли бы они, и не одни они... Въ томъ и дѣло, что *не они они*... Но только они, спорившіе уже на своихъ спеціальныхъ собраніяхъ съ лѣвыми, причемъ публика (чистая и средняя) всегда неизмѣнно становилась на сторону крайнихъ лѣвыхъ, знаютъ положеніе, видятъ опасность. И что нѣтъ совершенно никакого другого средства, чтобы сколько-нибудь перетянуть къ себѣ симпатіи вообще русскаго человѣка, можетъ быть худого, можетъ быть дряннаго, но который есть—„всѣ“ и „все“,—нѣтъ другого средства, какъ имѣть этотъ почти революціонный видъ, видъ, вызывающій тонъ въ сторону правительства, грубые окрики на министровъ!! Острѣе зубы Думы — тупѣютъ зубы у Революціи. Какъ тупы зубы у Думы — Революція раскрываетъ пасть!! Вотъ положеніе! Вотъ природа „русскаго лѣса“, косго мы не видимъ изъ кабинетовъ, изъ гостиныхъ, измѣряя отдѣльныя деревья, впадая въ остроуміе, шутки. Тогда какъ кадеты, въ выборной кампаніи прошедшіеся по лицу всей Русской Земли, знаютъ настроеніе и уѣздовъ, и селъ, и городовъ. Вѣдь „крестьянская группа“ въ Думѣ *лѣвѣе* кадетовъ. А пока шли выборы, кто не увѣрялъ, что „православные мужички утрутъ носъ кадетамъ“. Утерли, — да *слава*, а не справа!!! Довольно самообмановъ! Мы самообманывались во всю японскую войну, — пора раскрыть глаза хоть на свои внутреннія дѣла.

Милліонами газетные листки расходятся, вотъ годъ уже, въ Россіи. Изъ нихъ вся Россія, самое далекое село, узнало „программы" партій. Чѣмъ лѣвѣе—тѣмъ больше матеріальныхъ обѣщаній. И старые лозунги: „православіе, самодержавіе, народность" поблѣдиѣли передъ всесильнымъ и всемогущественнымъ:

— Ѣсть хочу!!!

Вотъ отчего вовсе не „санкюлоты", не „городская чернь", съ которой можно было бы „покончить", а сама коренная Русь, съ которою „покончить" невозможно — и высказалась „лѣвѣе" кадетовъ, и имѣетъ сознательно эту „болѣе лѣвую" программу, „болѣе лѣвое" требованіе. Но истина лежитъ въ томъ, что даже и „коренная Русь" *вотъ этого 1906 г.*—не есть наибольшая цѣнность! Максимальная цѣнность—*Россія отъ 862 года—въ безконечность!!!* Цѣнѣе *всего живущаго поколѣнія Русскихъ*, этой зеленой листвы *нынѣшняго года*, самый *стволъ дерева русскаго*, т.-е. исторія, вѣра, просвѣщеніе, наука, идеалъ! А дороже,—то и кадеты могутъ отвѣтить „лавѣ":

- Дальше не пущу! Лейся черезъ меня, черезъ кровь мою! Но лѣвѣе моей программы—уже анархія, бойня, гибель ствола народнаго, а стволъ я оберегаю и оберегу, даже (чего не приведи Богъ) цѣною листвы.

Противъ демократіи сильна только *Вѣчность*. Все: Церковь, царство, классы,—все блѣдно, бѣдно, ибо „ѣсть хочу" — это дѣйствительно ужасно и неоспоримо. Но лозунгъ: „нужно *вѣчно* жить, жить—*чѣмъ-нибудь*", это сильнѣе даже голода. Я хочу

сказать, что демократія и принципы демократіи ничѣмъ непобѣдимы, кромѣ какъ (въ благородномъ смыслѣ) *культурою и принципами культуры.*

Я согласенъ, что „кадеты" почти революціонеры: но—*съ культурою,* за которую держатся такъ цѣпко, что не выпустятъ ее и для Революціи. И это все, что нужно. Въ данный моментъ это все, что возможно.

Вотъ вещь, которую нужно держать въ умѣ раньше, чѣмъ осудить за что-нибудь кадетовъ.

# Объ амнистіи.

Не для всѣхъ людей замѣтно, что мы присутствуемъ сейчасъ при одномъ изъ глубочайшихъ обнаруженій паденія человѣческой природы. Что она вообще „пала“ — это извѣстно изъ учебниковъ. Никто по хвастовству не будетъ утверждать, что „человѣкъ совершенъ“. Но вообще про себя мы думаемъ, что онъ „довольно совершенъ“, „порядочевъ“, „сносенъ“, „жить можно“ и проч. И нужно вотъ вдругъ поднятіе такого вопроса, какъ сейчасъ объ отмѣнѣ: 1) смертной казни и 2) политическихъ убійствъ, чтобы вдругъ обнаружилось, до чего онъ несовершененъ, палъ, злобенъ, ложенъ и прежде всего необыкновенно ограниченъ и частиченъ, отнюдь не универсаленъ.

Помню, когда я въ первый разъ знакомился съ французскою революціей по книгѣ Гейссера, — меня, за интересомъ ко всѣмъ потрясающимъ эпизодамъ ея, въ концѣ концовъ сталъ занимать главнымъ образомъ одинъ слѣдующій вопросъ: „какъ люди чувствовали кровь?“ И онъ быстро обобщился въ другой или, точнѣе, въ другую тенденцію наблюденій, размышленій: какъ люди вообще и всякіе во всякое время чувствуютъ

кровь? Не могу я передать ужаса, меланхоліи и вытекшаго отсюда вообще отвращенія къ политикѣ, къ самой даже исторіи при заключеніи, совершенно безспорномъ, открывающемся изъ несомнѣнныхъ наблюденій: что люди чувствуютъ кровь собственно только свою, или „свойственную и родственную", „друзей" по убѣжденіямъ, по положенію, по рангу, по условіямъ жизни и проч. и проч., вообще же „свою" и только „свою". А „кровь вообще" — они никакъ не чувствуютъ. Чужая же кровь даже и „хорошо попахиваетъ". Это одинъ французскій король сказалъ, увидя уже недѣлю назадъ повѣшенный трупъ своего врага, разлагающійся и зловонный, къ которому онъ подъѣхалъ съ блестящей свитой придворныхъ:

— Ваше величество, здѣсь дурно пахнетъ, — говорили придворные, зажимая носъ.

— Трупъ врага всегда хорошо пахнетъ, — отвѣтилъ король, подъѣзжая ближе.

Въ затаеннѣйшихъ возможностяхъ, въ затаеннѣйшихъ даже тенденціяхъ мы всѣ суть человѣкоубійцы: мы *начинающіеся* человѣкоубійцы... При всякомъ гнѣвѣ, ярости, раздраженіи, мстительности убійца назрѣваетъ въ насъ, и только не дозрѣваетъ. Но это уже все равно: *дробь* есть, есть и цѣлая *единица*. Мы—дробь. Вспомните „непрерывныя дроби" и „теорію предѣловъ" въ математикѣ, и вы отвѣтите, что я—правъ. Не было бы самыхъ чувствъ гнѣвливости, мести, раздраженія, люди были бы какъ ангелы, безъ способности возмущаться, еслибъ въ нихъ не жила эта „дробь

убійцы" и, въ, концѣ концовъ, затѣнитъ и лишь обстоятельствами сокрыть — полный убійца. А убійство, смертоубійство, злодѣянія, каторга, войны оттого эмпирически и возникли въ исторіи, оттого они есть, наблюдаются (но, Боже, неужели никогда не исчезнутъ?!) что „тѣнь злодѣя" неотдѣлима отъ свѣтлаго человѣческаго образа.

Оттого Отелло — убійца, а „прекрасный Гамлетъ", по крайней мѣрѣ въ его отношеніи къ Офеліи, есть просто негодяй: обыкновенный бездушный человѣкъ, какъ и ненавидимые имъ придворные датскаго двора.

Ужасно и истинно.

Впервые, какъ недоумѣніе и подозрѣніе, у меня мелькнуло это при чтеніи книги Гейссера. Какъ чувствовали монтаньяры кровь роялистовъ? Никакъ; или даже въ смыслѣ „хорошо попахиваетъ". Но и обратно: если бы роялисты привели во Францію пруссаковъ и австрійцевъ и побѣдили монтаньяровъ, то что же, такъ бы они и умиротворились тѣмъ, что „монтаньяры разошлись по домамъ и начали каждый заниматься своимъ хозяйствомъ"?! Они устроили бы такую „кровавую баню", которая ничѣмъ не уступила бы „ужасамъ террора". Да такъ это и бывало ранѣе у „роялистовъ", когда „удавалось". Вспомните Англію, вспомните Швецію. Вспомните Карла IX и гугенотовъ. „Кровь врага хорошо пахнетъ". Маратъ кричалъ это о крови роялистовъ. Но пришла застѣнчивая провинціальная дѣвушка, Шарлота Корде, и сказала: „а для меня хорошо пахнетъ кровь Марата". Разошлись во вкусахъ. А

достоинство человѣка, абсолютное? Оно—одинаково?!

И наконецъ все завершается этой ужасной религіозной истиной, что уже второй на землѣ человѣкъ—убійца (Каинъ). Что убійца, хуже!—*братоубійца!* Всего четверо людей на землѣ; отецъ и мать и два сына. Земля широка, цвѣтетъ. Разошлись бы, еслибъ не любили; а то лучше: „вкушали бы плоды во всѣ дни живота своего". Такъ нѣтъ: одинъ изъ четверыхъ подползъ къ другому и хвать его ослиной челюстью въ голову! Брата, невиннаго, юнаго! не защищающагося?: Не ужасно ли, не ужасъ ли въ этой „откровенной" (изъ Откровенія взятой, изъ Библіи) истинѣ. Можно съ ума сойти. И признаюсь. когда у меня все это промелькнуло, вся эта серія ужасныхъ „откровеній", я самъ на минутку почувствовалъ себя тоже Каиномъ же, только въ другомъ направленіи, до извѣстной степени въ „послѣднемъ направленіи"...

— Хорошо, мы—убійцы. Ты говоришь, Боже, въ Твоей Священной книгѣ. Но Самъ-то ты кто? „Даже и Сына Своего Единороднаго не пощадилъ". Тотъ молился, и какъ молился въ Геѳсиманскомъ саду! „До кроваваго пота". Боялся, ужасно боялся, этотъ Іисусъ боялся, нашъ Свѣтъ... Какъ преступникъ передъ казнью томился, и больше ибо Онъ былъ невинный: и вотъ этого боящагося, страшно испуганнаго Іисуса (читайте слова молитвы въ Геѳсиманскомъ саду) Ты однако... толкнулъ на казнь. Шипы, острыя колючки, острые гвозди, раздираемыя ладони.

„— Отче! Отче! Почто Ты Меня оставилъ?!"

— Такъ вѣдь „оставилъ" же, воскликнулъ я въ своемъ отчаявшемся сердцѣ, какъ и мы всѣ „оставляемъ": Каинъ — Авеля, Шарлота Корде — Марата, Марать — „роялистовъ", кадеты—генералъ-губернаторовъ, генералъ-губернаторъ — взбунтовавшихся латышей, и даже „противъ Россіи на Востокѣ" тѣхъ сѣрыхъ безмолвныхъ солдатъ, которые безмолвно умерли въ Мандчжуріи. Всѣ! Всѣ и—всѣхъ.

Для меня точно весь свѣтъ загорѣлся. Со всѣхъ четырехъ концовъ. И я единственное утѣшеніе нахожу только въ домашней жизни, гдѣ всѣхъ безусловно люблю, меня безусловно всѣ любятъ, вездѣ „своя кровь", безъ примѣси „чужой", и „убійца" не показывается даже какъ „тѣнь", „издали"...

Кромѣ „домашняго очага" онъ вездѣ стоитъ. Вотъ отчего я давно про себя рѣшилъ, что „домашній очагъ", „свой домъ", „своя семья" есть единственное святое мѣсто на землѣ, единственно чистое, безгрѣшное мѣсто: выше Церкви, гдѣ *была инквизиція*, выше храмовъ — ибо *и въ храмахъ проливалась кровь*. Въ семьѣ, настоящей, любящей (я только таковую и считаю семьею), натуральной, натуральною любовью сцѣпленной — никогда! Въ семьѣ и еще въ хлѣвахъ, въ стойлахъ, гдѣ обитаютъ милыя лошадки, коровы: не даромъ „въ хлѣву" родился и „нашъ Боженька", Который безсильно молился въ Гефсиманскомъ саду...

Какъ я это наблюдалъ 25 лѣтъ, послѣ чтенія книги Гейссера (еще въ университетѣ), такъ равно вышло это и теперь, когда запла рѣчь объ „отмѣнѣ смерти и казни“ и прекращеніи „политическихъ убійствъ“. Вѣчный законъ!! „Своей крови“ жалко; „чужой“—ничуть не жалко!!“ Никому! И среди этого горя, въ этой роковой, наконецъ въ этой религіозной (?!!) истинѣ мы всѣ живемъ. Задыхаемся, и нѣтъ другого воздуха, котораго бы намъ глотнуть.

Признаюсь въ своемъ „безбожіи“: когда я догадался о Каинѣ и Геесиманскомъ садѣ, я дошелъ до согласія съ нѣмецкими критиками въ „условности“ и „историческомъ происхожденіи“ и Библіи и Евангелія. Что же, отчаяніе до всего доводитъ, даже до безбожія.

— Если *вездѣ* убійство, на землѣ и *даже на небѣ* (Геесиманскій садъ), то позволительно несчастной мышп, которая именуется человѣкомъ, „взявъ въ охабку все“, и небо и землю, и „сіи священныя книги“, сказать: „когда вездѣ убійство, а я убійства не хочу, то ничего мнѣ и не надо, и не вѣрю я ничему, а главное мнѣ не надо такихъ религіозныхъ истинъ. Я маленькая и добрая мышь, желаю грызть сыръ, безкровный; но въ живое мясо зубовъ не запущу, и даже если бы это мнѣ повелѣлъ самъ Богъ, кого я и переименовываю съ маленькой буквы въ бога“. Я согласился въ томъ отношеніи или по тому мотиву съ германскими историками, что не можетъ быть „частичной истины“ безъ истины универсальной, какъ „нѣтъ дроби безъ единицы, коей она есть дробь?“ И разъ

„убійство“ обнимаетъ землю и небо, Каина и Голгоѳу, то все это суть „частные, этнографическіе мѳы“, полные страшныхъ и потрясающихъ „откровеній“, однако не окончательныхъ и даже не вполнѣ истинныхъ. Разъ „убійство“ худо, оно худо для земли и не лучше въ небѣ: и есть еще какое-то „второе и окончательное небо“, гдѣ нѣтъ ни Голгоѳы, ни Каина, откуда „Голгоѳа и Каинъ“ представляются „былью“, тяжелымъ сномъ, котораго нѣтъ и больше не надо... Я сталъ признавать все это „этнографическими мѳами“, какъ Штраусъ и тюбингенцы, ибо гдѣ же универсъ и универсальное? „Своя кровь“, очевидно, параллельна „своему богу“, „туземному“, маленькому „ваалу“, какому поклонялись въ разныхъ Тирахъ и Сидонахъ и прочихъ „деревушкахъ“ (относительно) древняго Востока; а разъ „Каинъ“ и „Гесиманія“, т. е. все жертвы и жертвы, все кровь и кровь, то, очевидно, все это суть „туземные ваалы“-же, ваалы“ Тира, Сидона *и Іерусалима*, гдѣ не даромъ до самаго Іисуса Христа, сейчасъ же послѣ Давида, непрерывно и всегда поклонялись „ваалямъ и астартамъ“, очевидно, не умѣя ихъ различить отъ своего „іеговы“, не умѣя, потому что и *не было* различія, ибо и іегова „бережетъ только свою кровь“, жидовскую, ни мало, напр., не жалѣя крови тирянъ, сидонянъ и прочихъ настоящихъ „поклонниковъ астартъ и вааловъ“. Какъ и наши протоіереи, проповѣдуя гимназистамъ II класса, что „Іегова побилъ 30,000 поклонниковъ Ваала“, покланяются въ сущности мѣстному іерусалимскому „іеговѣ“, т.-е. уже по туземному, а не

всемірному его характеру, „ваалу“ же, но только который попалъ „въ святцы“, а не на эпафотъ.

Корде не жалко Марата, Марату не жалко роялистовъ, іерусалимлянамъ — сидоняне, сидонянамъ — іерусалимляне, протоіереямъ не жалко японцевъ и жидовъ. И все это мѣстно. И все это ваалъ. Христіанамъ не жалко японцевъ и жидовъ, не жалко „іеретиковъ“ (отступники *ученія*, какъ въ древности были отступники *крови*), и мы, христіане, тоже, значитъ, не вышли изъ круга „своего мѣстнаго ваала“.

Да будетъ позволено сказать всю мысль, какъ она у меня закружилась.

* * *

И вотъ мы бьемся въ нашей политикѣ въ предѣлахъ этого „ваала“. У кадетовъ — свой „ваалъ“, у соціалистовъ свой, у правительства свой же. Въ каждой редакціи своя статуетка совсѣмъ крошечнаго „ваала“, которому она приноситъ, до времени чернилами и перомъ, а потомъ не невозможно и кровью—„жертвы“.

Каждой партіи жалко „своей крови“ и нисколько не жалко чужой: вотъ тягостный фактъ, лежащій физіологически, натурально подъ торопливымъ требованіемъ Думы, въ первый же часъ ея Собранія, „амнистіи“. Моралъ, жалость, „политическая мудрость“, всѣ *не* настоящіе мотивы были залпомъ высказаны, какъ абсолютныя аксіомы „въ пользу амнистіи“, и изъ каждаго изъ этихъ идейныхъ мотивовъ кричалъ единственный настоящій, физіологическій: „*моему* горлу

душно, когда на него накинута петля". Но вотъ, vice versa, попелъ вопросъ и объ отмѣнѣ брауншвейговъ. Всѣ „идейные мотивы" перенеслись и сюда: мораль, жалость и политическая мудрость. Рѣчи вдругъ затянулись, начали быть медлительны. Что такое? Въ порядкѣ литературнаго обсужденія, газетной разработки вопроса, даже разработки юридической, т. е. тоже мозговой, идейной, въ концѣ концовъ чернильной и безкровной, не было никакого сомнѣнія, что „написанное влѣво", должно быть написано и „вправо", что „амнистія" = „прекращенію политическихъ убійствъ", т. е. *невозможно* требовать одного, не требуя въ сію же секунду другого, и съ тѣмъ самымъ темпераментомъ, пылкостью, этической страстью... Да, если бы былъ „Богъ"... Но вѣдь есть только „ваалы", и Дума, члены Думы, потрагивая плечи, животъ, грудь, отвѣтили этою натуральной, дикой и вѣчной истиною.

— Брауншвиги? Въ *насъ* не стрѣляютъ!.. Огнестрѣльная рана въ животъ?—Ничего не чувствую!! Читалъ въ газетахъ: но это полицейскіе, вѣроятно, шпіоны; читалъ и улыбался, и пилъ чай, рѣшительно ничего не испытывая!.. Жалко? Нѣтъ, не жалко. Вотъ если бы повѣсили Гершуни, Сазонова, я всталъ бы на дыбы и закричалъ на всю Россію, ибо у него шея точь-въ-точь какъ у меня и его повѣшенье точно мое собственое или моего сына, брата, матери. А, это другое дѣло. Но разстрѣлы? Полицейскихъ? Не жалко!

Вотъ она „мать физіологія", не то что юриспруденція съ гибкимъ языкомъ, которой собственно

„не жалко“ ни полицейскихъ, ни революціонеровъ, и она ровно ничего не чувствуетъ, даже когда и говоритъ, что страдаетъ „всѣми чувствами“. Въ порядкѣ газетнаго обсужденія, конечно, „всѣхъ жалко“; но по-настоящему и физіологически извѣстно и въ тихихъ ночныхъ признаніяхъ своей совѣсти, когда человѣкъ только передъ собой и „своимъ Богомъ“ стоитъ, передъ своимъ комнатнымъ „вааломъ“,—жалко... только „своей крови“, „своихъ родныхъ“, „своихъ партійныхъ“, „духовныхъ друзей“. Къ тихому-тихому и прекрасному-прекрасному человѣку, но изъ спокойныхъ охранителей и государственниковъ (чуть-чуть) я вошелъ въ кабинетъ, говоря, что нужно написать статью противъ нѣмецкихъ барроновъ, натравливавшихъ русскія войска на усмиряемыхъ латышей:

— Я знаю, что бароны эти сволочь и что они пользуются теперь случаемъ расправиться съ латышами. Недѣли черезъ три, даже черезъ двѣ мы ихъ и будемъ громить. Но теперь нельзя мѣшать войскамъ. Эти латыши тоже чортъ знаетъ что задумали—основать латышскую республику! Пройдетъ недѣли двѣ и вашему энтузіазму будетъ мѣсто. А теперь благоразумнѣе помолчать.

Архіепископъ Волынскій Антоній на что, кажется, христіанинъ? Архіерей и какъ самъ же писалъ въ своей передъ-соборной „Запискѣ“ Синоду: „мы, архіереи, одни въ правѣ говорить и рѣшать на будущемъ Соборѣ русской Церкви, ибо мы—Церковь, намъ однимъ и никому другому ввѣрена истина Христова, преемство дара апостоловъ“. Но на всю Европу (отличился!) первый голосъ отъ

лица Церкви русской онъ поднялъ въ Государственномъ Совѣтѣ: „Не надо амнистіи! Сохранить смертную казнь! Не умѣстны теперь сантименты". Значитъ, тоже—„ваалъ". И Христосъ (по архіепископу) „ваалъ же", мѣстный свой христіанскій „богъ", и даже партійно-русскій, почти членъ „Русскаго Собранія" или московской „монархической партіи". Вотъ истина! Вотъ физіологія! Да такъ и у всѣхъ: всѣ мы или на сторонѣ Ѳ. Самарина и „меньшинства членовъ Государственнаго Совѣта съ ихъ особымъ адресомъ", или на сторонѣ большинства, съ кадетами, въ концѣ концовъ—съ соціалистами. Вл. Соловьевъ на что былъ „вообще христіанинъ": а когда произнесъ извѣстную рѣчь послѣ 1 марта о необходимости помиловать цареубійцъ, то и онъ, онъ... поэтъ, философъ и „такой христіанинъ", буквально сдѣлалъ то же, что сейчасъ Дума, т.-е. не издалъ никакого физіологически-мучительнаго крика противъ цареубійцъ, кромѣ развѣ осторожныхъ полицейскихъ оговорокъ, которыя читателями и слушателями моментально и забылись. Мой „добрый другъ" г. А. С—нъ въ самомъ началѣ революціоннаго движенія передалъ возмутительный случай о томъ, какъ соціалисты, заколовъ корову передъ сельской церковью, взяли отъ нея крови и „помазали иконы въ храмѣ" [1]), и о томъ, какъ возмущенные мужики, связавши ихъ, „отру-

[1]) Поразительный атавизмъ, и откуда онъ у революціонеровъ: до христіанства у всѣхъ языческихъ народовъ и у евреевъ тоже «помазывались жертвенною кровью» священные предметы, утварь, жертвенникъ, престолъ и пр. Неужели революціонеры, на счетъ исторіи беззаботные, это знали?

били имъ всѣмъ головы передъ этой самой церковью". Г-нъ А. С—нъ, другъ Соловьева и такой тоже прекрасный „вообще христіанинъ", разсказалъ фазу событія прямо съ аппетитомъ (опъ очень негодовалъ на кощунство). Статью его я хорошо помню: ее хоть перепечатать для убѣдительности, для рѣшенія важнаго вопроса. И я не осуждаю его. Да я самъ осуждаю ли убійцу Плеве? Нисколько. Помню, тогда радовался. Значитъ и я червякъ, и я только могу плакать о себѣ, А. С—нѣ, Соловьевѣ, о всѣхъ насъ, буквально червякахъ, убійцахъ „въ туманѣ", въ отдаленіи: всѣ мы—каинова племя или, пожалуй, тварь того Бога, Который даже и Сына Своего Единороднаго не пощадилъ"... И во мнѣ гнѣздится червь негодованія, возмущенія, раздраженія, возможной мстительности, отъ котораго я спасаюсь только въ „свой домъ", т. е. въ то, что „махнулъ рукой" на всякую политику и даже вообще на всю исторію, уединился, можетъ быть чудовищно (?!) уединился въ свое благополучіе, въ тотъ тихій уголокъ, гдѣ „меня всѣ любятъ" и я „всѣхъ люблю", и гдѣ уничтожены самые мотивы что-нибудь ненавидѣть и что-нибудь презирать. Вышелъ въ исторію: и сталъ ненавидѣть! Скрылся отъ нея—и сталъ... не святъ, а все-таки лучше. Исторія грѣхъ. Политика ужасный грѣхъ! Вотъ аксіома, въ которой мы всѣ бьемся, всѣ партіи, всѣ пишущіе. И нѣтъ между ними праведниковъ, и нѣтъ между ними грѣшниковъ: а всѣ равны, въ слабости и несчастіи своемъ (Каиново племя).

Въ концѣ концовъ я радуюсь, что Дума отвергла порицаніе политическихъ убійствъ и что амнистія тоже по всему вѣроятію не будетъ дана или дана крайне урѣзанная. Лучше, еслибъ ее совсѣмъ не дали, чѣмъ дали „сквозь зубы", съ отвращеніемъ и неохотно. Изъ двухъ грѣховъ (помоему, основныхъ въ исторіи), злобы и лжи, ложь я считаю худшимъ. Изъ лжи уже невозможно возрожденіе, ложь есть такое условіе всѣхъ вещей, при которой всѣ онѣ не истинны, временны, хрупки. Кто солгалъ въ сторону „состраданія", завтра солжетъ въ сторону „безпощадности". Злоба, каинство все же лучше: ибо убійца-Каинъ какъ затрясся и захотѣлъ не убивать!!! Изъ злобы возможно возрожденіе. И Дума, правительство, какъ всѣ партіи, всѣ мы проходимъ фазисъ злобы, распрей: и хорошо, что черезъ мучительныя и частью позорныя (на всю Европу!) пренія въ Думѣ натуральная истина не только нашей, но и французской, англійской, нѣмецкой, всякой человѣческой природы выступила въ ужасной и дикой наготѣ своей; вездѣ выступили „ваалы", „свои" боги: безъ универсальнаго надъ всѣми нами „Единаго Бога", о Комъ мы съ увѣренностью думали (во всѣхъ учебникахъ прописано, во всѣхъ катехизисахъ прописано), что Ему покланяемся. Его знаемъ... Ничего мы не знаемъ. Дѣти, младенцы. Дикари,—какъ сидоняне и тиряне. Не лучше, не выше. Выступила горькая правда, отъ которой „возрождаются" не въ дни, но въ годы; не въ „сессію Думы", а въ поколѣніяхъ, въ одно-два поколѣнія, можетъ быть въ три. Ну, что стоитъ

„сболтпуть“; „амнистія“ вѣво, порицаніе политическихъ убійствъ вправо, а въ сердцѣ что? То же убійство стоитъ, и оно возродилось бы завтра: какъ „смертная казнь отмѣнилась въ благополучное царствованіе Елисаветы Петровны, а на самомъ дѣлѣ послѣ самого же указа объ ея отмѣнѣ приговаривались преступники къ плетямъ съ такимъ расчетомъ, чтобы умереть не подъ кнутомъ, а этакъ день на 3-й (читалъ я въ исторіяхъ). „И овцы цѣлы, и волки сыты“. И „слава царствованію“, и преступнички все же „скончали животъ“. Такой правды вовсе не надо. Не надо такой гуманности, лживой, жестокой. Людямъ все равно при ней худо. Не надо этого. Лучше будемъ биться въ грѣхѣ, преступленіи, злобѣ—биться и пробиваться къ свѣту, годами, въ трудѣ, въ философіи, въ поэзіи, въ лучшихъ законахъ, черезъ лучшія учрежденія, вездѣ заводя тотъ „свой домокъ“, гдѣ каждый въ себѣ, въ городѣ, въ училищѣ, во всякомъ званіи и положеніи чувствовалъ бы блаженное: „меня всѣ любятъ, я всѣхъ люблю“, и терялъ бы мотивы злобы, ненависти, мести. А то мы съ десяти лѣтъ ненавидимъ: 1) училище, 2) университетъ, 3) службу, 4) начальство; въ худшемъ случаѣ даже ненавидѣли 5) родителей, 6) литературу и общество. И вотъ на фонѣ-то этой ужасной еще отъ младенчества злобы вдругъ выпало бы „всепрощеніе“. Невозможно, и ложь! Пусть ненавидятъ. Но пусть знаютъ, до чего это ужасно,—и пусть пожалѣютъ другъ друга именно въ ненависти, именно о ненавидѣніи. Вотъ когда революціонеръ пожалѣетъ

правительство за то и въ томъ, что оно такъ гнѣвается на него, революціонера, и когда правительство тоже пожалѣетъ революціонеровъ за эту ненависть, за этотъ гнѣвъ, который душитъ ихъ: тогда день близокъ. Я боюсь, что выражаюсь не ясно. Мнѣ опредѣленнымъ образомъ извѣстны случаи, когда, получивъ чрезвычайную обиду, обиженный въ ту же секунду гораздо больнѣе этой обиды чувствовалъ необъяснимое сожалѣніе объ обидчикѣ, о его поступкѣ съ внутренней его, обидчика, стороны, какъ бы этотъ обидчикъ впалъ въ несчастіе: вотъ при возможности и наличности такихъ чувствъ „всепрощеніе“ близко. Пусть революціонеры почувствуютъ жалость къ правительству за его Шлиссельбургъ, по крайней мѣрѣ вообще жалость, такъ какъ за повѣшенныхъ мнѣ кажется невозможно ее чувствовать, и пусть больніе наши администраторы, читая мемуары Кравчинскаго (Степняка) или Дебагорія-Мокріевича, скажутъ въ себѣ, подумаютъ безмолвно: „какіе, однако, эти люди были идеалисты, сколько молодыхъ жизней погублено, какая фигура этотъ Лизогубъ-милліонеръ, одѣвавшійся бѣднякомъ, ходившій по холоду и подъ дождемъ въ полотняномъ платьѣ, чтобы до послѣдней копѣйки же передавать на пропаганду и конспираціи“: когда это совершится въ молчаливой совѣсти, тогда дни „всепрощенія“ близки. Тогда близокъ Богъ... Теперь мы его не видимъ. Я думаю, по лицу земли должна пройти безконечная скорбь человѣка о себѣ: печаль, меланхолія, почти до невозможности жить. Мы слиш-

комъ какъ-то здоровы, „ядрены" (мужики говорятъ о свѣже-срубленномъ деревѣ), физіологичны. Мы должны пережить состояніе души, какъ бы вотъ умеръ другъ, мужъ, жена, отецъ, сынъ. Потеряно что-то безконечное, дорогое. Это такъ переживаетъ сердце, что жестокость не умѣетъ зародиться въ немъ, и ставастъ. Въ день смерти сына и Грозный (павѣрное) никого не казнилъ. Вотъ что нужно: и тогда близки новые дни...

# Въ настроеніяхъ дня.

Здѣсь натискъ пламенный, а тамъ
отпоръ суровый,
Пружины смѣлыи гражданственности
новой...

*Пушкинъ.*

Этими двумя стихами Пушкинъ опредѣлилъ существо парламентаризма въ извѣстномъ стихотвореніи, посланномъ въ сельцо Архангельское, близъ Москвы, знаменитому екатерининскому вельможѣ князю Н. Б. Юсупову. Впечатлительный поэтъ любилъ слушать его разсказы о заграницѣ, которую,— увы! — самому поэту такъ и не пришлось никогда увидѣть, несмотря на то, что его музу ласкала всемогущественная рука—и придерживала за крылья. „Зачѣмъ заграница поэту? Туда ѣздятъ лечиться старые интендантскіе чиновники,—ну, и тогда, натурально, получаютъ пособія... А поэтъ? Соловей лучше всего поетъ, когда у него выколоты глаза... Пушкинъ самъ же говорилъ, что больше всего творитъ въ дождливую осень. Ну вотъ и пусть русская осень окрыляетъ его музу,— осень да еще Клейнмихель. Самая лучшая обстановка для мальчишки, дерзнувшаго написать

когда-то „Оду на вольность“... Тутъ мы его женимъ, подъ сентябрьскій дождичекъ, да побалуемъ камеръ-юнкерствомъ, -пойдутъ дѣтишки, долгишки, и пылъ, авось, уляжется, даже навѣрное уляжется, какъ онъ замеръ вездѣ въ этой холодной, безмѣрной Россіи, въ этой парадной, покорной Россіи“.

И Пушкинъ пѣлъ, какъ соловей съ выколотыми глазами; пѣлъ объ испанкахъ, никогда не видавъ ихъ; объ Италіи,—не видавъ и ея. Вся поэзія Пушкина есть греза безглазаго генія, оттого-то она такъ и закруглилась, безъ шероховатостей, безъ запятыхъ, которыя,—увы!—во всякую мечту сумѣютъ вставить дѣйствительность.

Благословенный край, плѣнительный предѣлъ!
Тамъ лавры зыблются, тамъ апельсины зрѣютъ...
О, раскажи жъ ты мнѣ, какъ жены тамъ умѣютъ
Съ любовью набожность умильно сочетать,
Изъ-подъ мантильи знакъ условный подавать;
Скажи, какъ падаетъ письмо изъ-за рѣшетки,
Какъ знакомъ усыплять надзоръ угрюмой тетки;
Скажи, какъ въ двадцать лѣтъ любовникъ подъ окномъ
Трепещетъ и кипитъ, окутанный плащомъ.

Грезы, грезы! Схемы и схемы! Пѣснь соловья въ клѣткѣ, безглазаго,—мучительная, протяжная пѣснь, которую слушаетъ господинъ и наслаждается ею. Зачѣмъ господину глаза соловья? Онъ, владыка, богачъ, вѣдь не смотритъ ими: отъ соловья онъ имѣетъ только пѣсню, ему нужна только пѣсня. И когда она можетъ быть лучше отъ вырваннаго глаза,—пусть будетъ онъ вырванъ! Вотъ судьба Пушкина.

Я прошу прощенія у читателя за это отвлеченіе въ сторону, вызванное эпиграфомъ изъ великаго поэта. Обращаясь къ „вельможѣ"-старцу, объѣхавшему всѣ края Европы, онъ мысленно сопутствуетъ ему и произноситъ о видѣнныхъ имъ странахъ сужденія, какія самъ путешественникъ едва ли произносилъ, и даже навѣрное не произносилъ иначе, какъ въ формѣ смутнаго чувства:

> Но Лондонъ звалъ твое вниманіе. Твой взоръ
> Прилежно разобралъ сей двойственный соборъ:
> Здѣсь натискъ пламенный, а тамъ отпоръ суровый,
> Пружины смѣлыя гражданственности новой.

Мы только-только входимъ въ рамки этой гражданственности,—не столько „новой", сколько всемірной, ибо и въ Лондонахъ, и въ Римѣ—всюду, гдѣ была „гражданственность", были „cives" и „civitas", была вездѣ и эта встрѣча „пламеннаго натиска" и „суроваго отпора"... „Ново" это было только у насъ и для насъ, для зрѣнія русскихъ путешественниковъ, у себя на родинѣ видѣвшихъ только то, какъ всѣ согласно и единодушно ползутъ гуськомъ къ силѣ, вліянію, положенію, знатности, богатству... тягучими, медлительными рядами и все въ одномъ направленіи, къ всегрѣющему солнцу...

Мы имѣли литературныя мнѣнія, но не имѣли гражданской борьбы: ибо у насъ никогда не боролись, открыто и смѣло, групповые интересы. Они, конечно, были, эти „интересы", и даже боролись, но за отсутствіемъ свободы борьба ушла въ интригу, въ ползанье „вокругъ" и „около", въ жадное

улавливаніе руки, чтобы ее поцѣловать въ потемкахъ. „Помолимся“ да „поклонимся“--къ этому сводилась вся политика, успѣхи... обывательскіе, не гражданскіе. Не было „cives“, не было въ существѣ дѣла и „civitas“. Была „вотчина“, „вотчинный“ бытъ, „вотчинныя“ понятія; „вотчина“, выросшая въ страну, въ національную значительность, „конторское управленіе“ которой разрослось въ приказы, въ коллегіи, въ министерства... Но духъ и сущность все были одни: рабъ и баринъ, рабство и барство...

Нужно было барину пасть, чтобы и рабы перестали быть рабами. Два соотносительныхъ понятія, изъ которыхъ одно держится другимъ; и пало одно, -падаетъ и другое. Два года рушился великій авторитетъ: онъ рушился нравственно, духовно. Онъ сконфузился, занутался, онѣмѣлъ; онъ оморочень, какъ бы временно оглушенъ неожиданностями на Востокѣ, въ которыхъ такъ ясна, иногда до осязаемости, рука Провидѣнія,—поднимающая, унижающая, карающая, низвергающая. Вотъ ужъ „*мане, текель, фаресъ*“, прошедшій передъ очами нашими... Вотъ бы тема для „митрофорныхъ“ витій, если бы они были духовными вождями своего времени и людьми, какъ древніе пророки, а не мелкими „псами, ожидающими крохъ со стола господина своего“... Но,—увы!—тѣмъ же всевластнымъ политическимъ барствомъ народъ русскій давно лишенъ и пророчественнаго, священнаго, вдохновеннаго руководства: ему подсунуты вмѣсто него „словесныя рептиліи“, говорящія съ амвона и въ священническихъ одѣяніяхъ, съ

титлами и славянскими литерами, самыя обыкновенныя газетныя передовицы, но только до того вялыя, вымоченныя и высупленныя, что за нихъ газетному разносчику никто бы не далъ пяти копѣекъ,—ну, а даромъ послушать можно... Въ самомъ дѣлѣ, иногда съ грустью думается: обложи право слушанія церковныхъ проповѣдей гривенничнымъ сборомъ, и сколько бы слушателей осталось у нашего духовенства?.. Вотъ маленькій критерій, кое о чемъ напоминающій, кое о чемъ предупреждающій...

Но я все отвлекаюсь въ сторону отъ „натиска пламеннаго“ и „суроваго отпора“, о которомъ собрался говорить. Какъ воспламенились сейчасъ всѣ мысли, какъ раздѣлились и противопоставились взгляды, міросозерцанія, еще вчера текшіе рядкомъ и спокойно или текшіе параллельно и безъ вражды... Мы ползли, и довольно мирно. Вдругъ все вскочило и побѣжало: и траекторіи путей пересѣклись ужаснѣйшимъ образомъ... Послышался трескъ и ломъ въ душахъ, въ жизни...

День за днемъ, вчера и третьяго дня, я пережилъ двѣ встрѣчи, которыя оставили во мнѣ незгладимое впечатлѣніе... Какъ будто Богъ ведетъ въ наше время не только массу, но и водитъ отдѣльныхъ людей, указываетъ, просвѣщаетъ, почти говоритъ,—говоритъ тому, кто умѣетъ слушать. Не будь вчерашней встрѣчи, и позавчерашняя не обозначилась бы для меня въ такомъ особенномъ, глубокомъ смыслѣ, точно два слога одного слова, одного имени... Но я сперва разскажу о второмъ слогѣ...

Я вернулся домой скучный, недоумѣвающій и немного раздраженный. Мнѣ нужно было навести кое-какую справку касательно пріемныхъ испытаній въ одно изъ высшихъ женскихъ учебныхъ заведеній, и я поѣхалъ къ старому полу-другу, полу-знакомцу. Къ одному изъ тѣхъ знакомцевъ, которыхъ хотѣлось бы назвать „другомъ“, и только не чувствуемъ на это права по рѣдкости свиданій и вообще по малости обоюднаго тренія. Я зналъ уже нѣсколько лѣтъ эту дѣвушку, всю положившую жизнь свою для науки, и положившую успѣшно. Растеніе выросло и дало плодъ въ формѣ цѣнныхъ трудовъ по одной изъ трудиѣйшихъ вѣтвей знанія, которая, кромѣ огромныхъ свѣдѣній и страшно упорнаго трудолюбія, требовала еще и вкуса. Дѣвушка, уже далеко не молодая теперь, весело и счастливо, снаружи даже легко прошла тернистый путь библіотечныхъ сидѣній и заграничныхъ странствованій, и собирая матеріалъ, и построяя изъ матеріала. Вѣтвь знанія эта до того трудна и изощрена, что въ Россіи есть, можетъ быть, 2—3 лица, отдающія ей свои силы, и въ цѣлой Европѣ есть $1—1^1/_2$ десятка людей, которые разрабатываютъ ее. Это мнѣ и самому понятно и извѣстно, но я говорю это съ полной увѣренностью потому еще, что мнѣ пришлось то же самое услышать изъ устъ одного изъ первыхъ въ Россіи научныхъ свѣтилъ, въ своей области, даже перваго. Онъ мнѣ также сказалъ, когда я съ нимъ заговорилъ объ этой удивительной дѣвушкѣ и предметѣ ея многолѣтнихъ занятій, что во всей Европѣ есть только нѣ-

сколько, очень немного ученыхъ, которые знаютъ эту науку и вообще занимаются и могутъ заниматься этимъ предметомъ, самая азбука котораго вовсе недоступна не только—для обыкновенныхъ образованныхъ людей, но даже и для большинства профессоровъ того самаго факультета, къ которому эта наука относится, кромѣ нѣсколькихъ человѣкъ въ Европѣ. Съ понятнымъ чувствомъ чисто національной гордости смотрѣлъ я на нее, и всегда казалась она мнѣ самымъ разительнымъ опроверженіемъ всего того предразсудочнаго и злого вздора, какой говорится и неучами, и даже не неучами противъ высшаго женскаго образованія, противъ способности женщинъ къ отвлеченной и безкорыстной наукѣ. Но поползновеніе къ дружелюбію съ этою дѣвушкою вытекало у меня изъ другихъ впечатлѣній.

Первый разъ, когда я много лѣтъ назадъ переступилъ порогъ ея квартиры,—я былъ поражепъ пустынностью большихъ, опрятныхъ, но совершенно лишенныхъ какого-нибудь „женскаго убранства“ комнатъ. Ни зеркалъ, ни ковровъ,—при ясномъ отсутствіи нужды и бѣдности. Только полки книгъ и какъ будто слѣды чего-то училищнаго. Тутъ я узналъ, что здѣсь находится и среднее учебное заведеніе, тоже женское, въ составѣ младшихъ классовъ, другой ученой женщины, автора также нѣсколькихъ книгъ изъ области съ тою, какою занималась новая моя знакомая. На меня повѣяло точно какою-то древнею философіею или, точнѣе, мудрымъ и простымъ способомъ жизни древнихъ философовъ, еще не

одѣвавшихся въ павлиньи перья нашей новой науки. Въ ту пору, довольно давнюю, и я не былъ другомъ женскаго образованія, раздѣляя предразсудокъ, что наука лишаетъ женщинъ „этого чего-то неуловимаго, что пріятно намъ, мужчинамъ“. Жестокое сужденіе! Какъ будто онѣ *обязаны* намъ нравиться,—какъ будто это какія-то красивыя игрушки, „которыхъ не надо, если онѣ не подходятъ къ нашему вкусу“. „*Вкусовая* вещь! *Наша* вещь!“—говорили христіане въ христіанствѣ, по тому что до христіанства, въ Александріи, въ Греціи, женщины свободно занимались всѣми науками, были участницами въ философскихъ школахъ, читали публичныя лекціи. Но я имѣлъ суевѣрія и вошелъ угрюмо и недружелюбно въ квартиру, гдѣ уже по обилію книгъ ожидалъ встрѣтить что-нибудь грубое и нигилистическое.

Вышли дѣвушки, правда, безъ прическъ и костюмовъ, безъ суевѣрій и предразсудковъ „своего пола“, что сказалось съ первыхъ же словъ и манеры бесѣды. Но какая же въ нихъ была бездна „этого чего-то, что намъ всѣмъ нравится“,—при отсутствіи и красоты, и молодости. Т. е. не то, чтобы „отсутствіи“, но если что-нибудь въ этомъ родѣ и было у нихъ, то ни для обладательницъ, ни для собесѣдниковъ это не составляло никакого значенія. Просто—другая тема, другой интересъ. Но этотъ непрерывно умный и напряженно умный интересъ былъ окутанъ во всю прелесть особой женской психологіи, гдѣ все начато и недокончено, которая вся въ многоточіяхъ и запятыхъ, а не въ этихъ крупныхъ мужскихъ

„точкахъ“, которыя такъ кратки и всегда останавливаютъ. Боюсь, что я клевещу и даю читателю понятіе хуже, чѣмъ какъ его имѣю. Мужчины говорятъ, бесѣдуютъ, доказываютъ—точно желѣзомъ стучатъ. Сказано,—и кончено; стоитъ,—и никуда дальше. Что-то сильное, но и немножко тупое. Умъ женскій, въ сущности, проницательнѣе, живѣе, бѣгучѣе, онъ въ какихъ-то именно „мелкихъ знакахъ препинанія“, которые не такъ существенны, какъ точка, но зато даютъ такіе оттѣнки человѣческой рѣчи и человѣческому произношенію, такія краски языку и письму, какихъ и намека не содержится въ глубокомъ и сильномъ „главномъ знакѣ препинанія“...

Не могу здѣсь не передать одного сужденія, услышаннаго мною отъ этихъ Аонидъ-Палладъ,—сужденія, котораго мнѣ не приходилось ни слышать, ни читать. Какъ студентъ-филологъ Московскаго университета, я ношу и всегда носилъ тоску о пустынности, о безлюдности этихъ факультетовъ, какой-то всегдашней и какой-то неодолимой. Такія важныя знанія, одухотворяющія,—и такъ мало слушателей. Читаются, не говоря о языкахъ,—исторія, литература, философія; читаютъ талантливые профессора, С. М. Соловьевъ, Ключевскій, Герье, Стороженко, Трубецкой, Лопатинъ, а слушателей иногда нѣсколько человѣкъ и въ лучшемъ случаѣ нѣсколько десятковъ. Въ задумчивости я выразилъ полунегодованіе, полуудивленіе къ этому факту.

— Ничего нѣтъ удивительнаго,—возразили собесѣдницы. Семинаристовъ не пускаютъ въ уни-

вершитель. между тѣмъ только семинаристы, почти только, и воспріимчивы къ тонкостямъ филологической культуры, какъ и могутъ справиться съ ея большими трудностями. Единицами сюда примыкаютъ дворяне, но никогда филологами, лингвистами, историками и пр. не дѣлаются купеческія дѣти, дѣти литераторовъ, какъ равно мѣщанъ или купечества. А эти-то теперь и заполняютъ среднюю школу, дающую весь контингентъ студенчества. Духовенство даже въ нищихъ семьяхъ все преемственно культурно: оно имѣетъ за собою десять поколѣній, которыя плохо ли, хорошо ли, но учились, напрягали мозгъ, что-то усваивали, чего не дѣлали ни предки журналиста, ни предки крестьянина или купца. И дѣти этихъ преемственно необразованныхъ классовъ, даже при большихъ личныхъ способностяхъ, не имѣютъ тѣхъ навыковъ въ энергіи умственнаго труда, какъ и тѣхъ возвышенныхъ влеченій, какъ грубые семинаристы, говорящіе на „о“. Почти всѣ русскіе филологи, какъ и лучшіе историки,—изъ духовенства: Соловьевъ, Ключевскій, Платоновъ, Модестовъ, Помяловскій, Павскій, Благовѣщенскій. Никого изъ разночинцевъ и чиновниковъ, изъ этихъ новыхъ людей, въ душѣ которыхъ, въ умѣ которыхъ нѣтъ этихъ проторенныхъ, намѣченныхъ *вѣковыхъ* дорожекъ.

Не правда ли,—удивительно? Не только мнѣ, но и Министерству Народнаго Просвѣщенія въ голову не приходило! Извѣстно, что насадитель у насъ классической системы, гр. Д. А. Толстой: 1) миновавъ питомцевъ четырехъ духовныхъ ака-

домій нашихъ, силошь всѣхъ учителей греческаго языка и очень многихъ учителей латинскаго языка выписалъ изъ Австріи, 2) закрылъ вовсе университеты для оканчивающихъ семинарскій курсъ.

И много подобныхъ по свѣжести и новизнѣ мыслей мнѣ привелось услышать отъ этихъ дѣвушекъ, любившихъ свое высшее женское учебное заведеніе, и вообще, конечно, сторонницъ высшаго женскаго образованія. Какъ-то я заговорилъ о 60-хъ годахъ:

— Конечно, много было чепухи, увлеченія и, наконецъ, нравственныхъ безобразій, отмѣченныхъ Тургеневымъ, Гончаровымъ, Писемскимъ. Наблюденія ихъ неоспоримы, но и односторонни: все, что у насъ есть теперь здороваго и цѣпкаго, сильнаго и энергичнаго въ обществѣ, въ стремленіяхъ, въ государственномъ сложеніи, въ духѣ и поведеніи людей, родилось въ 60-е годы,—отъ людей, осмѣянныхъ во „Взбаламученномъ морѣ“, „Обрывѣ“ и въ нѣкоторыхъ персонажахъ „Отцовъ и дѣтей“. Какъ о Петрѣ говорили послѣ него: „Все *отъ него* имѣемъ“, такъ и въ нашу пору, когда о коммунахъ и свободной любви тѣхъ дней нѣтъ и помину болѣе, приходится сказать, что мы „все имѣемъ *отъ нихъ*, все у насъ пошло *отъ нихъ*“.

Я любовался этою спокойною мыслью, умѣющею отдѣлять эксцессы минуты отъ большой исторической работы...

И вотъ этихъ дѣвушекъ, не видавъ ихъ два года, я увидѣлъ вчера... Какая перемѣна! Что

случилось?! Какъ будто въ спокойное озеро или, еще лучше, тихую заводь брошены раскаленные камни, огромная ихъ куча—и все закипѣло, забурлило; кверху поднимаются пузырьки, множество ихъ, и, быстро лопаясь, выпускаютъ паръ.

Я не буду въ подробности передавать ихъ рѣчи,—всей этой бесѣды, положившей на душу тяжелое впечатлѣніе.

— Я была больна эти 72 дня, пока была Дума... Да, я не могла не читать газетъ: отвратительно, но я читала три газеты, выписывая одну постоянно и посылая на улицу покупать отдѣльные номера еще какихъ-нибудь двухъ... Я забросила свои занятія: развѣ возможно было заниматься при этомъ сумбурѣ, при зрѣлищѣ, что все дорогое падаетъ, все красивое въ исторіи опле-вывается... Vis-à-vis съ нами устраивались митинги,—и мы видѣли, мы сами видѣли, какъ какой-нибудь вертлявый студентъ или растрепанная курсистка дѣлаетъ, видите ли, „разъясненія" рабочимъ людямъ, этимъ честнымъ русскимъ людямъ,—развращая ихъ, отнимая у нихъ здравый смыслъ и на мѣсто его вкладывая какую-то издерганную душонку нервнаго психопата... Но,—слава Богу!—этотъ сумбуръ кончился,—Думу закрыли. Неужели она опять соберется и въ такомъ же видѣ? Я не вѣрю, мы не вѣримъ; возьметъ же верхъ здравый смыслъ людей...

- Россія гибнетъ и, можетъ быть, погибнетъ, потому что у нея нѣтъ... интеллигенціи. Нѣтъ образованнаго класса, вовсе, нисколько! Нѣтъ вождей. Все—стадо и люди стада... Между тѣмъ,

какъ прекраснъ народъ самъ по себѣ... Я получаю много писемъ изъ провинціи: тамъ, въ тишинѣ и глубинѣ народныхъ нѣдръ, уже образуется совсѣмъ иной взглядъ на текущія событія, чѣмъ какой мы имѣемъ здѣсь, въ Петербургѣ, и который смѣютъ выдавать за взглядъ цѣлой Россіи... Рождаются легенды, какъ во всѣ критическія эпохи, и вотъ вы послушайте, что онѣ говорятъ.

Легенды были красивы... Да, легенды, миоы, преданія—можетъ быть—поэзія народная и оскорблена ломомъ и трескомъ, который раздается вокругъ. Вѣдь поэзія благоухаетъ именно въ заводьѣ, въ затишьѣ,—особенно русская поэзія, эта покорная, грустная поэзія, такая пассивная, такая типично *не героическая*... Ее спугнула бы и оскорбила не только революція, но, напр., Гуситское движеніе или Лютерово... Развѣ мы не знаемъ этихъ святыхъ героевъ русскаго раскола, которые, не допуская и мысли о *сопротивленіи*, какъ о грѣхѣ, покорно умирали, закапывались въ землю сами, сжигали себя сами... Русское *безволіе*, этотъ „антоновъ огонь" исторіи,—о, оно ужаснѣе костровъ и пытокъ инквизиціи, какъ и антоновъ огонь ужаснѣе въ біологическомъ смыслѣ самыхъ мучительныхъ болей, хотя и безболѣзненъ... Да, „легенды" противъ движенія, можетъ быть... „Легенды" вѣдь за „красную смерть", самосожженія въ срубахъ... Но заработная плата, рабочій, т. е. девяносто и даже девяносто девять процентовъ населенія?..

Я замѣтилъ, что мои энтузіастки „историческихъ основъ" Россіи, когда говорили о митин-

гахъ и о „развращеніи“ отъ разговоровъ студентовъ,—были *глубочайше равнодушны къ конкретной темѣ этихъ бесѣдъ*. Ихъ поражало только зрѣлище, что вотъ „мужикъ въ армякѣ и кушакѣ“, похожій приблизительно на Мишина или Сусанина, послѣ „разговоровъ“ преобразовывался въ не-эстетическую фигуру блузника... Говорю обобщая и сравненіемъ, хотя, конечно, его не было сказано... Эстетика, эта проклятая эстетика, которою отравились русскіе, кажется, съ начала своей исторіи,—я видѣлъ, что она одна управляетъ сужденіями и этихъ милыхъ и такъ глубоко мною чтимыхъ дѣвушекъ... Опять эстетическое начало исторіи, съ такимъ глубокимъ забвеніемъ хлѣба, ѣды, одежды, жилища,—съ забвеніемъ, что кто-то не одѣтъ и проситъ хлѣба... Этотъ отвратительный стихъ Пушкина:

Тьмы *низкихъ истинъ* намъ дороже
Насъ *возвышающій* обманъ...

Стихъ этотъ, дворянскій, не трудолюбивый стихъ, проговоренный съ балкона того дома, который построили голодные мужики и которымъ за работу ничего не заплатили,—онъ владѣлъ и душами моихъ милыхъ, прекрасныхъ собесѣдницъ...

Но какъ *сами* онѣ были неэстетичны въ своей новой желчи, озлобленіи, сарказмѣ надо всѣмъ происходящимъ...

— Я была больна эти 72 дня, какъ засѣдала сумасшедшая Дума.

Я промолчалъ, но могъ бы отвѣтить:

Сударыня, Дума собиралась вовсе не въ интересахъ вашего здоровья, и вообще на свѣтъ есть нѣкоторыя другія вещи, кромѣ состояній вашего духа, и вещи эти идутъ сами собою и внѣ какой-нибудь связи и обязательной зависимости отъ того, что вамъ нравится и не нравится...

Но я промолчалъ. Когда-то я видѣлъ ихъ прекрасными, добрыми, универсальными, и просто теперь не хотѣлъ войти въ тотъ узкій, глухой переулокъ мысли и наблюденій, гдѣ онѣ кипѣли въ безсильномъ негодованіи...

Когда собесѣдницы мои кончили убѣжденное и страстное анаоемствованіе новаго положенія вещей, я сказалъ имъ — ибо было время разставаться:

— Ну, хорошо. Я вамъ не возражалъ и не собираюсь возражать. Въ васъ говоритъ исторія и чувство родной исторіи, вы говорите какъ защитницы эстетическихъ, сѣдыхъ, величественныхъ руинъ прошлаго, которыя смываетъ, по-вашему, современная грязь. Хорошо. Не спорю. Признаю, по крайней мѣрѣ, личную мотивированность вашихъ чувствъ, и, конечно, не мнѣ переманить васъ отъ монументовъ Сусанина и Минина на какой-нибудь шумный митингъ путиловцевъ. Вѣдь и я интеллигентъ же, какъ вы, и меня затрогиваетъ не только фактъ революціи, сколько революція какъ толпа новыхъ идей, какъ поворотъ къ новымъ задачамъ существованія, къ новымъ заботамъ о забытыхъ доселѣ частяхъ человѣчества. Ваше исповѣданіе поразительно. Но какъ разъ вчера я выслушалъ другое исповѣданіе, и теперь

стою растерянъ между нимъ и вами. Вѣрнѣе, всѣми силами души я отдаюсь впечатлѣнію вчерашняго исповѣданія, а вы выслушайте его, въ качествѣ цѣлостнаго вамъ отвѣта, и уже думайте и рѣшайте, какъ знаете.

И я передалъ, сколько могъ подробнѣе, позавчерашній мой разговоръ.

Дѣло было передъ ужиномъ,—и мы за общимъ столомъ разговорились съ полу-шведкой, полуфинкой, подругою нашей дочери. Дѣвушка такъ юна и такъ мало имѣетъ умственнаго авторитета, что, въ общемъ, мнѣ никогда и не приходило на умъ вести съ нею какую-нибудь бесѣду на серьезныя темы. Старости — размышлять, а юности — играть... Но эта играющая юность имѣетъ свою впечатлительность, имѣетъ свой глазъ, чтобы видѣть, глазъ еще безъ предразсудковъ, безъ толпы затѣняющихъ, благопріобрѣтенныхъ и застарѣвшихъ понятій; и старости полезно бываетъ иногда взглянуть на вещи этимъ свѣжимъ чужимъ глазомъ безъ предразсудковъ.

Я сказалъ, что она шведка,—по отцу, и даже не русская, а шведская подданная; брать ея уѣзжалъ года два назадъ въ Стокгольмъ для отбыванія воинской повинности. Но они живутъ неподалеку отъ Петербурга и вообще привязаны къ Россіи заработкомъ, частною (техническою) службою. Дома говорятъ по-шведски, имѣютъ шведскій столъ, въ которомъ кушанья ѣдятъ сзаду напередъ, т. е. сперва жаркое и потомъ супъ; пьютъ чай изъ какой-то кастрюли вмѣсто самовара, и проч. неудобства и несообразности. Но дѣти всѣ

прошли или проходятъ русскую школу и значительно обрусѣли. Мать—финка; прислуга въ домѣ ихъ—русская, и мнѣ пришлось однажды выслушать, до чего эта финка-хозяйка привязалась къ грубѣйшей и неуклюжей русской кухаркѣ, уже не молодой и безобразной, и нянчится съ ея незаконно-прижитымъ ребенкомъ. „Мама его любитъ не меньше, какъ, бывало, мою младшую сестру, свою дочь, когда та была маленькая. Мостъ и нянчитъ ребенка, когда матери некогда, и никогда не дастъ его матери бить.

Разговоръ случайно коснулся Финляндіи и идей сепаратизма, волнующихъ финновъ и шведовъ. Я возразилъ:

— Вы знаете, противъ сепаратизма я не имѣю никакихъ суевѣрій, и увѣренъ, что раньше или позже народы всюду на земномъ шарѣ сложатся приблизительно такъ, какъ нѣмцы, французы и итальянцы въ единой Швейцаріи, любимомъ общемъ своемъ отечествѣ, гдѣ три націи имѣютъ каждая деньги на своемъ родномъ языкѣ. Да, это странно: въ крошечной Швейцаріи при размѣнѣ денегъ въ Монтре мнѣ выдали пачку билетовъ съ нѣмецкими надписями, пачку съ французскими и пачку съ итальянскими. Всѣ разъединены и всѣ соединены, никто не связанъ и всѣ другъ къ другу привязаны, никто не рабы и никто не господинъ, но всѣ граждане и братья. Вотъ идеалъ. Такъ-что финляндскій сепаратизмъ ничѣмъ лично мнѣ и моимъ идеямъ не угрожаетъ. Но я припоминаю слова, сказанныя мнѣ лѣтъ восемь назадъ знаменитымъ армянскимъ патріотомъ Джаншіе-

вымъ, и передамъ вамъ ихъ такъ, какъ ихъ услышалъ:

— „Это возмутительно, если насъ, армянъ, обвиняютъ въ тенденціяхъ къ *отдѣленію отъ Россіи*. Армяне слишкомъ умны и трезвы для подобной фантазіи".—Слушайте теперь внимательно его слова, которыя и меня поразили новизною и основательностью:—„Время,—сказалъ онъ далѣе,—для образованія небольшихъ самостоятельныхъ государствъ прошло. Вся Европа стянута въ пять огромныхъ государствъ, напр., Франція можетъ существовать, можетъ дышать свободно, по-своему и безопасно, только держась за связь съ Россіей, безъ которой Германія ее раздавила бы. Это можно повторить и объ Италіи, и въ собственномъ смыслѣ абсолютно самостоятельно существуютъ только Англія, Германія и Россія или, точнѣе,—англо-саксонскій, германскій и русскій міры. Все остальное не имѣетъ никакихъ силъ держаться на своихъ ногахъ, и падаетъ просто отъ сосѣдства съ этими колоссами, силою неизмѣримаго ихъ притяженія и давленія, культурнаго, духовнаго, физическаго, военнаго, всяческаго. Таковъ моментъ исторіи, фаза ея, времени окончанія которой и предвидѣть нельзя. Воображать или пугаться, что армяне или поляки образуютъ въ XIX—XX вѣкѣ какую-то *Великую Армению* или *Королевство польское*, - могутъ только „Московскія Вѣдомости", — по преступнымъ видамъ, имъ однимъ понятнымъ. „Моск. Вѣд." просто стараются отстоять безобразныхъ кавказскихъ администраторовъ, ихъ ненаказуемость и безсовѣстность, а армяне, просто какъ живыя

существа, какъ люди, а не скоты, вопятъ отъ боли подъ этою администраціею, дикою и развращенною... Вотъ и все, а не сепаратизмъ". Это меня поразило, т.-е. не въ отношеніи Арменіи или Польши, но какъ общее политическое сужденіе, какъ взглядъ на исторію. И я предлагаю вамъ примѣнить это къ Финляндіи. Она будетъ или русскою, или шведскою: но между Россіею и Швеціею она не будетъ никогда собственно „чухонскою," „финскою", своею и самостоятельною..."

— И я не стою за это, и передаю вамъ только то, что говорятъ финны, и основательность чего нельзя не чувствовать. Они говорятъ: „Что такое была Финляндія безъ насъ и до насъ? Это холодная безсолнечная страна, которая ничего не рождала. Одинъ камни, безъ способности почвы къ какому бы то ни было земледѣлію. Мы Финляндію сотворили не какъ пахарь свою ниву, а какъ мать своего ребенка: мы ее сдѣлали, т.-е. сдѣлали, что ее можетъ вообще кто-нибудь обитать, русскій, шведъ, всякій. Она была необитаема; мы не просто населили ее, какъ русскіе Россію, а мы ее сдѣлали способною къ обитанію, къ прокормленію человѣка. Это было страшно трудно, — и мы трудились всѣмъ народомъ, въ каждой хижинѣ и деревнѣ. Теперь пришли русскіе и говорятъ: „Это наше!" Это чортъ знаетъ что такое! Все равно, какъ и ранѣе, когда пришли шведы и сказали: „Эта земля *наша*! Финны — наши *подданные*! Это такъ же возмутительно. И финны, угрюмые и молчаливые, возмущены и взволнованы, наконецъ, разъярены этимъ нарушеніемъ естественнаго ихъ

права, права человѣка, который посадилъ свою яблоню и хочетъ снимать съ нея плоды". Вотъ разъ-сужденіе. Я вамъ передаю, его какъ слышала, а вы судите, какъ знаете...

- Понимаю, понимаю! *Естественное* право,— конечно, *священнѣйшее* всякихъ гражданскихъ и политическихъ правъ. Способъ племенныхъ отношеній, какой сложился въ Швейцаріи,—я думаю, оттого и восторжествуетъ въ далекомъ будущемъ, что подъ нимъ лежатъ и его требуютъ неуничтожимыя и незаглушимыя народныя чувства, вотъ эти „естественныя чувства" человѣка на свой трудъ, свой языкъ, свою вѣру, свой бытъ, свою школу и даже... деньги на своемъ языкѣ. Въ самомъ дѣлѣ, большія политическія системы, о которыхъ говорилъ Джаншіевъ, являясь наличною дѣйствительностью, не несутъ въ себѣ никакого въ сущности идеала и должна растаять, развалиться на этой безидеальности своей. Что за дикое существованіе, когда сто милліоновъ разумныхъ существъ точно для того только и живутъ, чтобы десять, пятьнадцать, пятдесятъ человѣкъ, именуемыхъ „министрами" и „главноуправляющими", имѣли... матеріалъ для упражненія своихъ способностей... Богъ съ ними. Это что-то смѣшное, а не великое. Просто это аберрація исторіи, дальтонизмъ человѣка; и, конечно, каждый человѣкъ и каждая деревенька, и всякій городокъ заживутъ когда нибудь для себя и по-своему. Можетъ быть я не геній, но я не захотѣлъ бы имѣть дѣтей, чтобы дать только матеріалъ для школъ Делянова и Толстого; можетъ быть, моя вѣра плоха, но я

не хочу имѣть вѣры только въ интересахъ существованія Вѣдомства Православнаго Исповѣданія. Великія политическія системы дѣйствительно существуютъ и вытекли изъ безграничнаго пренебреженія *личностью* человѣка; изъ великаго неглижерства къ тому, что вотъ есть Иванъ и Петръ, и вовсе не въ качествѣ „податныхъ единицъ", „рекрутскихъ единицъ" „питейныхъ единицъ", „учебныхъ единицъ", и проч., и проч.,—а какъ именно „Иванъ" и просто „Иванъ", со своей судьбой и Богомъ. Всѣ эти „политическія системы" хороши à vol d'oiseau, „съ высоты птичьяго полета", а какъ спуститься на землю да послушать ее,—стонъ, мерзость, угнетеніе, голодъ, нищенство, отчаяніе... Не нужно этого! Какъ честный человѣкъ, кричу: не надо этого!!

— Но это—когда-нибудь, далекое будущее. Мирной жизни финляндцевъ и русскихъ,—очень многолѣтъ мирной,— помѣшали „Моск. Вѣд.". Лѣтъ пятнадцать уже онѣ подняли систематическую кампанію противъ той дѣйствительно огромной автономіи, какою Финляндія пользовалась, и довели дѣло до отнятія стародавнихъ и, можетъ быть, неосновательныхъ, но уже окрѣпшихъ и до чрезвычайности милыхъ привилегій финскаго народа. Дѣло дошло до Бобрикова, и Бобриковъ палъ. А теперь взаимныя отношенія русскихъ и финновъ въ полномъ развалѣ. Такова государственная заслуга этой патріотической газеты. Но вотъ въ чемъ дѣло, и чего, можетъ быть, вы по молодости не знаете. Государь Александръ II въ вознагражденіе за то, что финны оставались спокойны въ то

время, какъ поляки въ 1863 году возмутились и усиливались отложиться отъ Россіи отнявъ у Польши всякую тѣнь самостоятельности, въ то же время даровалъ финнамъ всяческую свободу, въ такихъ размѣрахъ и предѣлахъ, какъ этого не только не имѣетъ никакая часть Россіи, но и не имѣетъ никакая часть, напримѣръ, Пруссіи или Англіи. Подумайте, всего въ одномъ часѣ ѣзды отъ Петербурга Финляндія имѣетъ свою таможню, свою монету, кажется, имѣла свое войско. Можно ли представить что-нибудь подобное около Парижа, около Берлина, Вѣны, Лондона? Тутъ — русская ширь, самонадѣянность, вѣра въ себя и также вѣра въ человѣка, когда она оправдана. Прекраснымъ, твердымъ и законнымъ своимъ поведеніемъ финны оправдали вѣру въ нихъ государей наших, и государи засыпали ихъ милостями, совершенно не виданными не только въ теперешнихъ политическихъ системахъ, довольно полицейскаго духа, но и нигдѣ въ исторіи. Теперь все это рушилось.

Моя собесѣдница разсмѣялась:

· Повѣрьте, я знаю,—къ русскимъ и нѣтъ никакой вражды у финновъ. Моя мама...

И разговоръ перешелъ въ подробности, въ разсказы... Но вотъ между ними одинъ, который собственно и отвѣчаетъ на тему моего разговора съ негодующими русскими патріотками:

— Къ мамѣ часто привозитъ хлѣбъ хлѣбникъ изъ выборгской булочной. Хорошій характеръ, привѣтливый нравъ,—и лѣтомъ, сидя на балконѣ на дачѣ, мы разговорились съ нимъ о его житьѣ-

бытьѣ. Онъ ужасно томится недоумѣніемъ. Попалъ въ Выборгъ онъ случайно, живетъ на мѣстѣ лѣтъ восемь: между тѣмъ, у него въ Россіи, гдѣ-то во внутренней губерніи, Орловской или Калужской, своя семья, домъ и поле. Онъ крестьянинъ и по вашимъ законамъ не можетъ продать земли и дома... Въ своемъ дому и на своей землѣ и живутъ его жена и дѣти, къ которымъ его ужасно тянетъ. Онъ говоритъ: „Ни мнѣ къ нимъ итти, ни къ себѣ ихъ вызвать,—да съ семьей не знаю, проживу ли здѣсь!“ Естественнѣе для семьи, земли и дома бросить булочную, гдѣ онъ пасмный человѣкъ,—и въ этомъ смыслѣ ему и говорили покупатели булокъ.—„Не могу я бросить своего хозяина въ Выборгѣ. Куда я вернусь на родину? Земли мало, работать не на чемъ, придется итти въ городъ на работу же, а какая работа въ Россіи? Здѣсь я Бога узналъ, совѣсть и законъ. Человѣкомъ себя почувствовалъ. У одного хозяина всѣ восемь лѣтъ. Самъ онъ человѣкъ не капитальный, хотя средства есть. Когда я поступилъ на службу къ нему,—въ первую же субботу онъ приходитъ и говоритъ: „Въ баню пойдешь? Перемѣна бѣлья есть?“—„И пошелъ бы, да бѣлья запаснаго нѣтъ,—развѣ что попариться“.

Пошелъ онъ къ хозяйкѣ, и принесла мнѣ хозяйка пару чистаго бѣлья,—не передѣть, а вовсе.

А хозяинъ сказалъ: „Вы работаете хлѣбъ, и работу эту нужно дѣлать въ совершенной чистотѣ. Отъ этого я напоминаю о банѣ“. И не со мной однимъ такъ. Не мнѣ одному онъ далъ перемѣну бѣлья,—а какъ только у котораго работника чего

въ одежѣ не хватаетъ, особенно въ бѣльѣ,—онъ непремѣнно дастъ. И у каждаго работника при заведеніи своя отдѣльная комната,—когда у насъ, въ Россіи, всѣ булочники спятъ на тѣхъ ларяхъ, на которыхъ валяютъ тѣсто. Хозяинъ никого не тѣснитъ, всѣхъ оберегаетъ, и мы все равно сжились съ нимъ какъ въ одну семью, и не отдѣляемъ своего отъ его. А передъ праздникомъ онъ войдетъ къ каждому рабочему въ его комнату и поздравитъ его съ наступающимъ праздникомъ. Такъ вотъ какъ. Этого я въ Россіи не найду; а вотъ тянетъ меня увидѣть дѣтей и жену, но ужъ не знаю, ниъ ихъ сюда переселить. А только на старое мѣсто вернуться мнѣ противно и страшно...

— Такъ вотъ какъ, мои ученыя собесѣдницы,— кончилъ я этотъ разсказъ имъ. — Вы возмущаетесь возмущеніемъ Россіи, а оно слишкомъ основательно, и вытекаетъ изъ тоски по культурѣ и идеалу, о чемъ, кажется, и вы плачетесь, какъ о чемъ-то сокрушающемся, рушащемся. Этотъ разсказъ выборгскаго булочника не тенденціозенъ. Но кого онъ обнимаетъ? Весь народъ. Такъ трудятся, по-свински и въ свинствѣ, по всей Россіи. Падаетъ не идеалъ, а падаетъ Россія, въ огромныхъ частяхъ своихъ падаетъ, отъ безидеальности существованія.. Что вы мнѣ говорите о Мининѣ и Пожарскомъ, о красивыхъ легендахъ, слагающихся о новыхъ временахъ въ народѣ. Этотъ разсказъ булочника для меня гораздо важнѣе всякихъ миѳовъ и поэтическихъ грезъ, ибо послѣднія убаюкиваютъ меня среди мертвечины, а первый воскрешаетъ изъ мертвыхъ. Я работать

хочу... Вся Россія и рванулась къ работѣ, къ гигантскому новому созиданію, къ перевороту всѣхъ условій существованія, и прежде всего условій труда. Но это—только во-первыхъ. Обратите вниманіе въ разсказѣ булочника на привѣтъ, на ласку. Хозяинъ войдетъ накануѣ праздника и поздравитъ своихъ рабочихъ съ днемъ, радостнымъ для него и для нихъ „Sontag"... И не хочетъ русскій, взглянувъ на это ихъ чухонское житье, возвращаться въ Калугу... Тутъ уже нѣтъ въ этомъ поздравленіи хозяина ничего утилитарнаго, никакой чистоплотности около испеченнаго хлѣба: это быть и нравы добрыхъ, облагороженныхъ людей. Можетъ ли этому выучить школа? Увы, никогда!.. Не та тема, не та область. Гдѣ взять этого благородства, этой деликатности, этой тишины, — и простой доброты безъ спиритуалистическихъ экстазовъ? Это ихъ честное, доброе. рабочее протестантство... Въ цивилизаціи все связано, какъ въ организмѣ, напр., связана форма зубовъ съ длиной кишечнаго канала, копыта съ рогами, и прочее. Все связано! И никогда, никогда русскій попъ, кладущій такіе хорошіе поклоны передъ ракою преподобнаго Серафима Саровскаго, гдѣ тутъ же положена тарелочка для сбора пятаковъ съ мужиковъ,—никогда этотъ попъ даже и вопроса себѣ не задастъ: а какъ трудится русскій работникъ? Что ѣстъ? Что пьетъ? Во что одѣвается?.. Не то соотношеніе, не тѣ вопросы религіи – тысячелѣтніе, культурные. Не тысячу ли лѣтъ учили они сами, эти попы, что земля—только удѣлъ терпѣнія, и что въ терпѣніи -подвигъ, вѣра, до та-

кой стеснии, что аѳонскіе монахи, свѣточи Востока, даже вшей съ себя не обираютъ, а причесаться — сочли бы истиннымъ окаянствомъ и гибелью души. Это нисколько не анекдотъ, а простой фактъ, что истинные тружешики вѣры на Аѳонѣ никогда не купаются, не моются, „дабы не соблазшться видомъ голаго тѣла“ (своего-то! каковы сластолюбцы!!), и никогда не мѣняютъ разъ надѣтой одежды, пока не придетъ въ ветхость. Сколько поту! Сколько вони! Да, „по тутъ-то и благоухаетъ святость“. На Аѳонъ всѣ ходятъ и съ Аѳона „страннички“ по всей Россіи ходятъ: это академія подвига, вѣры и идеаловъ. Такъ возможенъ ли выборгскій чистоплотный и ласковый хозяинъ въ этой культурѣ? Не вырости острому зубу при кишечникѣ травоядпаго, а у хищника не вырости копыту. *Соотносительность* органовъ правитъ и цивилизаціями. И вотъ поднялась вся Русь, все въ Руси... И тутъ столько же тоски, слезъ, какъ и негодованія, гнѣва. О вашихъ рѣчахъ я подумаю, но и вы о моихъ тоже подумайте...

Такъ окончилась моя бесѣда съ учеными старогражданками.

## Ослабнувшій Фетишъ.

„Революція“ не получила бы отдѣльнаго имени своего и въ исторіи не было бы самаго явленія, обозначаемаго этимъ именемъ, если бы то, что мы именуемъ „историческимъ прогрессомъ“, „улучшеніемъ жизни обществъ“ и проч., было продуктомъ исключительно давленія разума на жизнь, подчиненія дѣйствительности „разумнымъ, справедливымъ и основательнымъ доводамъ“. Я хочу сказать, что въ то время какъ мирная жизнь и улучшенія въ ней въ мирныя времена дѣйствительно сводятся почти къ идейной борьбѣ программъ, къ критикѣ и критикѣ, до нѣкоторой степени — къ наукѣ и наукѣ, будетъ ли она именоваться „политическою экономіей“ или „политикою“, —эпоха революціи смѣшиваетъ всѣ эти элементы въ чрезвычайный хаосъ, гдѣ наука и экономика *есть*, но уже *не господствуютъ*, гдѣ есть и „программы“, какъ верстовые столбы, какъ адресы на письмѣ: но не онѣ образуютъ „пафосъ“ революціи, который есть и составляетъ въ ней самое главное, безъ чего она никогда не возникла бы. Все это именно только „адресы“, а не самое письмо страстнаго тона, иногда мучительнаго, кроваваго

смысла, только „верстовые столбы“ съ надписями, а не самая „путь-дороженька“ исторіи, которая богата, какъ природа, вьется въ лѣсахъ и взбѣгаетъ въ горы и, словомъ, ни мало не походитъ на пятиаршинный столбъ съ дощечкой. Въ грозѣ, конечно, есть только то, что раньше было въ облакѣ: паръ, воздухъ, вѣтеръ, два вида электричества. Но явленіе грозы глубоко новое, сравнительно съ облакомъ. Она потрясаетъ. Она очищаетъ воздухъ. Убиваетъ, оживляетъ. Съ нея рисуютъ картину, о ней пишутъ стихи, ея боятся, на нее любуются. Она есть космическое художество, въ ней есть „душа“, „психея“ какая-то, какой, конечно, мы не найдемъ въ человѣческомъ существѣ: но, вѣдь, для чего же „душу“ сливать съ „фигуркой маленькаго человѣчка съ крылышками“?! Она также можетъ быть представлена вотъ и въ формѣ этихъ рвущихся клоковъ тумана, какъ, впрочемъ, и въ тысячѣ другихъ фигуръ или символовъ, если вообще послѣдніе допустимы. И революція такое же явленіе грозы, съ особой въ ней „психеею“: она „сказала свое слово“, и—умерла, когда дѣло переходитъ къ парламенту и борьбѣ его группъ, переходитъ отъ страны къ „партіямъ“ и даже только вождямъ партій; когда логика, разумъ и наука облекаютъ въ порфиру и корону титана и дикаря, который расчистилъ для нихъ мѣсто.

Вотъ отчего, когда въ настоящее время раздаются крики: „это безуміе“ или „это было смѣшно“ то это были бы очень мудрые крики въ другое время, а сказанные въ примѣненіи къ теперешнему движенію въ Россіи,—они совершенно безсильны,

ничего не опредѣляютъ и ничего не выражаютъ; ни на кого не дѣйствуютъ. Возможно, что въ Россіи никакой „революціи“ и нѣтъ (я этого, однако, не думаю): но если она есть, т.-е. есть всѣ ея залоги, всѣ накопленные элементы и, словомъ, она „идетъ“ или „начинается“, то именно кульминаціонные ея моменты будутъ совершенно лишены всякой мысли, всякаго почти логическаго содержанія, и именно они-то и будутъ самыми благотворными, священными ея частицами, которыя залягутъ, какъ нѣкая „непостижимая и святая евхаристія“, въ огромное тѣло послѣдующаго государственнаго строя и свободнаго развитія. Чѣмъ болѣе мы ихъ примемъ этихъ „частицъ“, тѣмъ глубже переработается государственный и общественный строй, тѣмъ менѣе сохранится отъ скелета умирающаго режима: хотя, будьте увѣрены, отъ него сохранится еще страшно много; онъ, по окончаніи революціи, выплыветъ почти весь наверхъ, какъ тонувшій и неутонувшій утопленникъ. Но его оставимъ въ покоѣ, съ нимъ еще будетъ возиться второе и третье поколѣніе послѣ насъ. Мы говоримъ только о революціи. Ближайшіе возбудители ея, конечно, суть матеріальныя нужды: голодъ, рабство, угнетеніе, въ частности—ходъ и неудачи японской войны. Но все это только „спускъ курка“ и самое большее—зажигающій пистонъ. Дѣло въ порохѣ и его составѣ. Революція живетъ не въ одномъ голодномъ и не въ одномъ обиженномъ. На обиженнаго ссылаются, на голоднаго указываютъ; самое большее—берутъ ихъ силы во вспоможеніе себѣ. И вотъ эти люди, которые „берутъ себѣ“ въ

помощь или оправданіе голодъ, нужду и рабство, и суть истинные „духи" революціи, ея „геніи", большихъ и малыхъ размѣровъ—это все равно, ибо вѣдь и лѣсъ наполненъ не верстовой фигурой одного „лѣсовика", а и маленькими эльфами, которые составляютъ фантастику и поэзію лѣса, и „сказкѣ" не быть бы безъ нихъ. Настоящіе двигатели революціи—не одинъ голодъ черныхъ фабрикъ, нужда на землѣ народа, „безобразія, вскрывшіяся въ войнѣ. Все это есть, все это движетъ, все это фундаментъ. Но все это—не архитектура. „Архитекторы" революціи—совершенно обезпеченные, во всякомъ случаѣ достаточно обезпеченные люди, но съ „священнымъ безуміемъ" въ себѣ,—испортившіе, безнадежно испортившіе свою біографію, сломавшіе свой бытъ, семью, вышедшіе изъ своего сословія „фантасты",—ну, вотъ какъ кн. Кропоткинъ, переѣхавшій въ Парижъ, какъ идеалистъ-Кравчинскій, жившій въ Лондонѣ, какъ Дебогорій-Мокріевичъ, —написавшій свои удивительные мемуары. Я сказалъ—„изломавшіе свою біографію": но вѣдь уже Мудрѣйшій на землѣ сказалъ: „нельзя воскреснуть, не умерев", „ничто не можетъ принести плода, что не похоронило себя въ землю". Эти „выскочившіе изъ своей біографіи люди" суть въ то же время „герои, вошедшіе въ исторію",—о, въ непаписанныя, темныя ея страницы, которыя, можетъ быть, и есть самыя священныя. Гдѣ нибудь схваченъ, разстрѣлянъ „карательной командой". Только имя осталось, голый звукъ; черезъ день и оно пропадаетъ. А сколько, быть можетъ, было здѣсь энтузіазма,—этотъ энтузіазмъ сколькихъ

зажегъ! и, вообще, въ какое сочетаніе психологій вилелся. Въ дни „усмиренія мятежа" и закладывались всѣ зерна событій 1907 года, которыхъ, можетъ быть, и не наступило бы, была бы пустыня на ихъ мѣстѣ, выплылъ бы „утопленникъ" и уже распоряжался дѣйствительностью: но „не быть бы счастью, да несчастье помогло". 1907 годъ уже получилъ себѣ „должность, жалованье и мундиръ" въ этихъ вотъ „карательныхъ командахъ", которыя, можно сказать, расправлялись съ провиденціальною жестокостью и являли какой-то „пиръ во время чумы", дабы „пирующіе" черезъ годъ-два увидѣли настоящую „чуму" у себя въ гостяхъ. Какъ начало и ходъ японской войны былъ изумительно провиденціаленъ, минутами волшебенъ (смерть Витгефта, Рождественскій въ Цусимѣ), такъ этотъ мѣстами волшебный, фосфористый свѣтъ получаютъ и событія революціи. И она будетъ также исключительна, нова и чревата послѣдствіями, какъ эта „вводная" война, собственно лишь „прологъ" и толчокъ къ великой внутренней драмѣ Россіи.

Не говоря о революціонныхъ движеніяхъ 30-го и 48-го годовъ, которыя буквально были „происшествіями" нѣсколькихъ улицъ, даже и великая французская революція была все-таки произведена Парижемъ и совершилась въ Парижѣ. Въ теперешнемъ движеніи Россіи въ революцію введены такія массы и пространства, а составъ ея элементовъ и движущихъ силъ до того сложенъ, какъ это и не мерцалось ни одной революціи. Отъ Женевы, стараго гнѣзда русскихъ революціонеровъ,

до Хабаровска—она въ каждомъ, даже уѣздномъ, городкѣ и, наконецъ, прямо мѣстами по селамъ и деревнямъ: вездѣ у нея свои нити, узелки, гнѣзда; въ одномъ мѣстѣ она дозрѣваетъ, въ другомъ назрѣваетъ, потушена или разгорается: но вообще въ томъ или другомъ видѣ—вездѣ *есть*. Поляки, татары, армяне—со своимъ прошлымъ, со своими ожиданіями и воспоминаніями, со своей исключительнѣйшею исторіею, которая, казалось, никогда не касалась ничего всемірнаго,—съ той или иной стороны, открыто, или затаенно, связались съ русскою революціею и положили сюда же, въ одно мѣсто, въ сущности—въ руки русскихъ революціонеровъ, свою „ставку". Такимъ образомъ замоталася впервые въ русской исторіи мотокъ такой огромности и сложности, такой толщины и разноцвѣтности, что, конечно, его нѣтъ никакой возможности отнести на лопатѣ куда нибудь въ сторону и выбросить въ нечистое мѣсто. Невозможно и залить его изъ пожарнаго рукава. Я говорю о надеждахъ администраціи и правительства, объ ожиданіяхъ части прессы. Если она тянется отъ Хабаровска до Вислы и отъ одиннадцатилѣтняго до семидесятилѣтняго возраста, то значитъ она охватила все, значитъ „загорѣлась" Россія, а не кое-что въ Россіи.

Она „не національна" будто бы. Боже, она „національна", какъ лаютъ, который вездѣ носятъ, или, точнѣе, какъ „обувь", которая всѣмъ нужна. Если „всѣ" ее дѣлаютъ, „всѣ" отъ нея ждутъ, то какъ же она не „національна", и что такое „нація", какъ не это „все" и „всѣ"?! Нельзя же „національною" въ Россіи считать только

Грановитую Палату, съ боярскими шапками въ ней и стрѣлецкими пищалями, сохраняемыми подъ стекляннымъ колпакомъ; а Россію живую и сущую, нуждающуюся и воображающую, не считать болѣе „націею".

Говорятъ: она „мечтательна", „наивна", дѣло „женевскихъ мудрецовъ". Она *натуральна* -вотъ что̀ важно. Въ ней есть очень много мечты, но вѣдь и всякій живой человѣкъ состоитъ изъ дѣйствительности и мечты, и всякая живая біографія состоитъ изъ нихъ же. Но есть мечта подражательная, не своя, а усвоенная по эстетическимъ или какимъ нибудь другимъ соображеніямъ, усвоенная слабоумнымъ отъ мудраго. То̀ будетъ мечта вялая,—такая, предаваясь которой мечтатель „обдѣлываетъ свои дѣлишки", или живетъ совершенно не „по мечтѣ", а иначе. Огромная доза мечты, вложенная въ русскую революцію, есть только показатель силы послѣдней; а что это мечта—*живая*, то это свидѣтельствуется на каждомъ шагу кровью и вообще такою страшною дѣйствительностью, которая превосходитъ своею фантастичностью всякую сказку.

* * *

Я нѣсколько отвлекся въ сторону отъ прямой темы, о которой хотѣлъ говорить. Мнѣ нужно было предварительно настоять, что революція не есть *борьба программъ, а движеніе стихій*, въ которомъ каменная нужда и эпирѣйшее воображеніе, сплетаясь въ непостижимый узоръ, играютъ не меньше роли, чѣмъ опредѣленныя политическія

партіи. Вотъ почему именно въ революціонное время нужно съ величайшей осторожностью судить о борющихся между собою группахъ, ибо каждая изъ нихъ, или, точнѣе, отдѣльныя лица, въ нее вошедшія, движутся вовсе не только одною программою, которою они выставляютъ и защищаютъ, которою они руководствуются, но и множествомъ еще другихъ несознаваемыхъ, темныхъ мотивовъ, страстей, чувствъ, воображенія и проч. Революція не имѣла бы полноты въ себѣ и даже ея вовсе не было бы, если бы въ ней отсутствовали, какъ могучіе двигатели, эти ирраціональные элементы. Вѣдь и въ грозу электричество входитъ невидимою частью: между тѣмъ оно-то все и дѣлаетъ въ видимыхъ частяхъ, приводитъ ихъ въ движеніе, разрушаетъ, сотворяетъ.

Съ этой болѣе психологической, чѣмъ политической стороны, мнѣ хочется провести защиту одной группы въ нашей революціи, которая не имѣетъ никакихъ шансовъ на политическій успѣхъ и о которой говорятъ съ улыбкою болѣе „солидныя" партіи, изготовившіяся играть роль и, вѣроятно, имѣющія дѣйствительно ее играть. Партія, о которой я буду говорить, не играетъ сейчасъ никакой роли, или ничтожную, и къ ней едва ли принадлежитъ много людей за тридцать лѣтъ, большинство же ея состоитъ, говоря языкомъ духовныхъ лицъ, изъ „отроковъ и отроковицъ", не достигшихъ и двадцати лѣтъ, или чуть-чуть перешедшихъ за этотъ возрастъ. Мнѣ даже неловко, въ моемъ солидномъ возрастѣ и при солидномъ положеніи, называть эту партію,

и я прошу всего снисхожденія у читателя, ибо приготовляюсь говорить совершенно серьезно.

Я говорю о русскихъ республиканцахъ и этой программѣ дѣйствій, пожеланій, мечтаній и пр. и пр., сущность которыхъ (людей) и которой (программы) заключается въ томъ, что они всякій разговоръ начинаютъ съ требованія республики, прерываютъ разговоръ, если собесѣдникъ на нее не согласенъ, и (главное) всѣ свои слова, аргументы, паосъ и умъ, какъ и опредѣленныя требованія располагаютъ въ такомъ порядкѣ и въ такомъ духѣ, какъ если бы республика была уже *на лицо* или мы всѣ *съ завтрашняго дня* начали жить въ республикѣ. Въ этомъ и главное: что они уже теперь дѣйствуютъ и говорятъ, стремятся и ненавидятъ, восторгаются или обвиняютъ, живя *мысленно и сердцемъ въ какой-то невидимой республикѣ*, которой физическихъ очертаній нѣтъ, а между тѣмъ эта „невидимая духовная республика" рѣзительно заставляетъ себя чувствовать на каждомъ шагу,—чувствовать удары свои, защищаться отъ нападеній ея. Истинные палатины невидимаго Града, какихъ было много въ средніе вѣка. Помните у Пушкина стихъ о „бѣдномъ рыцарѣ"; только эти рыцари нашихъ дней—не блѣдные, безъ синевы подъ глазами, напротивъ—краснощекіе, большіе, рослые, но тоже съ этой неуклюжестью движеній и манеръ, какая специальна въ возрастѣ между 17 и 21 годами. Ну и, конечно, мечтательность, не уступающая средневѣковой, только не о „Прекрасной Дамѣ", „Sancta Virgo", а вотъ объ этомъ грядущемъ

братствѣ юныхъ работниковъ и работницъ, учениковъ и ученицъ, слушающихъ тоже юныхъ, по крайней мѣрѣ душою, наставниковъ и наставницъ. Мнѣ думается, самая „республика“ у нихъ мечтается не въ тяжеловѣсныхъ формахъ реальнаго республиканскаго строя, напр. Франціи или Соединенныхъ Штатовъ, съ этими разными департаментами и штатами, судомъ и судебными слѣдователями, налогами и прочею „гадостью“, а въ видѣ какого-то зеленаго и нестарѣющаго пансіона, или русскаго „интеллигентнаго поселка“, раскинувшагося отъ Амура до Вислы, гдѣ податей не берутъ, въ тюрьмы никого не сажаютъ, начальства нѣтъ или оно есть въ такой легкой формѣ, что даже пріятно, и гдѣ съ чрезвычайной охотой люди работаютъ и работаютъ, учатся и учатся— только учатся и только работаютъ. Что-то въ родѣ кухни, гдѣ стряпаютъ „молодые господа“, усадивъ рядомъ съ собою кухарку, и что-то въ родѣ пансіона во время рекреаціи, когда наставники оставили свою оффиціальность и попросту говорятъ о той же наукѣ, какъ и на урокахъ, но уже безъ строгости и взыскательности, безъ сухости и отвѣтственности, и возбуждаютъ теперь не злобу и отчужденіе, а восторгъ и благоговѣніе учениковъ и къ наукѣ и къ себѣ. Да не услышитъ кто нибудь въ словахъ моихъ ироническаго тона или желанія умалить явленіе и осмѣять „групну“: а что такое представляютъ себѣ бородатые мужики, да и сѣдовласые члены Государственнаго Совѣта, равно митрополитъ филаретъ или „Московскія Вѣдомости“ и „Гражданинъ“,

когда они говорятъ и говорили о „священной особѣ монарха", о великой идеѣ „монархизма въ въ исторіи"? Тотъ же самый туманъ и даль и голубое небо,—шелестящія мантіи Константина Великаго и Карла Великаго, Фридрихъ Барбаруссa, сидящій (по легендамъ) гдѣ-то въ каменномъ замкѣ, опершись въ задумчивости на столъ, а борода его обвилась вокругъ стола, и милость, и величіе, и помазаніе свыше, и бѣлый голубокъ, откуда-то вылетающій при каждомъ короноваши и „рѣющій крылышками въ воздухѣ". Извѣстны „народныя" картины, выпущенныя послѣ кончины Александра III, гдѣ Государь этотъ, въ порфирѣ и коронѣ, былъ уносимъ въ небо „буквальными" ангелами, съ крыльями и бѣлыми: они въ сіяніи, и онъ въ сіяніи. Легенды и миоы. И отчего же студентамъ, студенткамъ, гимназистамъ и гимназисткамъ тоже не слагать миоовъ о своей „республикѣ", когда даже о сущей и наглядной, очевидной и реальной монархіи никто однако не формулируетъ, что „монархъ" „ѣздитъ на парады", а формулируютъ: „печется о подданныхъ", не говорятъ: „имѣли любовницъ и любовницъ", не сказываютъ, что это—хорошіе казематы, и десятка 2—3 или сотни 2 -3, смотря по году, удавленныхъ и застрѣленныхъ. Кстати, о терминологіи: зачѣмъ это судъ говоритъ: „приговаривается (такой-то) къ повѣшенію" или „разстрѣлянію". „Вѣшается" сюртукъ на вѣшалку, а во время ученія солдатъ они „разстрѣливаютъ" патроны: вещи невинныя! И потому-то эта невинная терминологія и не заставляетъ краснѣть ту бумагу, на которой она

пишется на судѣ. Но злые мальчишки и живодеры въ живодерняхъ говорятъ: „мы *застрѣлили* собаку“, „мы *удавили* кошку“, и вообще тутъ суть не въ повѣшеніи, что примѣнимо лишь къ неодушевленному предмету, а въ *удавливаніи, удушеніи,* каковой терминъ единственно имѣетъ право быть выговореннымъ судьями на судѣ и записанъ въ оффиціальную бумагу. „Судъ постановилъ *удавить* такого-то“, „постановилъ *застрѣлить* десять матросовъ, виновныхъ“ въ томъ-то и томъ, то: тогда опредѣленіе „суда, какъ живодерни“, такъ сказать, обонялось бы носомъ, слушалось бы физіологически ухомъ. А то оно теперь благоухаетъ какими-то краденными духами: „милость“ и „справедливость“ и „Богъ надъ всѣми“. Итакъ, Гришмутъ и Иловайскій, произнося слово „монархія“, не рисуютъ себѣ, и чистосердечно не рисуютъ— „удавленники“, „застрѣленные“, „раскраденная казна“, „награжденные за службу воры“: и республиканцы тоже не рисуютъ себѣ департаментовъ, прокуроровъ, налоговъ и „обязанностей службы“, хотя все это, по прискорбію, должно быть и въ республикѣ будетъ. Голубое—тамъ, голубое—и здѣсь, и притомъ позволительное голубое, нисколько не юношеское, а текущее изъ вѣковѣчныхъ чертъ человѣческой души. Республиканцы представляютъ себѣ и имѣютъ зрѣлое право представить достигнутое братство, полное равенство, наконецъ-то осуществленную справедливость, гдѣ работаютъ всѣ, кромѣ стариковъ, младенцевъ, малыхъ и больныхъ, и работаютъ сильно, грубо,—а въ заключеніе веселятся, и ве-

селятся тоже дружно, громко, заразительно, съ такимъ расцвѣтомъ въ душѣ, точно и на деревьяхъ хоть средь зимы вдругъ распустились цвѣточки и появились яблоки. Если право на „шелесть мантіи Карла Великаго" тамъ, то и здѣсь—право на „яблоки среди зимы", ужъ извините. Природа вѣчна. Ни капли уступки. И республиканцы имѣютъ право доказывать, кричать и агитировать, а пуще всего сами вѣрить, что „при республиканскомъ строѣ яблони будутъ расцвѣтать разъ въ маѣ, во второй разъ въ сентябрѣ и третій разъ въ декабрѣ", и что „дѣти ихъ будутъ прямо выбѣгать на улицы и рвать плоды съ вѣтокъ въ январѣ, а кругомъ цвѣточки". Ни одной капли меньше, если передъ Петропавловской крѣпостью, что „вотъ видна изъ окна", говорилось, говорится, печаталось и доказывалось, что „сердце царево въ рукѣ Божіей" и что вотъ мы „имѣемъ Давида", который почти самъ слагаетъ псалмы. Позволительно—Филарету, позволительно—и гимназистамъ.

Я уже заговорилъ о великихъ стихіяхъ воображенія и чувства, которыя введены въ революцію. Но и еще: революціонное состояніе есть вообще такое, когда люди болѣе становятся „похожи на себя", чѣмъ въ обыкновенное время, возвращаются къ себѣ, въ психологическое „домой", теряя условность, сдержанность и искусственность, теряя ту небольшую долю лжи, съ которою живутъ во всякое нереволюціонное время. И вотъ тутъ я и хочу указать на особенное оправданіе, какое есть у нашихъ „республиканцевъ", такъ

безнадежныхъ въ смыслѣ „программы“ и будущей „политической роли“.

* * *

*Ослабѣлъ великій фетишъ!!* — Ослабѣлъ не по *моему* усмотрѣнію, положимъ, вотъ такого-то республиканца Кузнецова, но гораздо *раньше* Кузнецова и *вокругъ* Кузнецова, и Кузнецовъ это только воспринялъ и подчинился *міровому давленію*, какъ гимназистъ шестого класса подчиняется „міровому давленію алгебры“, начиная рѣшать квадратныя уравненія съ двумя неизвѣстными. Мнѣ кажется, это давно нужно понять суду, судьямъ, понять это слѣдуетъ даже серьезнымъ и спокойнымъ монархистамъ, чиновникамъ, министрамъ „и даже далѣе“, что „колебаніе уровня монархіи и монархизма“ есть вовсе *не личное явленіе*, не фактъ *біографіи*, положимъ *моей*, а такое же послѣдствіе міровыхъ историческихъ причинъ, какъ вотъ, напр., въ географіи поднятіе дна Балтійскаго моря, или высыханіе среднеазіатскихъ озеръ, что зависитъ вовсе не отъ воли финскихъ и туркменскихъ рыбаковъ, живущихъ по берегамъ этихъ морей и озеръ, а отъ мало извѣстныхъ и частью вовсе неизвѣстныхъ геологическихъ и планетныхъ причинъ. *Ослабъ великій фетишъ!* Сущность „распространяющихся республиканскихъ идей“ или „всѣхъ этихъ бродячихъ фантазій“ заключается въ томъ коренномъ и все болѣе распространяющемся явленіи, что, положимъ, гимназистъ, студентъ, учитель, учительница, профессоръ, ученый, писатель, „а подъ ко-

нецъ дней и крестьянинъ", при словахъ: „государь", „монархъ", „царская особа" — просто ничего особеннаго не чувствуютъ. Есть икона, в ризѣ, въ сіяніи; передъ нею горитъ лампада; или есть „темный ликъ" въ углу, совсѣмъ безъ кіота, и тоже съ горящею передъ нимъ лампадою. „дареніе бабушки", на которую „молилась матушка": и вотъ я, взглядывая на нее, тоже что-то чувствую, волнуюсь, во всякомъ случаѣ ничего-ничего худого, и даже ничего обыкновеннаго, свѣтскаго мнѣ не приходитъ на умъ, когда я на эту икону смотрю! Я русскій, и уже это у насъ, русскихъ, 1000 лѣтъ. Но лютеранинъ, „хоть убей его", ничего этого не чувствуетъ: и для него моя „икона" представляетъ такую сумму дерева, красокъ и металла, что мнѣ, привычному православному, больно и повторить его опредѣленіе „моей иконы"... Грустное расхожденіе, но невольное. Я остаюсь и останусь при своемъ, но настолько образованъ, что не могу же не понять, и тоже всѣми силами моей души, что лютеранину войти въ мою психологію и согласиться съ моимъ опредѣленіемъ „иконы" никакъ невозможно, и я отъ него не стану требовать, даже не желаю, чтобы онъ повторялъ мои слова, ибо это будетъ ложь, а мнѣ Богъ указалъ во всякомъ человѣкѣ хотѣть только его правды. Дѣло въ томъ, что въ происхожденіи „монархическихъ идей", даже у насъ, русскихъ— Фридрихъ Барбаруссa „съ бородою, обвившейся вокругъ стола", дѣйствительно играетъ огромную роль; а у народа —„Петръ Великій и какъ его чудесно спасъ Господь, когда три разбойника уже

забрались въ избу, гдѣ онъ спалъ въ ту ночь" (книжка, мною читанная въ дѣтствѣ). Я хочу сказать, что „сущность монархизма" лежитъ *не въ программномъ оправданіи* его, не въ „доказательной" его сущности, а вотъ въ такихъ же ирраціональныхъ стихіяхъ, какъ и выдвинувшіяся сейчасъ въ революціи, но стихіяхъ только *-обратныхъ, иначе* окрашенныхъ, но также *сплошь сотканныхъ изъ воображенія и чувства*, и вообще изъ того историческаго „электричества", которое, будучи невидимо, движетъ всѣмъ видимымъ. Это именно шелестъ величественныхъ мантій, такъ туманящихъ взоръ, такъ ласкающихъ свѣтовую ретину нашего глаза, что не нужно и не хочется даже разглядѣть, кто одѣтъ въ нихъ. Позолота и краски, пурпуръ и голубое, и „слава въ вышнихъ Богу, на землѣ миръ и благоволеніе". Икона, великая икона. вотъ что, въ сущности, и монархъ! „Основныя статьи" нашего Свода законовъ есть пустяки сравнительно съ „этимъ: тамъ просто грамотей нашелъ нужныя слова, чтобы выразить это великое, въ вѣкахъ накопившееся, — чувство вѣковъ и милліоновъ народа къ иконѣ-царю. Оттого не потерпѣли русскіе и Шуйскаго, „не царской крови", разстались равнодушно съ мудрымъ и благодѣтельнымъ Годуновымъ, тоже „не царскаго рода", вынеся почти съ любовью на плечахъ своихъ и Грознаго, и Петра, и Павла I (на котораго отъ русскихъ ни отъ кого я не слышалъ негодованія), просто отъ того, что эти — „царскаго рода", „царской крови" и, словомъ, въ какой-то таинственной связи съ Барбароссою, и

съ Константиномъ Великимъ, и съ пророкомъ Давидомъ, который былъ „тоже царь, и объ этомъ напечатано въ *Святцахъ*". Туманъ и миоы и дальнія зори исторіи, первыя зори человѣчества. Недаромъ уже Цезарь и Августъ производили себя отъ Энея, „родоначальника основателей Рима", а всѣ средневѣковые цари потомъ производили себя то отъ Энея же, а чаще отъ Александра Македонскаго, котораго въ то время считали чѣмъ-то среднимъ между магомъ, богомъ и великаномъ*). На этомъ основана замѣчательная тенденція, *лично* чрезвычайно тягостная, наконецъ вредная въ *кровномъ* именно отношеніи: избѣганіе и даже полное недопущеніе браковъ принцевъ съ лицами *не* царскихъ домовъ, т. е. исключеніе любви и счастья изъ семьи, готовность—отъ размноженія все въ одномъ и томъ же ограниченномъ кругѣ семей—къ обѣдненію крови, ея вялости и вообще перерожденію со всѣми ужасными послѣдствіями этого. Но „нельзя инкрустировать дощечку изъ свѣжей березы въ икону „Ярославовой давности": духъ ея, ароматъ ея, весь ея молитвенный смыслъ и великое притяженіе для народовъ пропадетъ,—„умретъ великій фетишъ"!.. Что за „иконопочитаніе", когда взято изъ новой березки—изъ лѣсочка, откуда „всѣ мы". Читатель изъ этой тенденціи къ *несмѣшиванію* кровей видитъ, до чего монархизмъ не программа и не „оправданіе изъ дѣйствій", но

*) Уже послѣ Р. Х. чеканились монеты съ портретомъ Александра Македонскаго: такія монеты вѣшались на шею, въ качествѣ *талисмана*, какъ у насъ сейчасъ—крестъ.

именно и только—фетишъ, во всей его миѳологической обстановкѣ! Отсюда же вѣрованіе, настоянiе, „святое упованіе“ о царствѣ „Божіею милостью“ и что „Духъ Св. помазалъ меня“: съ положительнымъ отвращеніемъ къ царенію „волею народа“, къ царю—„избраннику народному“ (Наполеонъ III, Наполеонъ I): такой для монархиста болѣе отвратителенъ, чѣмъ республиканецъ или коммунаръ. „Обезьяна, ты тоже похожа на человѣка — *отвратительнѣйшее* изъ животныхъ!“ Здѣсь (въ монархѣ и монархистахъ)—не эгоизмъ, не стремленіе къ искусственному и „не своему“ величію: напротивъ—именно къ *своему*, особому, пусть и мечтаемому, но строго выдержанному въ смыслѣ и стилѣ. Икона какъ бы говоритъ, въ мѣру своего ощущенія иконности: „не вливайте въ лампадку масла торговаго—купеческаго, а пусть оно будетъ заготовлено руками іерусалимскихъ монашекъ, которыя сорвали маслины съ Сіонской горы. И пусть будетъ все чисто, свято, безкорыстно: вѣдь народъ *молится!* какой же тутъ *торгъ*?!“

Вотъ отчего *выборная* монархія и вообще въ какомъ бы ни было отношеніи „*утилитарная*“, „доказательная“ и, словомъ, „мотивированная“ — есть уже нисколько не монархія, а гнусный разбитый и искривленный ея образъ, и такой всегда „не долго жить“. *Выборные* „reges“ Рима, какъ таковые же „базилевсы“ греческихъ городковъ, исчезли на самой зарѣ исторіи: какъ не удержались нигдѣ цари „избраніемъ народа“ („тираны“ греческихъ историковъ). А „сыны Неба“ въ Ки-

такъ и Японіи, какъ и „цари царей“ Персіи—не умираютъ, не умерли. Древнія иконы, онѣ всѣ источены червями и почти ничего отъ нихъ не осталось,—такъ чуть-чуть позолоты и остатокъ черныхъ красокъ, дерево же все изрушилось; но ихъ *не поправляли*, ничего не привезено изъ сосенки, изъ бора, никто ихъ не передвигаетъ изъ „святого праваго угла“, и они стоятъ себѣ, стоятъ... Извѣстно, что Богдыхана никто никогда не видитъ, что когда проѣзжаетъ улицею Микадо, всякій дерзнувшій посмотрѣть на него изъ окна умираетъ (казнится). Вотъ это фетишъ, дорослій до полноты своей, обдуманный въ мѣрахъ сбереженія. „Діоклетіанъ никогда не показывался народу; только рѣдкій-рѣдкій римлянинъ допускался къ нему,—и тогда онъ съ трепетомъ входилъ въ длинный полуосвѣщенный покой, гдѣ вдали сидѣлъ на тронѣ императоръ со священною бѣлою повязкою на головѣ: приходящій падалъ ницъ“... Но слишкомъ поздно Діоклетіанъ уже взялся за это. Ромулъ все воевалъ, Тарквиній Гордый воевалъ же, предшественники и преемники Діоклетіана воевали же: всѣ видѣли, что это *воинъ*, не болѣе трехъ аршинъ ростомъ, что онъ *устаетъ*, *пьетъ*, *жаждетъ*, что это вообще не „миѳъ“ и не „Александръ Македонскій“, отъ взгляда на котораго проходитъ безвредно укусъ змѣи. И противъ него и такихъ возставали и ихъ низвергали... *Монархіи* въ Римѣ въ сущности никогда не образовалось, монархія можетъ быть только *наслѣдственною* („своя кровь“, далекая параллель „непорочному зачатію“ Маріи-Дѣвы у католиковъ) и ея вовсе нѣтъ, когда она выборна...

Такимъ образомъ, самое существо монархіи и монархизма питается *соотвѣтственною почвою* фетишистическихъ чувствъ и представленій, еще живущихъ въ народѣ и отражению передающихся особѣ царя.

„Икона сама вѣритъ въ себя", когда на нее „всѣ молятся"... но это именно эпоха, культура, вовсе не вѣчная, хоть, можетъ быть, очень поэтичная и даже (въ соотвѣтствіи *со своею культурою и для этой культуры)* цѣлебная, освѣщающая, объединяющая, питающая. „Икона живетъ народомъ" („иконопочитаніемъ") и нельзя отрицать, что „народъ тоже живетъ иконою", исцѣляется, здоровѣетъ, становится нравственнѣе „отъ молитвы"! Но все это... проходитъ. Проходитъ—какъ высыхаютъ озера въ Средней Азіи. Отъ *кого* проходитъ? *Не* отъ Ивана, *не* отъ Петра, а отъ *міровыхъ причинъ*. Императоръ Николай I (приходилось мнѣ читать), проѣзжая по Моховой улицѣ мимо Московскаго университета, дѣлался угрюмъ и, указывая на зданіе, говорилъ: „вотъ волчья нора". Великій и вѣрный инстинктъ. Что дѣлать, не будемъ лгать и скажемъ ту простую и очевидную истину, что съ поднятіемъ уровня науки обезцвѣчиваются вообще всѣ фетишистическія чувства, пересыхаетъ почва, питавшая монархизмъ, и онъ раціонализируется, ищетъ мотивовъ себѣ, „доказывается" и вообще сходитъ къ тому смертельно враждебному себѣ мотиву, что онъ „угоденъ и народу" „желателенъ народу" и, словомъ, „suffrage universel", выбравшій и Наполеона III: только не впереди ожидаемый, а отнесенный назадъ и во-

ображаемый, но всетаки „suffrage universel", „волею народа", а это—конецъ всего и существо скверной обезьяны. Славянофилы, твердившіе, что Михаилъ Осодоровичъ „избранъ народомъ", действовали какъ и французы-бонапартисты, кричавшіе въ 51-мъ году: „а что скажетъ *народъ?* пусть *народъ* скажетъ". Оба забыли, что въ этомъ „гласѣ народа" уже ничего вѣковѣчнаго нѣтъ, ибо если мужики въ 1613 г. сказали что-то, то что это значитъ для меня, живущаго въ 1906 г.? Я самъ „мужикъ" и говорю совсѣмъ другое.

Оставимъ споры съ очевиднымъ вздоромъ. Проходятъ миѳологическія эпохи, явилась точная математика. Реклю и Риттеръ написали географію уже безъ гигантовъ „за горизонтомъ", Моммзенъ, Курціусъ и Гретцъ разсказали, что „самъ" Александръ Македонскій былъ тоже трхъ аршинъ ростомъ, болѣлъ болѣзнями и любилъ красивыхъ перссіянокъ, какъ и Давидъ тоже не только пѣлъ псалмы и имѣлъ совсѣмъ другую фигуру, чѣмъ какъ нарисовано на заглавномъ листкѣ „Псалтыри", (въ зубчатой коронѣ и съ арфою). Все свелось къ *трезвой дѣйствительности*, и умерла мечта, можетъ быть поэтическая, но невоскресимая, неожившая... Кромѣ возникновенія точной науки, исчезновенія миѳовъ и „очарованія", безъ котораго нѣтъ „иконопоклоненія", указываемому ослабленію помогло еще то, что вообще возникло чрезвычайно много *занимательныхъ областей интереса, и вниманія, и восхищенія* помимо единственно предлежавшихъ въ этомъ отношеніи „сюжетъ" дворцовъ и монарховъ. Нужно взять во вниманіе старинный

разрозненный и уединенный образъ жизни, когда „миоъ“ былъ дорогимъ гостемъ, разсказывавшимъ новости, миоъ и легенда, слухи, разговоры, которые всѣ ползли къ самой яркой точкѣ въ странѣ — двору, и къ самой высокой горѣ въ ней — царю. Не было „исторіи народовъ“, а была „исторія царствованій“, отъ Тацита и Свѣтонія до Карамзина и Соловьева. Быть „русскимъ“ и „любить свое отечество“ значило то-то и то-то, но особенно это значило въ „красномъ углу“ своей души носить образъ царя, линію царей, отъ Алексѣя Михайловича до „теперь“, и все это — благословлять, чтить, воображать объ этомъ, размышлять объ этомъ и, словомъ, такъ или иначе, поэтически и философски — *жить* этимъ. „Святые угодники“ и „цари“, „церковь“ и „дворецъ“, въ неясномъ сліяніи, въ неясномъ раздѣленіи составляли праздничное, лучшее, священное русской души. Но съ тѣхъ поръ появились романы, опера, желѣзныя дороги, биржа, занимательнѣйшія открытія науки, раскопки въ Вавилонѣ и Ѳивахъ, и, словомъ, тысячи достопримѣчательности и занимательности. Середъ которыми разсказъ о томъ, „какъ чудеснымъ образомъ Петръ Великій спасся отъ трехъ разбойниковъ“ - ужасно померкъ въ интересѣ, какъ и новѣйшіе розсказни „о томъ, о семъ въ коридорахъ Зимняго дворца“. Пикантное здѣсь - потеряло вкусъ; поэтическаго, можетъ быть, и никогда не было, были „розсказни“; и, словомъ, дворецъ и всякіе дворцы стали уходить фундаментомъ и стѣнами въ землю, какъ только изъ земли начали выходить лабораторіи, академіи, клубы,

биржи, театры, базаръ, вся суета, вся цивилиза-
ція, новая цивилизація. Такъ же, какъ папство, тоже
„священное“ и много сдѣлавшее для цивилизаціи,
монархизмъ есть существеннымъ образомъ сотво-
реніе эпохъ темныхъ — не въ порицательномъ
смыслѣ, а вотъ въ томъ смыслѣ наивности, до-
вѣрчивости, однотонности души человѣческой,
однотонности дѣятельности человѣческой. Были
сумерки—были монархіи: разсвѣло — и онѣ стали
таять, сводиться къ обыкновеннымъ размѣрамъ
„удобному и неудобному“, „выгодному и невы-
годному“ *нами*, *народу*—въ которомъ и полагается
*центръ тяжести*: а это уже республика, „наро-
довластіе, пусть и „духовная республика“, около
которой монархія является только обезьяной, съ
потерею „священнаго“ своего, аромата своего
(Наполеонъ III, воображаемое „suffrage universel“
славянофиловъ).

* * *

Я замѣтилъ, что одною изъ могущественныхъ
стихій революціи является *возвратъ къ естестве-
ности*, почти физическій, почти какъ физическое
движеніе. „Хочется потянуться“. „Хочется вы-
нуться“. Сапоги жмутъ, сюртукъ тѣснитъ. Одна
изъ поэтичнѣйшихъ сторонъ революціи, изъ
первой французской, является то, что люди стали
жить *на улицѣ почти какъ дома*, проще говорить,
откровеннѣе бесѣдовать, кричать, махать руками
и проч., и проч., и проч. Это безусловно такъ:
искусственность ослабляется, откровенность на-
ростаетъ, всѣ становятся болѣе „сами собою“.

тѣмъ были еще вчера, наканунѣ революціи. Въ революціи есть многое подобное священному еврейскому „юбилейному году“, когда жатва не жалась, фрукты не снимались съ деревъ, все оставлялось „бѣднымъ и всѣмъ“ (я только не понимаю, какъ въ этотъ годъ жили остальные евреи?) и словомъ, „все прощалось“ и „всѣ извинялись“, суды и казни очевидно не дѣйствовали, и цивилизація, какъ нѣкоторая крѣпость узды на человѣкѣ,—ослаблялась. Что это было въ мудромъ законодательствѣ Моисея, предчувствіе ли „золотого вѣка“ или вѣчное помаленіе и предтеча „Мешеаха“ (Мессіи)? Не понимаю! Но революціи въ Европѣ тоже играютъ приблизительно такую же роль періодически жаждущаго и неистребимо нужнаго всеобщаго ослабленія „узъ и условности“, „тягостей“ цивилизаціи, гдѣ мы всѣ немножко лжемъ дѣлаемъ не совсѣмъ то, что намъ хочется: дѣлаемъ и томимся, и всѣмъ намъ скучно, и всѣ мы ждемъ великаго часа революціи, когда говоримъ: теперь все по новому, отсюда—все новое“.

Наиболѣе юная часть революціонеровъ, самая горѣлая, „безпрограмная“ (въ смыслѣ успѣха), вмѣстѣ съ тѣмъ наиболѣе глубокая психологически (ибо самая правдивая) и сказала громко то, что въ сущности мы всѣ, образованное общество, чувствуемъ, и что и составляетъ настоящую причину революціи. Послѣдней бы не было, какъ бы велики ни были бѣдствія японской войны и всевозможныя казнокрадства, съ нею раскрывшіяся: *что* ли еще переживали народы?! Гдѣ-то какая-то далекая война: въ Россіи, здѣсь мы и не видали

ни одного японца: и очевидно никакого нашествія намъ не грозило. Но уже давно, уже десятилѣтія ослабъ великій фетишъ. Почти весь XIX-ый вѣкъ прошелъ въ борьбѣ съ этимъ фетишемъ. Наступило то въ политикѣ, что въ отношеніи папства и католичества наступило съ реформаціею, и отъ столь же общихъ, сложныхъ, и не только теперь для политиковъ, но и въ будущемъ для историковъ неизслѣдимыхъ или мало изслѣдимыхъ причинъ. Реформацію, конечно, велъ *не* Лютеръ, а онъ шелъ *за* реформаціею, былъ только самою яркою фигурою въ громадномъ движеніи, уносившемъ его; и только отъ того, что она *случайно* получила имя отъ него („Лютеръ", „лютеранство") – имя это такъ осталось, и фигура немилосердно преувеличена историками. Лютеръ *безъ взволнованнаго народа за спиною его*, взволнованнаго еще *задолго до него*, былъ бы просто ничтожнымъ монахомъ, сожженнымъ „безъ разговоровъ". Возвращаюсь къ нашему положенію. „Ослабъ великій фетишъ"! Кончилось политическое „иконопочитаніе",—кончилось не у насъ однихъ, кончилось во всей Европѣ, но у насъ въ данную минуту получившее спеціальные мотивы громче, чѣмъ гдѣ бы то ни было, высказаться. И высказалось. Вотъ — революція. Вотъ — дупа ея. Она въ дупѣ каждаго изъ насъ, въ „партіи правового порядка", „17 октября", даже у членовъ „Русскаго Собранія" на Троицкой,—просто у всѣхъ кончившихъ курсъ въ университетѣ, ѣздящихъ въ оперу и знающихъ, что такое астрономія. Члены „Русскаго Собранія" злобны, дики, капри-

ны, ибо они не менѣе кого бы то ни было знаютъ, что „все пропало“ въ этомъ отношеніи, что злобою и силою никого не удержишь, а очарованія, волшебства и сказки ни въ комъ уже не живетъ, не живетъ ея и въ груди В. Никольскаго и Нпк. Соколова. А въ сказкѣ-то все и дѣло, въ очарованіи и заключалась непристунная стѣна, окружавшая монархизмъ, черезъ которую не были сильны перестунить сильные и подкопаться подъ нее хитрые. Въ томъ и сущность очарованія, вѣры, восторга, что съ ними несовмѣрима узкъ ловкость, что никакая сила не сильнѣе того, что „мило“ и „просто нравится“. Не забуду (кажется въ 1881 г.) выставки въ Москвѣ, кажется, французской. Я уже выходилъ изъ нея, какъ былъ привлеченъ не то крикомъ, не то писком какого-то одного коротенькаго слова. Оглянулся. И вижу кучиха, лѣтъ 40—35, согнувшись въ прямой уголъ и держа (очевидно сынишку) лѣтъ 8 10 за плечи и указывая перстомъ куда-то вдаль, захлебываясь, говорила:

— Вонъ онъ! Вонъ онъ! Вонъ онъ!

Итакъ цѣлыя строки: „вонъ онъ!“. Лицо красное, улыбающееся, восторженное. Черезъ 25 лѣтъ помню.

— Да кто *онъ?* — спросилъ я окружающихъ.

— Великій князь Алексѣй Александровичъ проходитъ, вонъ—далеко, въ сѣромъ военномъ пальто, полная фигура.

Я надѣлъ шапку и пошелъ. Еще царя бы посмотрѣлъ, а великій князь—„ничего особеннаго“. „Ничего особеннаго“ — въ этомъ все и дѣло! И

для членовъ „Русскаго Собранія“ — „ничего особеннаго“; и изъ нихъ никто не будетъ цѣлую страницу кричать „вонъ онъ“, захлебываясь, съ упоеніемъ, и разсказывать съ упоеніемъ домашнимъ, что вотъ „видѣлъ“, и, засыпая ночью, грезить о „сѣромъ пальто и полной фигурѣ“. А въ этомъ все и дѣло. Ту толстую купчиху въ Москвѣ я почитаю, какъ бы свою тетеньку, и почитаю ея великую правду, и ни въ чемъ ей не позволю себѣ перечить, какъ не позволилъ бы и ей перечить, если бы она остановила другую правду и естественность, когда гимназистъ VIII класса говоритъ гимназисткѣ VI:

— „Знаешь, Маня, когда устроится республика и все такое, вши будутъ расцвѣтать уже не въ маѣ, а въ октябрѣ, и потомъ еще разъ въ февралѣ. Самый климатъ измѣнится. Мы все измѣнимъ. Наука“... и проч.

Умеръ одинъ фетишъ, зародился другой. Зародился онъ отъ того именно — и, непремѣнно, невольно — что другимъ, вынесеннымъ изъ сердца, фетишемъ оставлено было мѣсто пустымъ, а „природа не терпитъ пустоты“, какъ уже примѣтили древніе. Какъ только не стало рваться, самовольно, восторженно—„вонъ онъ“ на цѣлую страницу при видѣ сѣраго пальто, такъ стали повторять ровно въ цѣлую страницу „вонъ она“ касательно никѣмъ еще невидѣнной и всѣми призываемой республики. И тѣ же мнѣ — но отнесенные *впередъ*, какъ прежніе мнѣ — были отнесены *назадъ*. Человѣкъ рѣшительно не можетъ удовлетвориться реальностью, никакой человѣкъ

и ни въ какое время. Всѣ живутъ или воспоминаніями или надеждами; сущность монархизма, что онъ жилъ воспоминаніями „объ Александрѣ Македонскомъ“. „Отъ него всѣ родились и все пошло“. Сущность монархіи, я говорю, — въ *воспоминательной* способности человѣка, въ очарованіи *бывшимъ*, при слабой вѣрѣ и даже слабомъ интересѣ къ будущему. По этой господствующей способности въ „монархическомъ устроеніи“ послѣднюю вообще можно опредѣлить, какъ фазу политическаго строя, соотвѣтственную *старости*, — и болѣе всего ее удовлетворяющую. Не даромъ съ представленіемъ „король“ всегда связывается образъ „сѣдоволосаго старца“, уже медлительнаго въ движеніяхъ и который не торопится въ думахъ. Невозможно того отрицать, что въ цѣлой Западной Европѣ и во всей европейской исторіи, начиная отъ рыцарей, и еще задолго до рыцарей, собственно начиная отъ монастырей и перваго монашества, все „юное и дѣятельное“ было, какъ говорятъ въ театрѣ, на „второстепенныхъ роляхъ“, и до первыхъ ролей юность не допускалась; не допускался даже возмужалый бодрый возрастъ, но именно все были „брады“ и „власа“, въ первосвященникахъ, министрахъ, короляхъ, совѣтникахъ и проч. и проч. Вѣдь Олимпійскихъ игръ нигдѣ не было: юнаго, отроческаго лица — ни одного на иконостасѣ. То же и въ верхнемъ ярусѣ политики и вообще цивилизаціи. Юность шалила на кухнѣ и имѣла существенно кухонное положеніе и (до XX вѣка) кухонное воспитаніе. Какъ поздно пришелъ Песталоцци! а о

дворянствѣ среднихъ вѣковъ я читалъ, что тамъ неприлично было, вообще было непринято обращать какое-нибудь вниманіе на сыновей, на дѣтей, ихъ ученіе и воспитаніе, даже ихъ болѣзни и хотя бы цѣлый, не искалѣченный видъ. Такъ вѣдь и росъ Бертранъ-дю-Геслень. Ему ломали голову и онъ ломалъ головы. Но до „разговоровъ" ихъ не допускали; „разговоры" вели и „священнодѣйствія" совершали старцы и старицы; и вся цивилизація была и за вѣ 1500 лѣтъ совершилась *старообразно*. Т.-е. *воспоминательно*, т.-е. *монархически*. Съ XVIII вѣка „мальчишки", частью какъ выпоротый Вольтеръ, частью какъ „гдѣ-то гулявшій" Руссо, побѣжали въ верхніе этажи, зашумѣли, наскандалили и, словомъ, вступили въ самый неотвязчивый „разговоръ" со старцами, и тѣмъ пришлось отвѣчать, — и вообще начался діалогъ и діалоги, послѣ чего исторія быстро получила болѣе юный видъ, юный и *надѣющійся* (основная движущая психическая способность) и отсюда естественно уже *республиканскій*. Республика — это молодость человѣчества, монархія — это старость. Вотъ и все. Вотъ это — главное. Старость и нѣкоторая „грусть по прошлому", и „бабушкины сказки", и „вовремя на постельку", — устали кости за день сидѣть, не то что дѣлать. Монархія — это бездѣятельность, всегда была и всегда будетъ (кромѣ исключеній, Фридрихъ Великій, Петръ Великій). Но все органическое — не ариѳметика, всегда „съ исключеніями", при „правилѣ", какъ это даже и въ *организ.*ѣ языка. И въ республикѣ можетъ быть лѣнь, „бы-

гда она *склоняется къ старости* и перерождается въ монархію. Но какъ „правило“ — республика есть юность и трудъ, надежды и поэзія, совершенно иного, не „воспоминательнаго“ и грустнаго колорита, а бодраго и веселящагося. Собственно нельзя того скрыть, что революція почти вся дѣлается молодежью, дѣлается и въ поэтической, и даже въ физической ея части,—и ее можно опредѣлить просто въ двухъ словахъ:

— Молодость пришла.

И я не понимаю, что̀ на это можно возразить старцамъ, судьямъ и судамъ, министрамъ и управленію. Просто это фактъ, что стали они тонуть, они и все подъ ними, какъ теперь пересыхаютъ Аральское и Каспійское моря, и „ужъ такъ планета устроена“, о чемъ можно спросить и у учебникъ...

## Отчего лѣвые побѣждаютъ центръ и правыхъ?

Т.-е. еще не побѣждаютъ, но явно идутъ къ побѣдѣ!? Подъ центромъ, какъ это очевидно сдѣлалось сразу, я разумѣю и „кадетовъ".

У правыхъ и центра—образованіе, умъ, общественное положеніе, ораторскіе таланты, богатство и вліяніе. У лѣвыхъ?... Ну, *умъ* есть, но еще, кромѣ этого, ничего! Сума за плечами или въ родѣ этого. „Талантами" умственными они, во всякомъ случаѣ, не превосходятъ „кадетовъ". Сравнить только Петражицкаго или Ковалевскаго съ кѣмъ бы то ни было изъ лѣвыхъ: они всѣ вмѣстѣ, и съ родителями, и съ дѣтьми, не прочитали столько, не знаютъ столько, сколько эти два.

Но почему же лѣвые побѣждаютъ? Я думаю, вся Россія спрашиваетъ объ этомъ. Нѣтъ теперь болѣе интереснаго вопроса, чѣмъ этотъ.

Побѣждаютъ они, какъ христіанство—древній Римъ: у Рима было богатство, сила, знатность; легіоны и Горацій; куртизанки и язычество; въ катакомбахъ толпились бѣдняки. И они побѣдили.

Какъ это ни грустно сказать, но нельзя скрыть отъ себя, что побѣдившее изъ катакомбъ христіан-

ство уже все сказало міру, что могло,—теперь, повторяя древнія слова, не имѣетъ прибавить къ нимъ новаго слова. Увы! — бѣдные все бѣдны, голодные все голодны, больные умираютъ. И на эти вѣчныя раны человѣчества, которыя такъ же болятъ, какъ и *до* Р. Х., христіанство ничѣмъ не отвѣтило и никакъ не разъяснило ихъ. Даже древнее объясненіе было какъ-то лучше: ну, „змій соблазнилъ“, и люди пали. Наивно или загадочно, но все-таки—что-нибудь. Теперь—*ничего*! Болѣютъ, умираютъ, голодны, сидятъ по тюрьмамъ. И тюрьмы не раскрываются, голодъ такъ же томителенъ, чахотка, ракъ дѣлаютъ свое дѣло. Въ пылкомъ рвеніи священники и епископы, какъ Антоній Волынскій и прот. Буткевичъ въ Государственномъ Совѣтѣ, высказались и за казни, и за тюрьмы. Не скажемъ объ этомъ, что „жестоко“, а скажемъ, что скучно и не ново. „Новыхъ“-то „словъ“ и не оказалось—это главное: новыхъ словъ о старыхъ болѣзняхъ.

Все, что сказало христіанство о ранахъ человѣчества, зналъ уже Діогенъ-циникъ. До него всѣ стремились къ богатству, власти, внѣшнему положенію, а онъ „сказалъ“:

— Не надо ничего!

И въ самомъ дѣлѣ: сколько ни пріобрѣтай, останется еще больше непріобрѣтеннаго. И будешь жаловаться, будешь мучиться, завидовать. Діогенъ „уморилъ червячка“—и разрѣшилъ проблему. Онъ сказалъ,что единственное средство достигнуть всего въ линіи „благопріобрѣтенія“, это -*отказаться* отъ всего. И быть счастливымъ. Тутъ есть крючекъ буддизма, но не унылаго, а смѣющагося.

Христіане, въ отвѣтъ на скорби и муки человѣчества, на раны его, отвѣтили:

— Претерпи!

— „Претерпи тюрьму", „претерпи болѣзни, смерть, голодъ, несправедливости". — „Претерпи и не ропщи". Съ ропотомъ всякая заслуга терялась.

Послушались и 2.000 лѣтъ сидѣли, голодали, болѣли, умирали, повиновались, не роптали, даже и не догадываясь спросить себя: „Какая разница сидѣть въ тюрьмѣ, зная, что „надо терпѣть", и не зная, что „надо терпѣть"? Разницы никакой. Суть въ томъ, что сидишь. Суть голода въ томъ, что голодень, а не въ томъ, что это „за грѣхи" или еще за „что-то". Суть чахотки въ томъ, что она *чахотка*. И вообще суть—въ *сути*, а не въ прическѣ. „Причесаться" можно во всякомъ положеніи. Причесываютъ покойниковъ, причесываютъ безнадежно болящихъ. И христіанство только „причесывало" человѣка, а нагъ, голоденъ, въ гнойныхъ чирьяхъ онъ такъ же остался, совершенно такъ же, какъ и *до* христіанства. Одни „утѣшенія" и ничего существеннаго...

Дѣло приняло совсѣмъ неприличный видъ, когда „терпящіе" замѣтили, до чего совѣтующіе имъ „терпѣніе" сами взыскательны и тщеславны. Иллюзія продолжалась до перваго опыта. Извѣстно, какъ итальянскій патрицій Колонна далъ папѣ Урбану VIII пощечину. Ну, что бы перенести „по примѣру Христа". Нѣтъ, папа умеръ отъ оскорбленія и униженія. Весь міръ разсмѣялся:

— Почему же *я* долженъ „терпѣть" голодъ?

— *Я*—тюрьму?

— *Я*—поѣдающую меня болѣзнь?

— Почему *мы* всѣ обязаны „терпѣть“ „по примѣру Христа и мучениковъ“, когда всеобщій учитель папъ не выпесъ тумака по головѣ, что мы, можно сказать, переносимъ ежедневно и, даже не помнимъ обиды,—такая малость! Нѣтъ, голодъ не то, что тумакъ. Папа не отвѣдалъ этого. Да и въ катакомбахъ все-таки были сыты. Мы и наши дѣти и все наше море, весь океанъ людской, кромѣ немногихъ избранныхъ, и сегодня, и вчера, и завтра вѣчно были и останемся голодны, въ язвахъ, въ томленіи, въ развратѣ, въ томъ развратѣ, который намъ служитъ вмѣсто опіума. Вы не терпите, и мы *не хотимъ болѣе терпѣть!!*

Обручъ христіанства лопнулъ. Лопнулъ,—и разсыпалась бочка; и посыпались изъ нея человѣчки, голодные, больные, язвленные, во*внѣ-христіанство*. Не въ *отрицаніе* его, а просто въ нѣкій внѣшній кругъ, не имѣющій съ нимъ ничего общаго.

* * *

Сталъ человѣкъ искать *существенностей*, а не „куафюры“: не какъ „утѣшиться“ въ болѣзни, а какъ *вылечить* болѣзнь; не какую „присказку“ взять дессертомъ къ пустымъ щамъ, а какъ сдѣлать, чтобы въ щи опустить кусокъ говядины. Задачи не поэтическія, сухія и скучныя. Задачи, которыхъ „отцы духовные“ избѣгали, имѣя сами, кто не отказывался, отличныя щи, а кто отказывался,—то самъ и добровольно, одинъ и для себя, т.-е. имѣя достаточно и настоящаго дессерта духовнаго. Родилась наука, какъ забота и размышленіе.

какъ скука и проза. Поученія ея вышли гораздо длиннѣе всякихъ проповѣдей; но тогда какъ отъ самыхъ длинныхъ проповѣдей все-таки ничего не получалось и никто не получалъ въ ротъ ни крошечки хлѣба при самомъ тощемъ желудкѣ, наука въ каждомъ шагѣ, съ каждою минутою рождала и рождала зерна хлѣба голодному въ котомку. Какъ сѣять, какъ работать, какъ, заработавши, подѣлиться, какъ взять въ помощь рукамъ воду, паръ, воздухъ, электричество,—обо всемъ стала думать наука, „безсердечная", сухая, прозаическая. И все человѣчество увидѣло, что тутъ содержится столько добра, доброты, любви- и настоящей —къ ближнему, сколько въ длинныхъ проповѣдяхъ вовсе не содержалось. И такіе простые всѣ эти ученые,— „какъ мы же": за тумаками тоже не гоняются. И голодаютъ, и въ тюрьмахъ сидятъ. „Совсѣмъ какъ мы". И полюбило ихъ человѣчество (а долго гнало). Выросла наука —совершенно новое дѣло, новый способъ отношенія къ міру, къ людямъ: взглянуть съ лица, —сухо, черство, „ни до кого дѣла нѣтъ", отвлеченно, алгебра. А зайди съ задняго крыльца,— претеплая обитель, и сидятъ тамъ добрые, внимательные люди. Совсѣмъ обратно раззолоченнымъ храмамъ, гдѣ съ лица золотыя слова, заботы о „мірѣ всего міра", и ужъ особенно состраданіе къ человѣку „по примѣру Христа", а зайдя сзади, видишь: ни до чего-то, ни до чего дѣла нѣтъ. „Намъ тепло, а вы какъ знаете".

И полюбилъ человѣкъ науку, какъ храмы. И разлюбилъ прежніе храмы. Вотъ короткая исторія.

Мы живемъ на концѣ ея, или переживаемъ одинъ изъ ея эпизодовъ. И наша „революція“ или „эволюція“, смотря по вкусу и удачамъ будущаго, есть только фазисъ въ этихъ попыткахъ человѣка, заработать счастье своими руками. Революція — отдѣлъ науки. Прежде всего, въ ней бездна научныхъ элементовъ, она вся кишитъ научными теоріями, и всѣ ея двигатели читаютъ и перечитываютъ книжки и брошюры,—думаютъ, спорятъ и, словомъ, такъ же дѣйствуютъ „во имя науки“, „найденнаго и доказаннаго“, какъ мученики дѣйствовали, когда шли въ Римъ „во имя Евангелія“. И какъ въ мученикахъ и въ побѣдѣ надъ Римомъ главное былъ не человѣческій составъ и не катакомбы, а Евангеліе, такъ и въ революціи главное суть не сами революціонеры, а наука.

Революція *отдѣлъ науки*. И потому-то она непобѣдима. Сѣкутъ головы, сѣкли, а она все двигалась, побѣждала, ширѣла. Какъ и христіанство ширилось и послѣ казней, потому что было за нимъ Евангеліе.

* * *

Но люди?... Почему же Фаустъ никого не побѣдилъ, ничего не расширилъ? Гдѣ этотъ секретъ, что только съ XVIII и XIX вѣковъ наука получила какой-то *воинственный побѣдный ходъ?!*

Потому что въ раннихъ своихъ шагахъ наука была исканіемъ „курьезовъ“, „любопытностей“ и только. Въ голову никогда не приходило, что она можетъ сдѣлаться орудіемъ, и особенно орудіемъ разрѣшенія нравственныхъ проблемъ и за-

гадокъ, жизненно мучащихъ человѣка на землѣ. Самая, напримѣръ, медицина существовала какъ-то для королей и развѣ-развѣ богатѣйшихъ вельможъ, которымъ, особенно подъ старость, алхимики пріискивали „жизненный эликсиръ“ и „философскій камень“. И на умъ не приходило никому лечить бѣдняка, помогать массамъ: въ XVII вѣкѣ засмѣялись бы надъ этою проблемою. Наука была какъ рѣдкіе-рѣдкіе островки „Океаніи“, разбросанной около Австраліи въ Великомъ океанѣ. Это было именно собраніе „курьезовъ“, найденныхъ въ природѣ и придуманныхъ человѣкомъ. Но вотъ эти „курьезы“ стали между собою связываться: члены соединились въ великій организмъ; онъ зажилъ, задышалъ. Именно съ XVIII и XIX вѣковъ наука вся связалась, обняла человѣка и человѣчество, землю и небо, выросла въ нѣчто колоссальное, всеобъемлющее,—и въ этомъ состояніи вдругъ потянулась къ проблемамъ, какія раньше ставила для себя только религія. да и ставила-то ихъ въ качествѣ „куафюры“. Наука же несла уже „существенности“ на *тѣ же темы, какъ религія*.

Вотъ отчего такъ многіе замѣчаютъ, что и въ наукѣ, и въ революціи есть какой-то „суррогатъ религіи“. Есть прозелитизмъ, есть фанатизмъ. Уже есть бездна мучениковъ и героевъ, хоть и вовсе другого типа и душевнаго сложенія, чѣмъ героевъ катакомбъ и мученики римскаго цирка. Многіе замѣчаютъ, что гдѣ торжествуетъ наука, — таетъ религія: гдѣ прочно стоитъ религія — какъ-то не прививается наука. Хотя, повидимому, онѣ и не

въ борьбѣ. Видно, что каждая изъ этихъ областей, или, точнѣе, каждый изъ этихъ *методовъ* (ибо и религія, и наука суть болѣе *методы*, чѣмъ области) можетъ совершенно насытить и удовлетворить человѣка, взять всю его жизнь, всю его душу. И въ равной мѣрѣ одушевить и двинуть.

Именно съ того времени, когда наука стала „суррогатомъ религіи“, или, точнѣе, стала ее *замѣщать*, взявъ себѣ ея *темы* и *задачи*, — она и превратилась въ революцію. Она раньше была архитектурой. На нее любовались. Теперь она стала паромъ, и двинула свои легіоны.

Какъ только это совершилось, къ ней пошли бѣдные, неимущіе, не весьма ученые, даже наконецъ едва-едва понимающіе (рабочіе, крестьяне), но, однако, все же узнавшіе хотя элементы ея, читающіе, размышляющіе, задающіе себѣ вопросы (удачный терминъ у насъ—„сознательные“, т. е. напримѣръ связываю „е свою личную работу и личное положеніе съ „наукою“ о рабочихъ и работѣ, о соціальномъ строѣ). И въ катакомбахъ не всѣ христіане были грамотные и читавшіе Евангеліе; были слѣпые и убогіе, не менѣе важные. Разрозненный рабочій, не кончившій курса гимназистъ, сельскій учитель — всѣ они вдругъ почувствовали *связь между собою*, сложились въ могучій станъ и окружили немногихъ „Фаустовъ“, внутри ихъ работающихъ,—однако какъ проводники ихъ идей, открытій, *практическихъ указаній*. Само собою понятно, что это явленіе всемірное, не русское, не германское, хотя есть и въ Германіи, и въ Россіи; кажется, перекинувшееся въ

Японію и, по извѣстіямъ, имѣющее не сегодня-завтра перекинуться въ Китай. Оно—вездѣ, оно—всегда, какъ наука и мысль. Оно не знаетъ границъ, народностей... эта революція, это „новое христіанство"... точнѣе „что-то", взявшее себѣ его задачи, но въ формѣ „существенностей".

„Мы несемъ свободу и хлѣбъ. Мы несемъ отдыхъ человѣчеству. Мы не обѣщаемъ всего, но мы дадимъ все, что *можемъ*, ничего *не оставляя у себя за пазухой* и работая *для всѣхъ*, пока не разорвались мозги. Мы просты, мы *вы* же, а не какъ тѣ *боги*, одѣтые *иконами*, что обѣщали вамъ царство небесное и не смогли освободить даже изъ каменной тюрьмы; не смогли, да и *не хотѣли*. Съ простотою мы несемъ доброту, не божественную и не ангельскую,—которая, впрочемъ, не перехнулась отъ инквизиціи,—а обыкновенную, по слабости своей—съ гнѣвомъ, съ распрями, со ссорами, но обыденными, но домашними. Полемика будетъ, партіи будутъ, ругаться ужасно будемъ: но торжественно не сядемъ на креслахъ вокругъ костра, на которомъ печется заживо нашъ одинокій и беззащитный врагъ. Мы—не религія, мы—только наука. Претензій большихъ нѣтъ, и никого не держимъ, и всякій можетъ, оставя насъ, вернуться къ прежнимъ „отцамъ духовнымъ"...

Но простое любитъ простое. И все побѣжало сюда, всѣхъ соединили вокругъ себя эти „маги" въ рабочихъ блузахъ и пиджакахъ, Марксы, Энгельсы, Спенсеры, Дарвины. И жмутъ руки имъ рабочіе и они жмутъ рабочимъ руки. И все такое дюжее, мозолистое.

Представить только, чтобы хоть какой угодно почитатель „поцѣловалъ ручку“ у Дарвина, у Спенсера! А ихъ чтили въ двухъ полушаріяхъ. Просто нельзя вообразить! Поцѣлуй ужалилъ бы какъ змѣя, — до того это неестественно, чудовищно. Чудовищно... А, между тѣмъ, у прежнихъ „наставниковъ“, даже и „кой-какихъ“, у всѣхъ *кряду* „цѣловали ручку“.

И тѣ улыбались:

„— Это они отъ смиренія“.

И выросло „смиреніе“ до ада, и выросла гордость до неба. И теперь все это рухнуло.

Мы братья. Простые. Всѣ работаемъ умомъ, руками. Никто ни выше, ни ниже. И одно надъ нами небо. И одинъ нѣтъ подъ небомъ.

Я немножко отвлекся отъ темы своей, нашей русской и теперешней темы. Но, мнѣ кажется, договорить уже сумѣетъ каждый читатель. Лѣвые объемлютъ всю „новую Россію“, шарахнувшуюся къ новому идеалу, всемірному. А центръ и правые стоятъ останками старыхъ идеаловъ, около рушитъ старой культуры. Въ нихъ нѣтъ энтузіазма и силы. Никто изъ нихъ не умретъ за своихъ Горацієвъ и за свои Пантеоны. А „новые люди“ во множествѣ готовы умереть, да и умирали въ „катакомбахъ“ Шлиссельбурга и Кары. Даже эти почицце, пострашнѣе и катакомбъ, и относительно маленькаго цирка Веспасіана.

Май 1906 г.

## Вниманію „трудовой группы“.

Кто изъ двухъ лицъ пролетарій: крестьянинъ ли, имѣющій на семью, т. е. на нѣсколько „ревизскихъ“ душъ, 3—4 десятины земли и курную избенку, или сельская учительница, которая учитъ крестьянскихъ ребятъ за 15—20 р. въ мѣсяцъ, при комнаткѣ, отведенной ей сельскимъ сходомъ, и съ дровами, отпускаемыми „милостью“ его же,— бездомная одиночка, которая по нищетѣ своей и каторжному труду 25 лѣтъ и подумать не смѣетъ о своей семьѣ, о замужествѣ и дѣтяхъ? Отвѣтъ ясенъ: мужикъ есть собственникъ и капиталистъ сравнительно съ учительницею своихъ дѣтей. Настоящій бездомный бродяга, притомъ уже съ упавшимъ на него лучомъ свѣта и всяческихъ идеаловъ—это подобная учительница и учитель, которые буквально, какъ нищіе, зависятъ съ головой, съ руками и ногами, а паче того съ голоднымъ желудкомъ, отъ „милости“ всякихъ начальствъ, начиная съ деревенскаго „кулака“, вертящаго крестьянскимъ сходомъ. Вотъ кто „пролетарій“, вотъ кому грозитъ голодная смерть, которая никогда не грозитъ крестьянину, все же пашущему и имѣющему свой хлѣбъ, свой кровъ.

а въ случаѣ стихійнаго голода получающаго непремѣнно государственную помощь. Положеніе крестьянина лучше, обезпеченѣе, —не говоря уже о томъ, что оно гораздо самостоятельнѣе и свободнѣе —не только сельскаго учителя, но и учителя или учительницы столичныхъ городскихъ училищъ, получающихъ 50 р. въ мѣсяцъ: по той простой причинѣ, что крестьянинъ живетъ *своимъ натуральнымъ хозяйствомъ*, у него почти *нѣтъ покупныхъ вещей*, а учителю въ городѣ или столицѣ надо все купить по страшнымъ столичнымъ или городскимъ цѣнамъ. О, Господи: да въ Петербургѣ и Москвѣ, на улицахъ и въ холодныхъ квартирахъ столько настоящаго „пролетаріата“ даже съ высшимъ, университетскимъ образованіемъ (иногда, по бѣдности, прерваннымъ на половинѣ), о какомъ въ деревнѣ, *на своей травкѣ, въ своемъ лѣсочкѣ*, и понятія не имѣютъ. Здѣсь, въ городахъ, и именно у образованныхъ людей, столько голоднаго и холоднаго отчаянія, какого мужику и во снѣ не снилось; здѣсь проходитъ такая мука первовъ отъ своей безпріютности, отъ своей ненужности, отъ того, что „всѣ мѣста заняты“, „вакансій нѣтъ“, на переводы съ англійскаго, французскаго и нѣмецкаго „есть уже свои кандидатки и другихъ не требуется“ и проч., и проч., и проч., что нервы и воображеніе „дядей Митяевъ и Миняевъ“ лопнули бы отъ испугу, если бы ихъ поставить передъ этой картиною. Въ деревняхъ не слышно о повѣсившихся и утопившихся „отъ безработицы“, отъ голода: а въ городахъ—сплошь и рядомъ. Кто же „пролетарій“ въ самомъ дѣлѣ, Мармеладовъ съ

семьею или дядя Фролъ, тоже съ семьею, ѣдящіе квасъ съ крошенымъ хлѣбомъ, пустыя щи „съ мухой“, и кой-когда молочко, раза три въ годъ—съ говядиной. Беру крайности: но очевидно, что крайность городская до того ужаснѣе, до того холоднѣе, безпріютнѣе, отчаяннѣе деревенской—что ихъ и сравнивать нечего: адъ и чистилище. Деревня—только чистилище, а настоящій адъ—городъ. И не берите „босяковъ“ Максима Горькаго: у босяка есть уголъ, вотъ это самое „дно“. Да, „дно“: ибо есть люди и безъ „дна“, притомъ трезвые, отнюдь не Мармеладовы (хотя у Мармеладовыхъ только „онъ“ пилъ, а въ отчаяніи были всѣ—женщины, дѣти), наконецъ—образованные!.. Босякъ, попромаячивавшій день на углу улицы, ночью пойдетъ въ „ночлежку“, для него заготовленную городскимъ управленіемъ или долго хворавшимъ купцомъ-„благодѣтелемъ“. Но есть люди, для которыхъ рѣшительно нигдѣ и ничего не заготовлено: а изъ комнатенки гонятъ вонъ, а „занятія“ не пріискивается, и уже второй день не ѣлъ. Знакомыхъ, родныхъ и такъ называемыхъ „сосѣдей“—никого. Въ деревнѣ всегда есть „сусѣди“, но въ каменныхъ петербургскихъ домахъ ихъ нѣтъ. Въ деревнѣ всегда есть родство, непремѣнно! въ городѣ опять-же сплошь „какъ перстъ одинокъ“. Да что̀ я говорю: есть своя земля въ деревнѣ, у всякаго есть; а это –капиталъ, такой капиталъ *для абсолютнаго голода*, что и выразить нельзя. Не забуду простого ощущенія, совершенно яркаго даже для дѣтскаго ума, совершенно твердаго: что пока, напр., есть огородъ, въ немъ гряды и, слѣдовательно, на зиму въ

погребъ запасено 1) картофеля, 2) кислой капусты и 3) лука—мы „спасены", *ничего* „страшнаго" нѣтъ! Помню это свое дѣтское ощущеніе, когда въ дому 1) работниковъ не было, 2) жильцовъ не было, 3) мать больная: но есть лукъ, капуста и картофель—и ничего страшнаго нѣтъ!! Гораздо болѣе „страшнаго" я испыталъ въ Москвѣ, *окончивъ курсъ въ университетѣ*, когда мнѣ отвѣтили „по начальству", что „нѣтъ вакансій" на должность учителя, нигдѣ и никакихъ. Можетъ быть и были (и даже навѣрно были)—да „для своихъ людей". Послѣдній рубль истратилъ на запись въ какой-то „конторѣ для пріисканія мѣстъ": но и контора не помогла. И вотъ этотъ вечеръ, когда я стоялъ надъ Москвой-рѣкой (на мосту), недоумѣвая—жить ли, умереть ли, „какъ буду жить" и „страшно умереть",— онъ по *тоскѣ* своей не имѣлъ ничего подобнаго съ тѣмъ, когда въ дѣтствѣ сапогъ не было, а лукъ все-таки былъ... А теперь я былъ въ сюртукѣ и въ галстухѣ, все какъ слѣдуетъ. Пойти въ „ночлежку": да вѣдь надо *адресъ* знать, надобны „проторенные уже пути", „примѣръ товарищей": и это все у счастливаго „босяка" есть, онъ—„капиталистъ" въ смыслѣ обилія „открывающихся дорогъ" сравнительно съ интеллигентомъ, просто вотъ только „не получившимъ мѣста"!—„Что за важность: мало ли такихъ?!"... Много. И всѣ эти „многіе" гораздо, гораздо несчастнѣе мужиковъ, даже несчастнѣе и босяковъ, у которыхъ есть „свои люди" и, ей-ей, бездна путей и исходовъ: наконецъ есть „алкоголь" (ударепіе Максима Горькаго), тогда какъ я—не пьющій... Что еще страшно было на этомъ мосту, даже страшнѣе

всего, отчего и можно было броситься въ воду: наступалъ вечеръ и быстро - быстро засвѣтились вездѣ огоньки, такія теплепькія, такія миленькія; и ни къ одному-то, ни къ одному огоньку я не могу подойти, сказать: „здравствуйте, господа, дайте посидѣть съ вами... можетъ и поужинать можно". Нигдѣ такого мѣста. Все -чужое! Ну, въ деревнѣ „чужого" нѣтъ: можно ночевать хоть въ хлѣвѣ съ коровой, если подъ лавку не пустятъ. Деревня—цѣлый міръ! Деревня—богатство, прямо богатство, когда подумаешь о городскихъ ужасахъ... всякая деревня, самая разоренная. Рабочій всегда кандидатъ на фабрику. Отказа нѣтъ: да вѣдь это—міръ, счастье! Это „проторенный путь", „до меня открытый". Какія возвращаются веселыя работницы изъ Петербурга... въ Литву! (встрѣчаю здѣсь). Ѣдятъ подсолнухи, чуть ли даже не орѣхи, хохочутъ, болтаютъ. Блаженство: развѣ такой видъ у „окончившей курсъ гимназистки", которая проситъ „переписки на домъ, такъ какъ вы литераторъ, и, можетъ быть, найдется".—„Самъ переписываю"... Такой боли, такого лица, какъ у этихъ горожанъ, у горожанокъ, у образованныхъ, у одухотворенныхъ, когда они услышатъ ужасное „самъ переписываю" или „совсѣмъ не пишу на черно, а прямо", подобнаго лица, потухшаго, угасшаго, милаго, умнаго, добраго—конечно, у „Фроловъ" не найдете. Тѣ красные, въ трактирѣ даже водку нюхаютъ.

„ — Мать больная. На моихъ рукахъ. Живемъ въ Лѣсномъ: пришла оттуда пѣшкомъ (по рельсамъ, паровая конка, всего 5 коп.) и назадъ также пойду. Нѣтъ ли занятій?"

„— На Воробьевыхъ горахъ живемъ (въ Москвѣ). Захворала маленькая сестренка животомъ. Иду на десять коп. покупать касторки. Не ѣду на паровой конкѣ, потому-что только эти десять коп. въ дому. А надежда (въ смыслѣ корма) — на завтра или послѣзавтра...“

Да и сколько такихъ! Сколько старыхъ, уже безсильныхъ, и около которыхъ еще малые младенцы. Въ деревнѣ опять „есть ходъ“: котомка черезъ плечо—и на дорогу. „Ходъ проторенъ“. Тогда какъ мнѣ нужно, чтобы „на умъ пришло“! Я никогда бы не пошелъ въ ночлежку, потому что адреса не знаю: но и вовторыхъ: не смѣю! Она—для „своихъ людей“. Какой я „пролетарій“, когда на мнѣ суртукъ? Какъ протянетъ руку за милостыней барышня, знающая законъ расширенія газовъ изъ физики? Невозможно! Есть психологіи, несовмѣстимыя съ извѣстными способами „полученія“, которыя и оказываются „предсмертными и недостигнутыми“...

Но я отвлекся. У насъ былъ домокъ: и отчаянія не было. Отецъ, умерши, оставилъ матери что-то около 1,200 р.—и она купила домъ. Тогда и въ провинціи естественнымъ представлялось жить домомъ. Въ Петербургѣ, „въ нынѣшнія времена“, дома не покупаются, а берется закладной листъ земельнаго банка, съ которымъ и живетъ полу-работающая, полу-инвалидная, нервная, худосочная семья, съ дѣтьми, около какой нибудь, „старшей дочери городской учительницы!“ Видалъ такихъ. Пролетарій изъ пролетаріевъ. Чуть-чуть пьютъ чай. Булки уже нѣтъ; и, главное—будущее совершенно безнадежно, куда хуже и городского, фабричнаго

житья, и деревенскаго мужицкаго, гдѣ хоть есть здоровье, всегда есть предложеніе труда и вообще есть „проторенный путь“...

Ну, вотъ у насъ сгорѣлъ бы домъ, а трудовая группа „перваго русскаго парламента“ не сегодня завтра, въ „уравнительныхъ цѣляхъ“, возьметъ и отберетъ у чуть-чуть лѣпящагося городского пролетаріата эти ихъ крошечныя сбереженія, -тоже буквально, что $2^1/_2$ десятины у мужика—въ видѣ разныхъ „листовъ“ казенныхъ и не казенныхъ бумагъ. Кто же не знаетъ, что этихъ листовъ такъ же почти много, какъ кредитныхъ бумажекъ, и что никогда самыя крошечныя сбереженія въ „рубляхъ“ не держатся, а держатся въ такихъ бумагахъ. И „грядущій пролетаріатъ“ двигается вовсе не на разжирѣвшихъ капиталистовъ, или по крайней мѣрѣ не на нихъ однихъ, но и вообще на всѣхъ, у кого что нибудь есть сбереженнаго сверхъ наличнаго. Подумайте о больныхъ и о хилыхъ, подумайте о дѣтяхъ: и вы поймете, что въ строгомъ смыслѣ „наличнымъ трудомъ“ вообще живетъ только крошечная часть населенія, уже перекладывающагося на плеча „благотворительности“. Не въ правѣ ли обратно этотъ городской пролетаріатъ сказать: „есть уѣзды съ 3-мя десятинами на душу! Немного, но есть; и даже кое-гдѣ есть съ 4-мя, 5-ю десятинами на душу: да еще есть у этихъ же фроловъ и прикупная земелька, которую почему-то Госуд. Дума рѣшила тоже не трогать? *Почему же* именно, было бы любопытно узнать? Отчего это у фроловыхъ дѣтей будетъ вѣчный хлѣбъ и кровъ, а мои ма-

лютки-дочери лѣтъ черезъ 10 иначе какъ въ проститутки въ Вяземскую лавру -и не пойдутъ никуда, пойти имъ некуда!! Просимъ потѣсниться и намъ оставить крапекъ земли. Такъ, съ крашку – около Фроловъ; имъ, такъ и быть, изъ 3-хъ десятинъ на душу останется по двѣ: а *одну десятину* пожалуйте намъ на прокормленіе ребятъ. Мы заведемъ огородную культуру хлѣбныхъ растеній, и трехполку и даже четырехполку—сразу поймемъ. Вѣдь мы учились, кончали съ медалями, и эти земледѣльческіе элементы намъ съ полуслова ясны. Потѣснитесь, мужички, потѣснитесь, и фабричные пролетаріи: и дайте мѣсто образованному пролетарію, которой въ положеніи гораздо худшемъ вашего“.

Маѣ 1906 г.

# Въ русскомъ подпольѣ.

## I.

„— Я вовсе не противъ русской свободы: но когда я вижу смуглыя физіономіи съ крючковатыми носами, которыя съ красными флагами въ рукахъ нахально выступаютъ впереди русскихъ борцовъ, я чувствую потребность ударить палкой по этому кичливо поднятому носу“.

Такъ картинно объяснялъ мотивы своей вражды къ „освободительному движенію“ одинъ членъ „Русскаго Собранія“ на Троицкой улицѣ, въ Петербургѣ, гдѣ подвизаются приватъ-доцентъ Борисъ Никольскій, нѣсколько отставшихъ генераловъ, нѣсколько окончательно неудавшихся журналистовъ и очень много нервныхъ дѣвицъ, не вышедшихъ своевременно замужъ. Гипотеза эта, впрочемъ, проповѣдуется не одними инвалидами съ Троицкой улицы. Многіе органы печати усиленно распространяли и распространяютъ ту мысль, что русская революція тѣсно связана со стоящимъ за нею еврействомъ, которое первое пожнетъ плоды русской гражданской свободы и которое, собственно, и бросило толпы русской молодежи и вообще „барановъ“ для добыванія этой

„свободы", специфически нужной и жгуче нужной одному еврейству.

„— Разумѣется, согласись русское правительство на еврейскую равноправность сегодня, и революція утихнетъ завтра. Но русское правительство патріотично и готово перенесть всѣ тяготы теперешней смуты, чтобы только не давать русскій народъ на съѣденіе евреямъ". -Такъ, въ концѣ іюня объяснялъ мнѣ соотношеніе между еврейскимъ вопросомъ и революціею одинъ почти сановникъ,—человѣкъ, чрезвычайно освѣдомленный въ точкахъ зрѣнія, господствующихъ въ правительственныхъ сферахъ.

И, наконецъ, вторя всѣмъ этимъ мнѣніямъ г. —*штейнъ* въ „Русскомъ вопросѣ", напечатанномъ недавно въ „Новомъ Времени", развязно высказалъ, что „въ отвѣтъ на мѣры обрусенія, принимаемыя русскимъ правительствомъ противъ еврейскаго племени, евреи устроили ему революцію".

„— Они дали русской революціи вдохновеніе!"

„— Они дали русской революціи людскую массу!"

„— Они дали ей деньги!"

Таковы громкія рѣчи. За ними слѣдуютъ разъясненія шопотомъ:

„Тутъ — Ротшильдъ и франмасоны. Франмасоны смертельные враги христіанства, христіанской цивилизаціи. Но этотъ просвѣщенный и гуманный орденъ XVIII и начала XIX вѣка,—къ концу прошлаго вѣка заполнился евреями. Именно *имъ* нужно сокрушить христіанскую нравствен-

ность, устои христіанской жизни, и они обратили этотъ европейскій орденъ въ орудіе тайныхъ цѣлей еврейства. Евреи всего міра образуютъ тайный союзъ, наступающій на христіанскую религію. Организація его въ рукахъ Union universelle israëlite..."

Такъ несутся рѣчи. И думаешь, слушая ихъ: не надо было Гоголю выдумывать „Исторію капитана Копейкина", въ которой излагается, будто сей Копейкинъ, онъ же и Чичиковъ, „есть въ тайнѣ и сущности никто иной какъ бѣжавшій съ о-ва св. Елены Наполеонъ", теперь скрывающійся въ Россіи...

II.

Торопливо собирая въ салфетку маленькую провизію, молодая женщина особенно любовно оглядывала три огромныхъ зеленыхъ огурца. Шелъ апрѣль мѣсяцъ, и огурцы были еще очень дороги. Но тароватая хозяйка дома расщедрилась и прикупила эту новинку для дальняго своего родственника, сидѣвшаго въ „Крестахъ". Такъ, по архитектурному плану или, точнѣе, по системѣ устройства, именуется одиночная тюрьма въ Петербургѣ, что на Выборгской сторонѣ, на берегу Невы, наискось противъ Таврическаго дворца. Взятый, въ числѣ гостей, въ залѣ Экономическаго общества, во время ареста Совѣта Рабочихъ депутатовъ, онъ томился въ каменномъ ящикѣ, напрасно требуя суда или, по крайней мѣрѣ, объясненія, за что и по какому поводу арестованъ. Правда, онъ былъ соціалъ-демократъ: имя опасное при

Плевѣ, но теперь не наказуемое, не виновное. Правда, онъ посвятилъ свою жизнь рабочимъ, но что̀ тутъ преступнаго? Развѣ не въ правѣ выбирать себѣ каждый профессію, путь жизни? Я знаю женщину-врача, филантропа, которая всю свою жизнь, дѣвичью, деликатную, посвятила проституткамъ и проституціи, и, на мой взглядъ, она великая христіанка нашего времени. Другіе посвящаютъ свою жизнь уголовнымъ преступникамъ. Отчего же только фабричные рабочіе или еще крестьяне представляютъ собою такой сверхъестественно-уголовный элементъ, самое прикосновеніе къ которому, самый интересъ къ которому уже есть особо наказуемое уголовное преступленіе?!

Кончивъ прекрасно гимназію, изъ семьи славянофильской,—онъ съ младенчества любилъ простыхъ, сѣрыхъ людей. Не оставилъ этого и въ университетѣ. Пошли „исторіи“, и очень скоро впечатлительный и пылкій юноша долженъ былъ оставить университетскія аудиторіи для какой-то „высылки“, потомъ тюрьмы, безъ предъявленнаго обвиненія,- -и, теряя болѣе и болѣе теплые, остановился на системѣ соціализма, какъ такой цѣлостной системѣ, гдѣ вообще „этихъ гадостей нѣтъ“, гдѣ „наши гадости“ выброшены „съ корнемъ“ (радикализмъ) и даже съ землею, въ которой растетъ этотъ ядовитый корень. Судьба, я думаю, тысячъ русскихъ юношей!

Молодая дѣвушка, лютеранка, нѣмка, встрѣтившаяся съ нимъ гдѣ-то на чтеніяхъ рабочимъ, соединила съ нимъ судьбу свою передъ тѣмъ

первымъ заключеніемъ въ тюрьму. Повѣнчались и разошлись: онъ въ заключеніе, она - домой.

Я увидѣлъ ее впервые только теперь. Она не была очень молода: лѣтъ 29 или 28. Некрасива. Лицо слишкомъ обыкновенное, „какъ у всѣхъ“. Ростъ средній или немного ниже; худощава, но не очень. „Затрудилась, избѣгалась“. Дѣйствительно, въ движеніяхъ и всей фигурѣ, въ томъ, какъ она вставала, какъ садилась, было чрезвычайно много воздушнаго. Хотя она и „затрудилась“, и „избѣгалась“, но въ ней не только не было усталости, но нельзя было и соединить понятіе „усталости“ съ ея фигурой и лицомъ. Въ день она изживала только ту энергію, какая у нея накапливалась за ночь, и, очевидно, накапливалось ея гораздо больше, чѣмъ расходовалось, такъ что она укладывалась снова въ постель единственно потому, что не было никакого уже дѣла, рѣшительно некуда было еще побѣжать, еще что-нибудь исполнить. Всѣмъ намъ немножко тяжело жить, всѣ мы переутомлены, и потому, когда входило въ комнату это „облегченіе“ и, вмѣсто „здравствуй“, какъ бы спрашивало: „отчего же вы сидите? Развѣ вы все передѣлали?“,—то сразу на душѣ становилось веселѣе.

— Вотъ входитъ наша веселость!

— Вотъ входитъ наша легкость!

— Вотъ входитъ наше всеобщее облегченіе!

Такъ формулирую я то чувство, которое неизмѣнно рождалось у меня, когда я видѣлъ ее.

Замѣтилъ я, что она не была красива. Дѣйствительно, ничего пластическаго, ничего „эта-

каго итальянскаго". Ни щекъ à la Юнона, ни локоновъ à la Мадонна. Лицо глубоко XIX—XX вѣка, не портретное, не историческое. Все самое обыкновенное,—кромѣ волосъ, которые до странности напоминали собою характерные и единственные волосы Митридата VI Эвпатора, знаменитаго царя понтійскаго, который двадцать лѣтъ боролся съ Римомъ, чудовищно воевалъ, чудовищно жилъ и чудовищно погибъ. Кто видалъ его монеты, тотъ знаетъ это безбородое, почти женское лицо, съ змѣйками волосъ, которыя обрамляютъ его и немного отнесены, точно вѣтромъ, назадъ. И у этой нѣмки-лютеранки-православной-русской-соціалистки все лицо, отъ темени до плечъ, было окаймлено длинными прядями бѣлокурыхъ, чуть-чуть золотящихся волосъ, тонкихъ, жидкихъ, мелко вьющихся, будто зыбкихъ, которые въ окончаніяхъ совершенно переходили въ змѣиные хвостики и даже скорѣе въ дрожащія змѣиныя жала.

— Вы укусите!

Въ отвѣтъ она разсыпалась своимъ яснымъ, звонкимъ смѣхомъ. Забылъ сказать главное: почему же она мнѣ понравилась, уже въ смыслѣ физической привлекательности. Отъ своего слишкомъ обыкновеннаго лица она не нравилась, не производила впечатлѣнія только первые полчаса знакомства. Но едва она заговорила и произнесла первыя же слова, какъ вы невольно отмѣчали ее въ своемъ вниманіи. Было что-то особенное въ темброѣ, въ звукахъ голоса ея, услышавъ который собесѣдникъ не допускалъ самой возможности лжи: и

не по „убѣжденіямъ“, не потому, что „таковъ взглядъ на вещи“, до этой точки „развился человѣкъ“, но оттого, что такъ онъ отцомъ съ матерью зачатъ. Вышелъ изъ лона материнскаго и полетѣлъ прямо, все прямо, все впередъ въ воздухъ, дальше, выше, къ жизни, къ смерти — но не виляя, не уклоняясь, не обходя. Нѣтъ этой дрожи въ жизни, и нѣтъ дрожи въ голосѣ. Голосъ какъ же описывать? Его надо передавать. Ухо мое уловило гордость, чистую человѣческую гордость, огромное сознаніе своего достоинства подъ этимъ платьемъ, почти бѣднымъ, даже вовсе бѣднымъ. Да, еще кофтёнка у нея была—умора! Дрянненькій верхъ, ваты подложено чуть-чуть. Точно собаки трепали въ этой кофтѣ. А голосъ и взглядъ какъ у Митридата VI Эвпатора. И эти змѣйки волосъ, и смѣющіеся глаза...

— Вы неудобная женщина. Какъ онъ на васъ женился? Вы не умѣете подчиняться, вы не можете согласоваться.

Смѣется.

— Онъ такой красавецъ. Ну, онъ васъ разлюбитъ? Вѣдь это бываетъ фатально, какъ вы знаете,— безъ вины. Природа.

Что-то грустное, осунувшееся прошло по лицу ея, какъ облачко, и исчезло.

— Ну, разлюбитъ!.. ну, ну...

Я понялъ, что тогда „можно умереть“.

— Не разлюбитъ,— смѣялся я.— Такіе, какъ вы, сгораютъ, а не живутъ: и разлюбить просто будетъ некогда.

Разсмѣялась.

— Вы же меня задерживаете разговорами, а мнѣ надо торопиться въ тюрьму. Вотъ этотъ огурецъ все-таки самый лучшій... и я снесу его мужу. Но и эти оба хороши же: такіе свѣжіе; ихъ я отнесу двумъ евреямъ. Знакомые. Тоже сидятъ, къ нимъ сестры ходятъ.

— И много у васъ евреевъ?

— Много. Очень много. Въ пропагандѣ треть, половина евреевъ.

— Все молодежь?

— Все молодежь.

— Охота вамъ съ жидами возиться!

Смѣется.

— Каковы они? Кричатъ? Галдятъ?

Самые храбрые, самые великодушные. Самые неизмѣнные, никогда не продающіе друзья. Партія наша безъ великодушія, безъ идеализма — пропала: даже ея вовсе нѣтъ, т. е. не было бы. Нельзя помнить себя, заботиться о собѣ,—и быть въ нашей партіи: и вотъ этой способности совершенно забыть себя, отъ всего личнаго отречься и все отдать на службу народу—ни у кого нѣтъ столько, какъ у молодыхъ евреевъ.

— „На службу народу“,—пересмѣялъ я ее.— Какому? Вѣдь они евреи, а здѣсь, если не ошибаюсь, Россія.

Въ лицѣ ея выразилась необыкновенная скука. Неглижерство къ услышанному.

— Къ чему тутъ „Россія“, при чемъ „евреи“? Человѣкъ.

Она сказала еще короткія слова. — тѣ слова, которыя если читать ихъ въ книгѣ, то они ка-

жутся необыкновенно скучными и неинтересными, кажутся шаблономъ отъ ихъ трафаретности и стереотипности. Оттого, я думаю, ихъ прокламаціи и книжки всѣ кажутся такими скучными и бездарными, какъ „Господи помилуй" дьячка. Но вѣдь кто-то въ первый разъ, въ испугѣ, въ печали, въ раскаяніи сказалъ: „Господи помилуй". И тогда, у того *перваго*, это было прекрасно, трогательно, небесно по живой связи съ настоящимъ фактомъ его души, съ тоскою сердца и надеждой на Бога. Точно такъ же „всѣ люди суть люди"—ужасно скучно въ чтеніи: но когда, широко раскрывъ глаза, вы слышите эти слова немного картавящаго голоса, и смотрите на человѣка, для котораго въ самомъ дѣлѣ между „жидомъ" и „русскимъ" нѣтъ разницы, и самъ онъ—нѣмецъ, а всю жизнь работалъ для русскихъ, а, впрочемъ, и для жидовскихъ фабричныхъ, давно безъ родины или, точнѣе, имѣя весь свѣтъ своею родиною, своимъ драгоцѣннымъ отечествомъ, для котораго онъ выноситъ голодъ, холодъ, опасность, тюрьму, одиночество,—то вы чувствуете, что этотъ человѣкъ, такой сѣрый и невидный, сталъ неизмѣримо впереди и выше Тургенева, Толстого, Достоевскаго, для коихъ всѣхъ „люди суть братья"—осталось мечтою, недосягаемою и недостигнутою: осталось „шаблономъ", какъ для дьячка его „Господи помилуй". Прокламаціи и книжки пропагандистовъ *написаны* совершенно иначе, чѣмъ какъ онѣ нами *читаются*, и отсюда эта разница во впечатлѣніи. Имъ кажется, что этимъ можно землю перевернуть, а намъ кажется, что этимъ

нельзя пошевелить и пука соломы. По нашимъ впечатлѣніямъ, правда, нельзя пошевелить и пука соломы: а ихъ энергіею, правда, можно перевернуть весь міръ. „Земля вертится около солнца—есть разница въ этой истинѣ для гимназиста 1-го класса, выучивающаго ее изъ учебника, и для Коперника, который, кончивъ свое „De revolutionibus orbium coelestium“ перекрестился и сказалъ: „Боже! Чудны дѣла твои! Земля не недвижна“.

Какъ-то я заглянулъ въ три часа ночи, передъ тѣмъ, какъ идти спать, за ширмочку, гдѣ спала сестра этой женщины, такая же, какъ она, соціалъ-демократка, еще дѣвица. Смотрю: на столикѣ, около потушенной свѣчи, лежатъ тоненькія книжки Каутскаго—„Исторія крестьянскихъ союзовъ“ въ Германіи (или гдѣ-то) и „Къ вопросу о 8-ми-часовомъ рабочемъ днѣ“. „То-то,—подумалъ,—премудрость“. А теперь думаю: „—А вѣдь и въ самомъ дѣлѣ—мудрость: ну, какъ мудро Богъ устроилъ, что не работница, не нищая, имѣющая обезпеченный достатокъ въ положеніи родителей, читаетъ на ночь не французскій романъ, гдѣ маркизъ ухаживаетъ за маркизою, мечтаетъ не о томъ, какое платье она сошьетъ себѣ къ Пасхѣ и хороша ли будетъ въ немъ у заутрени, — а о томъ, какъ облегчить рабочихъ на Выборгской сторонѣ, сколько собираетъ хлѣба русскій крестьянинъ, и что нужно снести зеленый огурецъ томящемуся 6 мѣсяцевъ въ одиночной тюрьмѣ еврею, который, въ свою очередь, сидитъ тамъ отрѣзанный отъ отца, матери, можетъ быть—отъ невѣсты, ради этого же русскаго крестьянина и фабричнаго рабочаго“...

И я кончилъ энергично и свѣжо:

— Чудны дѣла Твои, Боже, что ты такъ разсѣялъ и перемѣшалъ нужды и заботы людей, что никто-то никто изъ нихъ не остается безъ своего Ангела-хранителя, стоящаго съ мечомъ огненнымъ на защитѣ жизни его, и Ангела-мстителя за муку и оскорбленіе его.

## III.

Рѣшительно, русская жизнь, русская исторія пошла какимъ-то электрическимъ двигателемъ, когда она прежде не имѣла и парового. Событія и, наконецъ, даже повороты исторіи, „колѣна“ ея наступаютъ такъ быстро, если и не неожиданно, что, напримѣръ, статья, написанная сегодня не совсѣмъ „на тему дня“, а довольно общаго содержанія, оказывается уже запоздалою, если она задерживается въ напечатаніи на одинъ—два дня. Вы пишете о Думѣ: но завтра она распущена, и совершенно очевидно, что все вступило на какой-то новый, „не думскій“ путь. Послѣ роспуска Думы все тихо, и многіе пишутъ и говорятъ, что „и будетъ тихо“. Вы реагируете на это „предостерегающе“, вы хотите указать, будетъ ли тиха деревня,—какъ вдругъ разражаются одновременно два страшныхъ военныхъ возстанія въ двухъ первоклассныхъ крѣпостяхъ, едва не овладѣвающія этими стратегическими пунктами, какъ опорными точками революціи.

Суть дѣла, очевидно, въ ней. Суть въ тѣхъ подземныхъ вулканическихъ силахъ, которыя съ

70-хъ годовъ прошлаго вѣка начали потрясать почву подъ нашей государственностью, бытомъ, церковью, въ основѣ всего подъ нашею экономикою. Удары то возобновлялись, то стихали; гулъ и сѣрный запахъ никогда не прекращались. Теперь только становится понятно, почему, начиная съ 70-хъ годовъ, вся политика государства свелась почти къ „борьбѣ съ пропагандою“, которая въ печати и въ обществѣ выставлялась всегда смѣшною, и не иначе рисовалась великими и гуманными русскими писателями (Марѣ Волоховъ и Вѣра въ „Обрывѣ“ Гончарова, Базаровъ въ „Отцахъ и дѣтяхъ“ Тургенева, то эксцентрическіе, то преступные типы въ „Бѣсахъ“ Достоевскаго). Писатели эти были все-таки „бары“ литературы, имѣли аристократическое положеніе, духовно-аристократическое въ обществѣ, и смотрѣли сверху внизъ на стремленія „студентовъ помочь народу путемъ государственнаго, экономическаго, религіознаго и всякаго полнаго переворота“. Затѣя казалась слишкомъ невозможною, чтобы съ нею серьезно считаться,—и всѣ, въ обществѣ, въ литературѣ, и чиновники, и корифеи русскаго романа, видѣли въ этомъ „направленіи молодежи 70-хъ годовъ“ бытовое и временное явленіе, которое они должны были „уловлять и изображать“, пока оно не исчезло, но отнюдь не обсуждать его съ тою серьезностью, какъ напримѣръ „подвиги губернатора Салтыкова“ въ Казани, назначеніе новаго министра, классическую или реальную систему образованія, или, позднѣе, институтъ земскихъ начальниковъ. Послѣднія темы были солид-

ныя. О нихъ говорили и было прилично говорить въ гостиныхъ и въ кабинетахъ, въ журналахъ и большихъ газетахъ, въ кружкахъ западническихъ и славянофильскихъ. Но студенты, да еще не кончившіе курса, въ красныхъ рубахахъ и косоворотках, пошедшіе въ народъ съ „Хитрою механикою“, Бюхнеромъ и „Впередъ“? Это казалось настолько комично, не серьезно, наивно, мечтательно, неопытно, неосуществимо, безплодно,— что ни Аксаковъ съ Катковымъ, ни Стасюлевичъ со Спасовичемъ ни за что не дали бы страницы своихъ газетъ и журналовъ для серьезнаго дебатированія о томъ, что̀ это за явленіе и чѣмъ это кончится. Только одно правительство, можно сказать, стало „въ уровень съ явленіемъ“: всѣмъ было удивительно, почему оно „гоняется съ дубиной за мухой“, мѣтитъ „изъ пушки по воробью“. Никому не пріятно стоять въ смѣшномъ положеніи: и, беря на себя весь рискъ смѣшного, правительство, начиная съ 70-хъ годовъ прошлаго вѣка, всю свою политику расположило въ направленіи „борьбы съ пропагандою“.

Къ этому приноравливалась система образованія; по этой задачѣ назначались министры внутреннихъ дѣлъ; обрѣзывался судъ, подбиралась вся администрація. Дѣло въ томъ, что одно правительство физически и во-очію видѣло и всмотрѣлось въ это явленіе: оно арестовывало, допрашивало, заключало въ казематы, казнило. Вездѣ оно видѣло „ихъ“ лицомъ къ лицу; Тургеневъ, Достоевскій, Гончаровъ рисовали „по слухамъ“ и въ сущности ничего не знали, неглижерничали,

презирали, фантазировали, снисходительно покровительствовали. Но жандармы, губернаторы, министры внутреннихъ дѣлъ, полиція „всѣхъ цвѣтовъ“ –читали „подлинныя дѣла“ въ преслову-той синей обложкѣ, а, главное, они допрашивали, т.-е. смотрѣли въ глаза, слышали интонацію голоса, наблюдали манеры, обращеніе, видѣли ихъ годы въ затворѣ, видѣли ихъ лица и слышали ихъ слова на эшафотѣ, передъ казнью, въ великую минуту смерти!

Видѣло. *Услышало.* И... случилось что случилось...

Оно почувствовало въ нихъ смертельную опасность, единственную; почувствовало, что тутъ „кто-то будетъ *одинъ*, а не *два*“. „Или *я* выживу, но это когда *они* всѣ подохнутъ, *ни одного* изъ нихъ не останется“... Но ихъ все „оставалось“, сколько ни казнили, и передъ правительствомъ впервые проносилась полена смерти: „все *живутъ*!.. нѣтъ *конца!* Остается хоть немного,—и потомъ все возрождается даже съ бо́льшею силою, въ бо́льшемъ числѣ! Неужели же *я* умираю, умру? Я, тысячелѣтнее, общее, обнимающее собою все, держащее въ своихъ рукахъ всю Россію, ея судьбу, исторію, несчастье и счастье, народъ и образованіе, науку и искусство, господъ, сословія и армію?!“

Черезъ сто лѣтъ объ этомъ будутъ томы написаны. Неужели же тогда будетъ темно то́, что сейчасъ такъ ясно? Сейчасъ мы видимъ этихъ людей: и для насъ, въ сущности, все ясно, и вопросъ заключается почти только „въ доброй памяти“— въ томъ, чтобы все нами усматриваемое записать, и не упустить чего-нибудь внести въ реестръ.

Суть не въ „освободительномъ движеніи“,—суть въ *свободномъ человѣкѣ*; въ *русскомъ свободномъ*, освободившемся *человѣкѣ*, который, почувствовавъ *такъ* себя внутренно, понесъ эту свободу даже не Россіи, а міру.

Суть не въ „революціи“, а въ *нигилизмѣ*,—старое слово, употребленное Тургеневымъ, но не опредѣленное имъ, и, можетъ быть, неопредѣлимое, котораго не нужно опредѣлять. „Опредѣлить—значитъ сузить“, -догадался Спиноза. Всякое „опредѣленіе“ есть одновременно уясненіе и суженіе: послѣ опредѣленія вещь становится или должна остаться, обязана остаться уже *недвижною*, вѣчно *тою же*. Вотъ отчего жизненныя явленія, живыя, равно религіозныя или художественныя,—не опредѣлимы. Они не „поддаются“ опредѣленіямъ, выскальзываютъ изъ-подъ нихъ, убѣгаютъ, уклоняются. Они еще хотятъ жить; хотятъ геройства и униженія, фальши и правды. Они живы. Таковъ нигилизмъ. Для него не нужно опредѣленій. Во всякомъ новомъ мѣстѣ, со всякимъ новымъ годомъ, во всякомъ „другомъ человѣкѣ“ онъ уже не тотъ, какимъ мы его знали „тогда-то и въ томъ-то“.

Но общій характеръ, тенденція, направленіе неизмѣнны: это *высвобожденіе*. „Высвобождается“ *семья*—это „нигилизмъ“ *семейный*. „Высвобождается“ *религіозная совѣсть*—это *религіозный* „нигилизмъ“. То же о государствѣ, литературѣ, эстетикѣ, бытѣ, экономикѣ, обо всемъ, буквально обо всемъ. Явилось „всеобщее“ или даже, пожалуй, всемірное стремленіе къ „высвобожденію“, и притомъ во всѣхъ областяхъ и по всѣмъ на-

правленіямъ. Высвобожденіе почти біологическое, почти какъ физіологическое движеніе; что-то неловкое, неудобное, тяготящее, мѣшающее *сбрасывается*,—вотъ „нигилизмъ“. Отсюда глубокая вѣрность наименованія всего движенія „освободительнымъ“. Это—не революція, объемлющая только политику, государственность; это неизмѣримо больше ея, неизмѣримо культурнѣе ея, въ смыслѣ содержанія зародышевыхъ элементовъ для цѣлой новой цивилизаціи.

„Высвобожденіе“ отъ чего? Отъ *традиціонности*. „Традиціонное“ государство, „традиціонная“ Церковь, „традиціонное“ искусство и эстетическія сужденія, „традиціонный“ бытъ, „традиціонныя“ экономическія отношенія, и прочее, и прочее, и прочее, чего мы и исчислить не сможемъ,—все сбрасывается, отвергается, не уважается, осмѣивается, побарается. Примемъ во вниманіе, что нѣтъ страны въ Европѣ, гдѣ „вообще угнетеніе“ и „вообще традиціонность“(папа, напримѣръ, церковь) были бы такъ сильны, продолжительны и ярки, какъ въ Россіи,—и мы поймемъ, отчего „нигилизмъ“, какъ „анти-традиціонность“ и „высвобожденіе“, вырвался вулканомъ именно въ ней.

„Высвобожденіе“ отъ „традиціонности“ во имя чего? Во имя своего „я“, своей личности, своей индивидуальности. Здѣсь, однако, „нигилизмъ“ могъ бы нарваться и прорваться, ибо противъ *интересовъ* „я“ есть интересы „общества“, которые могутъ и связать, сковать „я“. Но особенный моментъ его возникновенія и особое положеніе нашей страны сдѣлали то, что закричало о себѣ *страдальческое*

„я", а не господствующее и барское „я"; скажемъ такъ для понятности: не феодальное, западное, гордое „я", а другое, скромное, угнетенное „я". Есть „я" завоевательное, и есть „я" защищающееся: въ нигилизмѣ закричало „я" защищающееся. Марк Волоховъ, Базаровъ, герои „Бѣсовъ", если ужъ нужны невѣрные косые примѣры (они одни есть въ литературѣ)—не ищутъ себѣ эполетъ, почета, богатства, положенія, покорности. Они говорятъ, всему окружающему говорятъ: „Оставьте *мня* жить такъ, какъ *я* живу". Этотъ такъ сказать діогеновскій „нигилизмъ", въ самой его ранней стадіи—потребовалъ просто высвобожденія личнаго „я" отъ путъ и условностей, отчасти отъ дѣланности и фальши общества, религіи, семьи и пр. и пр.; требовалъ свободы какъ *уединенія*, свободы какъ *натуральности* и *естественности*, свободы какъ *физіологической* и *психологической правды*.

Но затѣмъ, почувствовавъ себя *свободнымъ*, испытавъ все удобство *правды* и *натуральности*,—нигилизмъ и „нигилисты" понесли ее и міру, людямъ. Если первая фаза нигилизма была или, точнѣе, въ единичномъ случаѣ, во всякой біографіи бываетъ „діогеновскимъ уединеніемъ", „духовнымъ одиночествомъ и свободою", то во второй фазѣ онъ явился и является какъ бурный коллективизмъ, какъ натискъ на „старыя твердыни", давящія человѣка, человѣчество. Образовался ураганъ, какъ „критика" (вѣтеръ вѣдь „критикуетъ" твердость зданій, построекъ), и можно предвидѣть, что если изъ Россіи „движеніе" перейдетъ въ Западную Европу, то оно вообще тамъ, какъ

и у насъ, снесетъ все, что „плохо лежитъ“, что уже непрочно держится исторически, что потеряло „правду въ себѣ“ и стоитъ только „традиціонно“, „привычно“. Всѣхъ „не живыхъ боговъ“ снесетъ нигилизмъ, и удержится только подлинно-нужное, подлинно-необходимое, подлинно-благодѣтельное человѣку. Поэтому, уже теперь можно предвидѣть, „нигилизмъ“ будетъ страшно обновляющимъ движеніемъ, ибо онъ будетъ движеніемъ страшно разрушающимъ.

„— А ну-ка, заговорп?“

Съ этимъ вопросомъ онъ обратится къ каждому „идолу“, и разобьетъ всякій, которой не отвѣтитъ.

Наступило (я думаю, для всей Европы) великое „Дарвиновское испытаніе“. Для всѣхъ вещей, статуй, идоловъ, классовъ, положеній, для всякаго счастья и высоты наступила длительная минута „борьбы за существованіе“, гдѣ они должны „отстоять себя“, показавъ свою „правду“ и „жизненность“ и „благодѣтельность“, — не на словахъ, но риторическую, а дѣловую. Пришла смерть для всего „ненужнаго“. — „Ну, кто *выживетъ?* Кто *подлинно нуженъ*“? Вопросъ слишкомъ страшный для слишкомъ многаго. Недаромъ у многаго и многихъ поджилки трясутся...

„Вынеси бурю—и останешься живъ“. Ну, это и *суть* дарвиновскаго процесса: переживанія „совершеннѣйшаго“, процессъ „совершенствованія“ міра. Чѣмъ буря страшнѣе, рветъ паруса, ломаетъ мачты — тѣмъ и лучше: только настоящее, подлинное и выживаетъ, выживаетъ „лучшее изъ лучшаго“ и „совершенное изъ совершеннаго“.

Повторяю: „революція"—только узенькій именуемый ручеекъ; подъ нимъ рѣка—„освободительное движеніе"; подъ этою рѣкою—бездонный, безбрежный океанъ, нигилизмъ... „Я люблю только то, что подлинно люблю", „уважаю только то, что подлинно уважаю", „поклоняюсь только передъ подлинно восхищающимъ меня". Все *подлинное*. Подлинникъ подлинностей („реализмъ" 60-хъ годовъ)—вотъ материкъ, который не штурмуется нигилизмомъ. Ну, а какъ, прикинувъ это мѣрило, почувствуетъ себя католицизмъ, протестантство, старая „Тора" и „Талмудъ"? Да что они! Дѣло — въ людяхъ, „подлинномъ". „Если ты вѣришь въ папу и хочешь поцѣловать у него туфлю", - говорятъ „товарищу" изъ Вильны нигилисты, „мы не препятствуемъ. Цѣловать сами не будемъ, а ты поцѣлуй". — „Товарищъ" чешетъ за ухомъ, спрашиваетъ себя, „въ душѣ" спрашиваетъ, въ „подлинномъ": и тамъ, въ душѣ, не испытывая никакого восторга при мысли о папской туфлѣ, отвѣчаетъ московскимъ „товарищамъ": „ Я хотѣлъ, какъ всѣ! Всѣ ходятъ, паломничаютъ. Уже тысячу лѣтъ, даже больше. Святой отецъ, старенькій, почтенный, обижать я его не хочу; однако, и паломничать тоже не хочу... Уважать— уважаю, даже очень, но вообразить его *непорочнымъ, святымъ*, какимъ-то *отцомъ своимъ, личнымъ, моимъ духовнымъ отцомъ*, когда до меня ему и дѣла нѣтъ, и онъ ни на минуту не будетъ и не хочетъ и не можетъ помнить меня - этого я не могу, не могу! Это ложь, если сказать сознательно и очнувшись"...

То же думаетъ латышъ-лютеранинъ объ Аугсбургскомъ исповѣданіи.

Врачъ-реформатъ о Кальвинѣ и женевской Церкви.

Православный о Фотіи и его ссорѣ съ папою Николаемъ I насчетъ „опрѣсноковъ".

И думаетъ это же еврей о Талмудѣ и субботѣ.

И завтра начнетъ думать самаркандскій „князь", членъ Думы, о знаменитыхъ „намазахъ", предписанныхъ Пророкомъ...

„Нигилистъ" никого не удивитъ, ни къ чему не торопитъ. Ничего даже не объясняетъ и не доказываетъ.

Вся его фигура, попыхивающая папироской, говоритъ только одно:

„Я сижу на *подлинномъ*. Я подлинный. Курю, потому что нравится, и живу съ женой, потому что люблю ее и пока люблю ее. Правительство свое, родное—ненавижу; націю свою, даже очень родную—не очень уважаю; вѣры вашей и не презираю и не уважаю. Мнѣ все равно—молитесь хоть чурбанамъ, хоть Буддѣ, Магомету или Кальвину. Самъ я ничему не молюсь, ибо у насъ все вранье. Но вотъ что̀ важно и что̀ я исполняю и чего отъ васъ требую: трудитесь — сколько можете, и живите—насколько трудитесь; никого не не обижайте, никого не притѣсняйте; будьте подлинными и дѣлайте все подлинное; все безъ притворства, все безъ ломанья; все *по правдѣ*, по натуральной правдѣ".

И дѣлается „нигилистомъ" еврей.

И дѣлается „нигилистомъ" татаринъ.

И дѣлается имъ латышъ, нѣмецъ, полякъ, литвинъ.

— Мы хотимъ родины! „Автономіи"!

— Сколько угодно.

— Своего языка, храма, управленія, администраціи!

— Пожалуйста, пожалуйста: до предѣловъ, насколько это вамъ самимъ удобно.

– Неужели?!! Но вѣдь вы русскій, членъ Россіи, гражданинъ ея??!

— „Я — *подлинный*, которому случилось быть вмѣстѣ съ тѣмъ и „русскимъ"; конечно, полякомъ не сдѣлаюсь, ни нѣмцемъ. Очень нужно. Благополученъ въ своемъ благополучіи, чего и вамъ подлинно желаю. Если хотите сотрудничать со мною,— будьте въ связи; нѣтъ —не стану плакать и одинъ".

И думаютъ всѣ: „Этотъ русскій, эта Россія въ въ немъ—они уже никого не давятъ, давятъ меньше, чѣмъ Пруссія, чѣмъ даже Австрія и, наконецъ, Англія или Америка. Легка Россія стала,— какъ пухъ на плечѣ. Куда намъ итти, къ чему итти? въ связи—сильнѣе, безопаснѣе, цѣльнѣе".

И остается „русскимъ" нѣмецъ.

И остается имъ полякъ, литвинъ, армянинъ, грузинъ.

И образуется великое „товарищество": не — государство, не Церковь, но какъ система совѣстей, какъ міръ совѣстей — не стѣсненныхъ какъ воздухъ, подвижныхъ какъ вѣтеръ, сильныхъ какъ электричество. Сказываютъ: электричество сильнѣе желѣза. Старый міръ — желѣзный, новый—электрическій.

## IV.

Говоришь о темѣ, и все нѣсколько отвлекаешься отъ нея. Я началъ говорить о правотѣ правительства, сосредоточившаго съ 70-хъ годовъ прошлаго столѣтія всѣ свои силы на борьбѣ съ пропагандою,—по поводу одной личности и одного политическаго процесса, недавно воспроизведенныхъ гр. Л. Н. Толстымъ въ разсказѣ: „Божественное и человѣческое, или еще три смерти". Появился разсказъ этотъ первоначально въ англійскомъ журналѣ „Fortinightly Review" и потомъ на русскомъ языкѣ въ иллюстрированномъ приложеніи къ „Нов. Вр." въ №№ 10900 и 10903. „Три смерти"—это одинъ изъ раннихъ разсказовъ Толстого о томъ, какъ умерли: чахоточная помѣщица, которую привезли въ деревню „для воздуха", деревенскій мужикъ, и —молоденькое дерево, которое срубили на крестъ этому мужику! Симпатіи Толстого возрастаютъ по мѣрѣ передвиженія разсказа отъ помѣщицы до дерева: сперва все въ насмѣшливомъ и презрительномъ тонѣ, но затѣмъ, съ переходомъ къ мужику и въ дереву этотъ тонъ становится серьезнѣе, задушевнѣе, а слова короче; и, наконецъ, разсказъ совсѣмъ теряетъ фабулу, переходя въ 5—6 строкъ сообщенія, какъ „дерево скрипнуло, точно изъ него душа вышла, и повалилось въ сторону, обратную рубившему Семену". Барыня умираетъ всего сложнѣе и всего безобразнѣе, дерево умираетъ всего проще и всего прекраснѣе: а *смерть* и здѣсь и тамъ *одна*. Разсказъ,

очень коротенькій, прекрасенъ по мастерству и глубокой мысли, на немъ легшей.

Заглавіе его („или еще три смерти") Толстой повторилъ, описавъ смерть двухъ „государственныхъ преступниковъ" и одного старообрядца-сектанта, который столкнулся съ ними въ тюрьмѣ и ссылкѣ. Толстой за всѣ годы своего писательства почти вовсе не касался политики и нигилизма,—иначе какъ мелькомъ и побочно. Все здѣсь слишкомъ жёстко, слишкомъ кратко, слишкомъ самоувѣренно, и холодно саумоувѣренно, чтобы можно было съ нихъ писать бархатною кистью по бархатному фону. Люди эти, сверхъ того, вообще пришли разрушить все то, съ чего писалъ Толстой свои картины, и что, даже сквозь скорбь и пасмѣшку послѣднихъ произведеній, онъ все-таки любитъ любовью традиціонною, жившею въ крови его, которая текла отъ благородныхъ предковъ, все графовъ и все помѣщиковъ, каждую осень охотившихся на лисицъ и въ каждую войну отстаивавшихъ грудью отечество. Всѣ знаютъ отзывъ его о Государственной Думѣ: его не занято, что Дума есть некрасивый медикъ, принесшій лѣчить некрасивую болѣзнь. Въ старомъ романистѣ заговорилъ эстетъ, почти эстетъ: „какъ все это *некрасиво!..* Какъ некрасивы *они!..* Какъ некрасивы ихъ *рѣчи!..*" Точно они собрались *для звона;* или точно это кокетки, которыя должны были развѣться въ красивое зрѣлище, какъ русскіе при Бородинѣ, или какъ „толстовцы" за Евангеліемъ, гдѣ нибудь въ старой деревнѣ подъ вѣковыми липами... Знаю сейчасъ

и нельзя быть въ одно и то же время великимъ *живописцемъ* исторической жизни и самому быть *борцомъ* живой исторіи, прекраснымъ и дѣятельнымъ до живописности... Толстой безконечное сотворилъ перомъ, но жизнь онъ просидѣлъ въ Ясной Полянѣ, восторгаясь и негодуя надъ бумагою, и, кажется, никогда не толкался плечомъ о суровую человѣческую толпу, споря, негодуя, какъ работникъ среди рабочихъ, какъ равный среди равныхъ, одинаковый съ одинаковыми.

Разсказъ его въ „Нов. Вр.“, безъ сомнѣнія, уже всѣми прочтенъ; онъ не очень хорошъ, но и недуренъ. Въ немъ есть дорогія штрихи прежняго его пера и, главное, онъ не страдаетъ тѣми длинными разсужденіями послѣднихъ лѣтъ Толстого, которыя про себя каждый читатель называетъ довольно несносными. Въ концѣ разсказа, гдѣ „террористъ Игнатій Можеецкій“ повѣсился на другой день послѣ обиды, нанесенной ему въ краткомъ разговорѣ новыми революціонерами, встрѣченными въ Сибири, которые не хотѣли считать себя его учениками и дѣйствительно не были ими—маститый художникъ впадаетъ въ шаржъ, карикатуру и небывальщину. Во-первыхъ, все слишкомъ коротко: вчера поговорили — сегодня повѣсился. Такъ не бываетъ и этого *не было.* Во-вторыхъ, всѣ мемуары самихъ революціонеровъ, теперь уже довольно многочисленные (см. книжки „Былого“), свидѣтельствуютъ о полномъ отсутствіи у нихъ *умственной гордости*, такъ сказать умственной *завоевательности, диктаторства*,—хотя они вѣчно пропагандируютъ, спорятъ, борются

идейно. Да, боются: но *на равной ногѣ*, въ грубой и вмѣстѣ довѣрчивой товарищеской схваткѣ.

„Ничего не подѣлаешь *съ этой бабой*“, сказалъ (по воспоминаніямъ) Желябовъ о Софіѣ Перовской, когда, послѣ бурныхъ спибокъ съ нимъ на товарищескихъ сходкахъ, она отвергала и до конца отвергла террористическій путь, предлагаемый Желябовымъ, съ которымъ были всѣ другіе согласны, и отстаивала старое „хожденіе въ народъ“. Онъ не пожелтѣлъ, какъ Іуда, отъ ея упорства, не „затаилъ обиду“. „Ничего не подѣлаешь съ этой бабой“, которая впослѣдствіи, но самостоятельно и отъ себя, перешла потомъ на его путь.

И вообще желтой зависти у нихъ нѣтъ, *не было*. Можно быть увѣреннымъ, что все дѣло сгнило бы въ первые же годы, появись эти баре и слуги въ пропагандѣ, эти выскочки и подчиненные, этотъ мелкій духовный деспотизмъ, и вообще „наше мелочное“, наше „слишкомъ обыденное“. Во-вторыхъ, объ уваженіи: читая мемуары, невозможно не поразиться, до чего всѣ они уважали, почти обожали другъ друга, опять въ этихъ грубыхъ товарищескихъ чертахъ, сквозь суровую пропію и совершенно простецкія отношенія. Трудно это выразить: опредѣлить. Во взаимномъ-то отношеніи и скрыта вся та тайна необычайнаго притяженія къ нимъ, которое испытывали не только люди ихъ „наклонной плоскости“, но и другіе, напр. даже чиновники полиціи, которые изъ „ловителей“ неожиданно переходили въ „укрывателей“, изъ враговъ въ друзей. Формы были постоянно грубы, „нигилистическія“; ни манеръ.

ничего. Но подъ этимъ ледянымъ, нероховатымъ покровомъ жила необыкновенная нѣжность, чисто родственная, братская, сестринская. Она-то всѣхъ соединяла въ одно, она открывала такую легкость для дышащей груди, измученной условностями „верхней жизни“, что люди эти, переходя „на нелегальное положеніе“, чувствовали себя впервые по-настоящему, по-человѣчески свободными. Въ душевномъ отношеніи получался какъ бы переходъ изъ ползучести въ полетъ. Снаружи все стѣснено, опасно: но спалъ этотъ панцырь постояннаго притворства, постояннаго ломанья, постоянныхъ ненужныхъ словъ и ненужныхъ дѣйствій, среди какихъ мы, въ сущности, всѣ живемъ „въ легальномъ положеніи“. Цѣль, фантастическая или великая -сама собою: но нельзя ни до какой цѣли дойти, имѣя, такъ сказать, „прискорбное плаваніе“, несносный путь, отвратительную дорогу. До трудныхъ, страшно трудныхъ цѣлей, „недостижимыхъ“, и доходятъ этими „счастливыми путями“: ежеминутно радующими, не снаружи, а внутри, съ облегченной грудью, пусть и при поломанныхъ ребрахъ. Нужно, чтобы душа отдыхала. И душа „отдыхала“ у нигилистовъ въ этихъ ихъ странствованіяхъ ли „въ народъ“, или въ подпольной пропагандѣ и конспираціяхъ.

Толстой этого ничего не уловилъ. Просто— пренебрегъ взглянуть на это. Кромѣ этого удавившагося отъ самолюбія „террориста Игнатія Можейскаго“, онъ описываетъ казнь черезъ повѣшеніе „нигилиста“ Свѣтлогуба, который даже мало и принадлежалъ къ кружку революціонеровъ, не

принадлежалъ къ нимъ дѣятельно, но на-время далъ въ своей квартирѣ положить для укрывательства динамитъ своему товарищу-террористу. Динамитъ этотъ былъ арестованъ. Свѣтлогубъ, конечно, не выдалъ товарища, и долженъ былъ самъ поплатиться за него, какъ собственникъ и орудователь динамитомъ. Дѣло происходило въ Одессѣ („съ видомъ на море"),—и, словомъ—это разсказъ во всѣхъ подробностяхъ факта о томъ, какъ въ 1879 году одесскій генералъ-губернаторъ Тотлебенъ („нѣмецкій уроженецъ", „герой Севастополя и турецкой войны") повѣсилъ извѣстнаго Димитрія Лизогуба. Вымышленное лицо только этотъ „Игнатій Межецкій", подъ несимпатичными чертами котораго Толстой скрылъ Игнатія Гриневецкаго, бросившаго вторую бомбу, послѣ Рысакова, 1-го марта, и тутъ же на мѣстѣ убитаго ею. Подробности въ разсказѣ Толстого сохранены настолько, что „въ дочери генералъ-губернатора, помолвленной съ его адъютантомъ", можно узнать уже умершую нынѣ супругу генерала Х, урожденную Тотлебенъ. Характеръ же Лизогуба (оригиналъ „Свѣтлогуба") вполнѣ вѣренъ тому, что передаетъ о немъ въ своихъ мемуарахъ покойный Кравчинскій („Степнякъ"). Такъ какъ разсказъ Толстого уже прочли сотни тысячъ, а очеркъ Кравчинскаго сравнительно мало извѣстенъ внѣ „русскаго подполья", то я позволю себѣ, почти безъ пропусковъ, воспроизвести его для людей „нашего верхняго слоя". Кстати,—это сразу и безъ комментаріевъ объяснитъ, почему затревожилось правительство 70-хъ годовъ, отчего оно было

право, и, наконецъ, какимъ образомъ эти маленькіе кружки людей, человѣкъ въ 15—20 тамъ и сямъ, по городамъ и уѣздамъ, смогли въ теченіе 35-ти лѣтъ совершить все то, что отдѣляетъ Россію гр. Д. Толстого, Каткова и Побѣдоносцева отъ Россіи Государственной Думы, октябрьскихъ митинговъ и всеобщихъ забастовокъ. Путь необозримый, пропасть, казалось бы, незасыпаемая! Кто же ее засыпалъ? Кто прошелъ этотъ путь *самъ* и *провелъ* по нему русское общество, — эти сонныя души, дремавшія за картами, виномъ и барышнями, мелко плутовавшія въ департаментахъ и канцеляріяхъ?

„Однажды въ декабрѣ 1876 года, — разсказываетъ Кравчинскій, — мнѣ пришлось присутствовать на одной изъ студенческихъ сходокъ, которыя никогда не переводятся въ Петербургѣ. Сходка была не изъ многолюдныхъ и не отличалась живостью. Обсуждался такъ часто подымавшійся и ничѣмъ не разрѣшавшійся никогда вопросъ о томъ, какъ слить всѣ отдѣльные кружки молодежи въ одну организацію. Дѣло было явно неосуществимо, въ виду разношерстности этихъ кружковъ. Сами инициаторы общей организаціи, повидимому, понимали это, и потому споры велись вяло, скучно, точно черезъ силу.

„Но среди присутствующихъ былъ одинъ, которому удавалось и оживить полное собраніе, и привлечь его вниманіе каждый разъ, какъ онъ вставлялъ въ однообразные дебаты какое-нибудь свое маленькое замѣчаніе, почти всегда мѣткое и слегка шутливое. Это былъ блондинъ, высокаго

роста, блѣдный и нѣсколько худощавый. Длинная борода придавала ему видъ апостола. Лицо его не было въ строгомъ смыслѣ краснвымъ, но трудно себѣ представить что-нибудь пріятнѣе выраженія его добрыхъ голубыхъ глазъ, оттѣненныхъ длинными рѣсницами, и нѣжнѣе его дѣтской улыбки. Его ровный, протяжный голосъ ласкалъ слухъ, подобно низкимъ симпатичнымъ нотамъ пѣсни, и проникалъ въ самую душу.

„Онъ былъ очень бѣдно одѣтъ. Хотя на дворѣ стояла настоящая русская зима,—на немъ былъ парусинный пиджакъ, съ большими деревянными пуговицами, который отъ частой мойки успѣлъ уже превратиться въ тряпку. Поношенный черный жилетъ закрывалъ его грудь до самой шеи: и всякій разъ, когда онъ подымался, чтобы произнести свои нѣсколько словъ, можно было замѣтить, что брюки его не по сезону свѣтлы.

„Когда, по окончаніи собранія, публика стала расходиться, удаляясь группами по 3—4 человѣка,—изъ предосторожности, какъ это всегда дѣлается въ Россіи въ подобныхъ случаяхъ,—мнѣ съ однимъ пріятелемъ пришлось выйти одновременно съ этимъ незнакомцемъ. Тутъ я увидѣлъ, что весь его верхній костюмъ состоялъ изъ легкаго пальто, стараго краснаго шарфа и кожаной фуражки. Онъ не носилъ даже столь обычнаго у нигилистовъ пледа, несмотря на то, что въ этотъ вечеръ морозъ доходилъ до 20-ти градусовъ. Распрощавшись съ моимъ пріятелемъ, съ которымъ, повидимому, былъ немного знакомъ, онъ быстро пошелъ, почти побѣжалъ по улицѣ, чтобы немного

согрѣться скорой ходьбой. Черезъ нѣсколько мгновеній онъ скрылся изъ виду.

„— Кто это такой? — спросилъ я своего спутника.

„ - Дмитрій Лизогубъ,—былъ отвѣтъ.

„— Лизогубъ? Черниговскій?

„— Да. Черниговскій.

„Невольно я посмотрѣлъ еще разъ по направленію, въ которомъ исчезъ этотъ человѣкъ. Дмитрій Лизогубъ былъ милліонеръ, владѣлецъ громаднаго имѣнія, состоявшаго изъ усадьбы, земель, лѣсовъ, въ одной изъ лучшихъ губерній Россіи. Несмотря на это, онъ жилъ бѣднѣе послѣдняго изъ своихъ приказчиковъ, потому что все, что у него было, онъ отдавалъ на революцію".

Черезъ два года послѣ этого Кравчинскій встрѣтился опять съ Лизогубомъ, уже какъ членъ съ членомъ,—„въ одной изъ тѣхъ организацій, въ которыхъ люди сходятся и узнаютъ другъ друга такъ же хорошо, какъ если бы они были членами одной семьи". Опасность, техника заговора, множество дѣлишекъ и дѣль—все сближаетъ этихъ людей, какъ матросовъ корабля среди бурнаго и опаснаго моря, какъ ремесленниковъ, работающихъ у одного верстака. Тутъ просто некогда скрывать себя и кокетничать. И вотъ общее впечатлѣніе, которое выноситъ Кравчинскій (совершившій вскорѣ покушеніе на Мезенцова, шефа жандармовъ) изъ общей работы:

„Было бы слишкомъ мало назвать Лизогуба чистѣйшимъ изъ людей, какихъ я когда-либо встрѣчалъ. Во всей партіи не было человѣка,

равнаго ему по совершенно идеальной нравственной красотѣ. Отреченіе отъ громаднаго состоянія на пользу дѣла было далеко не высшимъ изъ проявленій его подвижничества. Многіе изъ революціонеровъ сдѣлали то же, но другого Дмитрія Лизогуба между ними не было. Подъ внѣшностью спокойной и ясной, какъ безоблачное небо, въ немъ скрывалась душа, полная огня и энтузіазма. Для него убѣжденія были религіей, которой онъ посвящалъ не только всю свою жизнь, но, что̀ гораздо труднѣе,—каждое помышленіе: онъ ни о чемъ не думалъ, кромѣ служенія дѣлу. Семьи у него не было. Ни разу въ жизни онъ не испыталъ любви къ женщинѣ. Его бережливость доходила до того, что друзья принуждены бывали заботиться, какъ бы онъ не заболѣлъ отъ чрезмѣрныхъ лишеній. На всѣ ихъ замѣчанія по этому поводу онъ отвѣчалъ обыкновенно, какъ бы предчувствуя свою преждевременную кончину: „Мнѣ все равно не долго жить“. И онъ не ошибся.

„Его рѣшимость не тратить ни копейки изъ денегъ, которыя могли пригодиться на дѣло, доходила до того, что онъ никогда не позволялъ себѣ проѣхаться на конкѣ, не говоря уже объ извозчикѣ. Помню, какъ однажды онъ показалъ намъ два предмета, составлявшіе принадлежность его парадnаго костюма,—складной цилиндръ и перчатки. Онъ пріобрѣлъ ихъ во время оно, когда, благодаря своему положенію, долженъ былъ сдѣлать визитъ Черниговскому губернатору или кому-то въ этомъ родѣ. Перчатки были нѣжно-пепельнаго цвѣта и казались новешенькими. Онъ сообщилъ

намъ, однако, что онѣ у него уже три года и, улыбаясь, объяснилъ маленькую хитрость, къ которой онъ прибѣгалъ, чтобы сохранить ихъ въ такомъ видѣ: онъ надѣвалъ ихъ только на порогѣ пріемныхъ залъ или кабинетовъ, куда ему нужно было изрѣдка являтся. Что касаеться цилиндра, то тутъ дѣло было сложнѣе, такъ какъ уже съ годъ тому назадъ пружина поломалась, а онъ все не могъ собраться отдать ее въ починку. Всякій разъ онъ находилъ, что необходимый на это двугривенный можно употребить производительнѣе. Однако, для поддержанія своего достоинства, онъ всегда входилъ въ гостиную не иначе, какъ съ этой самой шляпой подъ мышкой, между тѣмъ какъ у него въ карманѣ покоился неизмѣнный кожаный картузикъ, который онъ носилъ лѣто и зиму. Выходя на улицу, по окончаніи визита, онъ обыкновенно дѣлалъ нѣсколько шаговъ съ обнаженной головой, приглаживая для виду волосы, и затѣмъ, отойдя на нѣкоторое разстояніе, извлекалъ изъ кармана свой пресловутый кожаный картузикъ“.

Такъ свободнѣе—и только. Въ самомъ дѣлѣ, можно ли дѣлать революцію въ цилиндрѣ и перчаткахъ? Такъ же мало, какъ мало было возможности Петру Великому учиться въ Саардамѣ корабельному ремеслу, продолжая носить „охабень“ и „ферязь“. По работѣ—платье, какъ и обратно — платье тоже по работѣ. „Охабни“ и „ферязи“, въ которыхъ нельзя было пошевелиться, оттого и появились въ старой Москвѣ, что бояре, являясь только къ царскому двору и сидя въ Боярской Думѣ, „уткнувъ въ землю бороды и молча“ (запись

Котошихина) уже вѣка не имѣли никакого дѣла для себя. Явилось дѣло, при Петрѣ,—и пришлось, по дѣлу, перемѣнить и платье. Но теперь вновь все русское общество, въ „служилой" его части, одѣлось въ мундиры, въ серебро и золото,—такъ какъ вновь для него наступила пора ничего не-дѣланья. Въ мундирѣ чиновникъ, въ мундирѣ адмиралъ, въ мундирѣ военачальникъ; на груди привѣшенныя на ленточкахъ вещицы; въ мундирѣ духовныя лица всѣхъ ярусовъ: эти „духовные" одѣянія уже такъ сложны, что въ нихъ „облачаются по церемоніалу"... Ну, и исчезли побѣды Петровскаго времени, исчезъ подвигъ добраго самарянина, перевязывавшаго раны найденному на дорогѣ израненному путнику. Все исчезло, всякое дѣло. Теперь „герою" ни побѣжать, ни нагнуться. И стоять „герои" въ линійку, и сидять „герои" рядышкомъ: красиво, нарядно, мужичкамъ и купцамъ есть на что полюбоваться, солнце горитъ у нихъ въ золотѣ и серебрѣ... Какъ въ сказкѣ. Но „сказочныя" царства непрочны и въ сказкахъ много бываетъ „дурачковъ", которымъ въ реальной жизни некуда дѣться, некуда ихъ дѣвать. Въ „сказкѣ" они лежатъ или верхомъ ѣздятъ, ибо „сказка" хлѣба не проситъ, а на черной землѣ надо добывать хлѣбецъ, а для хлѣбца надо имѣть разумъ работать. И вотъ пришли другіе люди и сняли опять, какъ при Петрѣ,—мундиръ, оставивъ его только для тѣхъ случаевъ, когда нужно являться на глаза этихъ „ненужныхъ" людей, которые почему-то воображаютъ, что они суть „самые нужные" въ отечествѣ... На самомъ же

дѣлѣ опять пошла борьба, какъ при Петрѣ Великомъ, только уже не подъ руководительствомъ гиганта, о коемъ поэтъ сказалъ:

«То—академикъ, то—герой,
То—мореплаватель, то—плотникъ,—
Онъ всеобъемлющей душой
На тронѣ вѣчный былъ работникъ»,

а подъ своимъ собственнымъ гигантскимъ водительствомъ, по своему замыслу, по своей инициативѣ. Въ самомъ дѣлѣ, теперешнее освободительное движеніе, если бы на него посмотрѣть съ луны, представилось бы какою-то всеобщею борьбою мундировъ съ рубахами, или, пожалуй, штурмомъ людей въ „кожаныхъ картузикахъ“ и „парусиныхъ пиджакахъ“, въ чемъ всякая работа ловка и спора, легка и весела,—противъ огромнаго Ноева Ковчега, переполненнаго мундирами и мундирами, до того тяжеловѣсными и ни къ какой работѣ не приспособленными, точно люди эти родились безъ труда, живутъ безъ труда и вотъ, кажется, пришла минута „безъ труда“ имъ и опочить вѣчнымъ сномъ...

«Ты все пѣла... это дѣло,
Такъ поди же попляши!»

какъ говоритъ въ баснѣ трудолюбивый муравей нарядной стрекозѣ. Холодно. И жмется бѣдная стрекоза. Нечего дѣлать—зима идетъ.

## На судѣ рабочихъ депутатовъ.

...Опять эти нескладно сшитые, обвислые сюртуки, помятыя крахмаленныя сорочки, причесанные „пятерней" волосы—перемѣшались съ пиджаками при рубашкѣ на выпускъ... И эти черныя какъ воронова крыло кофточки и юбки дѣвушекъ, женщинъ, при бѣлокурыхъ волосахъ, сѣрыхъ или голубыхъ глазахъ, смѣющемся лицѣ...

Я подалъ карточку съ спеціальною рекомендаціею, и судебный приставъ черезъ ряды полиціи и жандармовъ провелъ меня въ залу особаго присутствія Судебной Палаты, гдѣ судится Совѣтъ рабочихъ депутатовъ.

Она небольшая и имѣетъ какой-то запошенный, старый, провинціальный видъ. Свѣта мало. Впрочемъ—октябрь, и въ Петербургѣ вообще свѣта мало. Во 2-мъ часу дня зажигаютъ люстру,—какую-то бѣдную, завалящую. Все вообще бѣдно въ этой залѣ, противъ ожиданія. Впереди три большихъ стѣнныхъ портрета — государей Александра II, Александра III и нынѣ Царствующаго. Они обрамляютъ высоко поставленный столъ суда, за которымъ сидятъ тихія фигуры. Все вообще тихо. Вслѣдствіе скверной акустики, голосовъ

почти не слышно,—ни свидѣтелей, повернутыхъ къ публикѣ спиною, ни обвиняемыхъ—справа, ни самаго суда. Я напрягаюсь, вслушиваюсь, всматриваюсь. Кто-то говоритъ, какъ шепчетъ: но кто—невозможно разобрать за недвижностью всѣхъ фигуръ и какой-то страшной безличностью, которая нависла надъ судомъ.

Когда не можешь слышать - удвоенно смотришь. За высокимъ судебнымъ столомъ я прежде всего сосредоточился на Артаксерксѣ. Такъ и моментально назвалъ въ себѣ изваянную темную фигуру недвижнаго человѣка, въ пышномъ золотомъ мундирѣ: лѣтъ за сорокъ, около пятидесяти, смуглый цвѣтъ кожи, черные волосы, посеребренные просѣдью -и, главное, величіе лица и такая царственная недвижимость! Угрюмъ, серьезенъ. „Этотъ засудитъ, непремѣнно засудитъ!“—подумалъ я. „Какъ передъ такимъ стоять и отвѣчать? ...бѣдные рабочіе депутаты въ помятыхъ сорочкахъ!“ Рядомъ съ нимъ, тоже въ мундирѣ, но болѣе прозаическомъ,—сидѣлъ, какъ я подумалъ, „пижонъ“: нѣтъ еще 30-ти лѣтъ, или около того. Усы и этакое гладкое, счастливое, неопытное лицо. „Ну, этотъ неважень! ...дальше“. Дальше сидѣло что-то худое и болѣзненное, какъ-то уйдя глубоко въ огромное кресло. Напрягаю глазъ. Какъ будто сейчасъ *оно* говоритъ. Рѣшить трудно, ибо голоса рѣшительно не слышно, а въ залѣ если не тепло, то сыро. „Худое и болѣзненное“ на меня положило впечатлѣніе крысы, облитой керосиномъ, и которую забыли зажечь. Поэтому она имѣетъ видъ чего-то больного, мокраго и несчастнаго. „Ему

бы доктора",—подумалъ я о повидимому говорящемъ: „какое же онъ имѣетъ отношеніе или какую роль въ этомъ дѣлѣ, гдѣ ходуномъ ходятъ волны, и бурлятъ такія чувства"...

Мокрое замолчало. Сталъ что-то говорить господинъ слѣва, тоже въ мундирѣ, но совсѣмъ простенькомъ. Молодой, кажется съ усами, но вообще со слабой растительностью, и ростъ небольшой. Ничего не видно и ничего не слышно. „Какіе они судьи!" „Впрочемъ",—оглянулся я на Артаксеркса—„этотъ одинъ все замѣняетъ и всѣхъ возмѣщаетъ". „Недаромъ—судъ *сословныхъ представителей*. Это графъ или князь, на всю Россію видный. Судитъ Россія, въ лицѣ своихъ сословій,—и предсѣдатель или прокуроръ тутъ только между прочимъ. Произнесетъ свой вердиктъ страна, а министерство юстиціи дало только обстановку и формы. У него взяли залу, плохую—и только".

Такъ думалъ я, неопытный Авахарисъ, дней шесть назадъ, когда впервые вошелъ въ эту залу. Было рѣшительно скучно, безцвѣтно. „Хоть бы покурить". Дали перерывъ, и я вышелъ.

И былъ же я удивленъ, когда среди публики, торопившейся въ буфетъ, вдругъ увидѣлъ, какъ, обгоняя всѣхъ, семенитъ ножками мой Артаксеркъ. „Боже мой, гдѣ же онъ, владыка Востока?" Я взглянулъ на лицо. И оно мнѣ показалось не такимъ уже важнымъ. Правда, смуглое, съ просѣдью,—но гдѣ же это величіе старой бронзы? Въ коридорѣ было свѣтлѣе, и на маленькихъ, жиденькихъ ножкахъ этотъ золотой мундиръ показался мнѣ совершенно обыкновеннымъ.

— Кто это?—съ досадой спросилъ я.

— Неужели не знаете? Тройницкій. Депутатъ отъ города. Развѣ не видали въ Городской Думѣ?

Я никогда не бывалъ въ Думѣ и мысленно „сплюнулъ“ на сторону отъ своей ошибки. „И вѣчно я такая телятина“.

— Ну, а молодой кто, рядомъ съ нимъ?

— Графъ Гудовичъ. Депутатъ отъ дворянства.

— Гм... гм... А потомъ?

— Третьимъ сидитъ депутатъ отъ сельскаго сословія (я не помню: можетъ быть, сказали— „отъ крестьянства“).

Ну, тотъ былъ совсѣмъ незамѣтенъ. То же въ сюртукѣ, чуть ли не со слѣдами мундира же, и окончательно молчалъ. Видно было, что онъ и никогда не произнесетъ слова, и въ вердиктѣ „не обнаружитъ своего сужденія“. „Судъ сословныхъ представителей“... Но я думалъ видѣть Сусаниныхъ, Мининыхъ, потомка Суворова-Рымникскаго, я думалъ видѣть Исторію-судительницу, и недаромъ мечталъ объ Артаксерксѣ. Эта иллюзія не столько мрѣнія, сколько ожиданія, была во мнѣ такъ естественна. Увѣренъ, что и во всей далекой Россіи поддаются этой иллюзіи, и издали, вѣроятно, она и мерцается... Прозаикъ-Петербургъ во всемъ разочаровываетъ.

— Ну, а въ серединѣ кто?

Я спросилъ о больной крысѣ.

Кого я спрашивалъ,—широко раскрылъ глаза.

— Какъ *кто*?

— Блѣдный такой, съ большими волосами Слабымъ, еле дышащимъ, голосомъ... Такъ глубоко ушелъ въ кресло?

— Боже мой, да это же *предсѣдатель!*

„Вотъ тебѣ и опять телятина!“ Но вѣдь онъ такъ молодъ!? А „предсѣдатель суда“, даже обыкновеннаго окружнаго,—всегда старецъ. Такъ я видалъ. Да и по логикѣ это мужъ „въ приказахъ *посѣдѣлый*“, который „добру и злу внимаетъ *равнодушно*“... Правда, и этотъ не утроплень, не оживленъ, но единственно отъ болѣзни... Предсѣдатель *Судебной палаты* мнѣ рѣшительно представлялся именно съ челомъ Артаксеркса, и я Троѣницкаго-то и принималъ за предсѣдателя суда, и вообще того, кто „судитъ и засудитъ“...

Теперь, на шестой день, я ясно вижу, что собственно „исторію суда“ ведетъ и создаетъ именно предсѣдатель, который все и вершитъ, всѣмъ управляетъ, и, словомъ, имѣетъ значеніе „передняго ведущаго колеса“ въ локомотивѣ и поѣздѣ. Роль его не только не та, къ какой мы привыкли при мысли о предсѣдателѣ обыкновеннаго суда, съ присяжными засѣдателями, но и совершенно ей обратна. Онъ, въ сущности, совмѣщаетъ въ себѣ и прокурора, и истца, и слѣдователя, и присяжныхъ,—ибо онъ разспрашиваетъ свидѣтелей. Мундиры, напротивъ, и „Артаксерксы“, и „потомки Рымникскаго“ только „между прочимъ“, чтобы „издали видно было“ и въ „Россіи думали“ и „за границей полагали, что“... Предсѣдатель—судья; а въ горячей схваткѣ передъ нимъ въ сущности это -помятыя рубашки, справа отъ публики, и синіе мундиры,

обильно толкующіеся на крайнемъ лѣвомъ фонѣ, около входа въ залу, и въ коридорѣ передъ заломъ.

Сегодня я ихъ разсмотрѣлъ, этихъ схватившихся. Тутъ былъ жандармскій ген.-м. Ивановъ, и тотъ офицеръ, помнится Модель,—что арестовывалъ Совѣтъ рабочихъ депутатовъ, и еще нѣсколько. Что кто-то изъ нихъ, кажется ген.-м. Ивановъ, принялъ „женщину въ помятой кофточкѣ“ за Вѣру Засуличъ,— единственно по сему слабому признаку помятой кофточки,—и удивляться нельзя. Можетъ быть я ошибаюсь,—но мнѣ побрезжилось при взглядѣ „налѣво“, что вслѣдствіе спеціальности этой службы и усиленной „благонамѣренности“, какой она очевидно требуетъ, на нее выбираютъ только людей, которые бы даже „Птички Божіей“ Пушкина не читали; а о революціи, да и объ всякомъ вообще „движеніи“, если это не есть „движеніе“ жандармской лошади, осаживающей публику, -думали, что „это сплошь все каторжное дѣло“, и ужъ тутъ разбираться совершенно не въ чемъ и не къ чему... Никогда такъ, какъ здѣсь, я не чувствовалъ, что вѣдь нужно бы имъ что-нибудь понимать во всемъ томъ строѣ идей, желаній, мотивовъ, надеждъ,—съ которымъ они непрерывно имѣютъ дѣло; что „жандармская служба“, „охранная служба“ требуетъ университетскаго образованія, но (дадимъ звѣрю дорогу) -съ „уклоненіемъ направо“, какъ былъ „уклонепъ направо“, фанатично уклоненъ древній Платонъ, житель республики и поклонникъ Сиракузскихъ владыкъ... Хотя это встрѣчается въ очень небольшомъ процентѣ, но встрѣчается же, что люди утонченнѣйшей

культуры, высокаго спиритуализма, самыхъ обширныхъ свѣдѣній, становятся фанатическими врагами прогресса, движенія впередъ, всякаго развитія и свободы,—друзьями деспотизма, изувѣрами истинно „сиракузскихъ“ или „истинно-русскихъ чувствъ“... У насъ былъ одинъ великій примѣръ подобнаго уклоненія — это публицистъ (мало оцѣненный) 80-хъ годовъ, Конст. Ник. Леонтьевъ, авторъ книгъ „Востокъ, Россія и славянство“, „Отецъ Климентъ Зедергольмъ, іеромонахъ Оптиной пустыни“, „Національная политика, какъ орудіе всемірной революціи“ и „Анализъ, стиль и вѣяніе; критическій этюдъ о романахъ гр. Л. Н. Толстого“. Менѣе систематичнымъ и идейнымъ, но столь же страстнымъ консерваторомъ былъ, начиная съ 63-го года, М. Н. Катковъ—и длинная плеяда болѣе умѣренныхъ или среднихъ консерваторовъ — Рачинскій (С. П.), Страховъ (Н. Н.), Данилевскій (Н. Я.). Вообще для „обороны“ у насъ нашлись бы силы, которыя могли бы помѣрятся съ революціей, измѣривъ всю глубину ея. Конечно, чтобы они *пошли* сюда, на „охраненіе основъ“, — самое это „охраненіе“ должно бы организоваться иначе, академически, учено,—хотя также и физически: но вѣдь Платонъ-аѳинянинъ былъ не только поэтомъ и философомъ аристократіи и тираніи, „владычества жрецовъ и воиновъ“, но и реальнымъ другомъ реальнаго Діонисія Сиракузскаго, съ его реальными „средствами“... Но почему же только у насъ,—хотя, впрочемъ, кажется и вездѣ въ Европѣ, — на „охраненіе“ призваны силы, которыя говорятъ не членораздѣльно, которыя „Птички Божіей“ не знаютъ и какъ-то урчатъ:

„— Служба-съ, м. г., служба!

„— Я говорю: служба!

„— Когда я служилъ, въ 94-мъ году...

Или:—„Когда я выслужусь, въ 908-мъ году"...

И только. И больше ничего. Ни вправо, ни влѣво, ни взадъ, ни впередъ. „Служба"... Ну, какъ же тутъ понять, что такое „Совѣтъ рабочихъ депутатовъ", когда даже единственною, непремѣнною и достаточною „примѣтою" Вѣры Засуличъ считается „помятая кофточка"... Боже мой, онъ не могъ понять, что „помятыхъ кофточекъ" сколько угодно, и если бы „Вѣра Засуличъ" было столько же, сколько ихъ, то судились бы и обратно судьями были ужъ не тѣ лица, а въ обратномъ порядкѣ. Но что спрашивать съ того, кто не знаетъ „Птички Божіей", и Лассаля принимаетъ за бѣжавшаго съ Сахалина каторжника, котораго всѣми усиліями ловятъ на Западѣ и Востокѣ. „Лассаль, Бѣленцовъ, рабочіе депутаты хватай, лови!"

Слишкомъ элементарно.

И я со скукою перевелъ глаза направо, назадъ, прямо передъ собою,—на скамью, гдѣ сидѣла небольшая группа свидѣтелей.

— Ба, да я ихъ всѣхъ видалъ! Это—тѣ, съ кѣмъ мы спорили, горячились, расходились, сходились не по житейскимъ мотивамъ, а вотъ по этимъ мозговымъ и „будущимъ", касающимся всей Россіи или всего будущаго. Носарь, который представляется въ перспективѣ какимъ-то Рпнальдо-Ринальдини революціи, начальникомъ таинственнаго заговора, имѣвшаго въ виду сокрушить Россію-имѣетъ ласковое, простое, только очень вдумчивое

и сосредоточенное лицо бурша, недавно кончившаго университетъ. Ростъ небольшой, фигура средняя, все - „среднее"; волосы не бѣлокурые, какъ выходило по фотографіи, давно распространенной, а темно-русые, не густые и часто забираемые „пятерней". Просто—студентъ, который рѣдко чешется. На свою фотографію онъ не похожъ, а еще меньше на Риналъдо-Риналъдини: это — типичный школьный учитель, даже не по сердитой математикѣ, а по русскому языку или по исторіи, вообще по чему нибудь благодушному. „Лицо филолога"—я такъ бы опредѣлилъ. Только часто онъ останавливается (въ паузахъ, въ антрактахъ) среди разговора, и тогда лицо дѣлается очень задумчивымъ и сосредоточеннымъ: но вотъ недалеко, изъ публики (залъ очень малъ и это возможно) жена его окликнула:

— Владиміръ, хочешь кофею? А? Я пришлю! (я не очень точно схватилъ имя, но помню, что она его назвала совсѣмъ по-домашнему).

И онъ поднимаетъ задумавшуюся голову и все лицо освѣщивается ясною, доброю улыбкою.

„— Не можетъ быть, чтобы это былъ тигръ! Невѣроятно! Это нужно не знать „Птички Божіей", чтобы подумать такъ".

Я не нарочно пишу, а что видѣлъ и какъ видѣлъ. Чтобы быть безстрастнымъ, я скажу, что „чего-нибудь этакаго такого" я бы скорѣе уже ждалъ отъ жены его: маленькая, почти низкорослая, широко и свободно раздалась она въ плечахъ, въ шеѣ, въ лицѣ, во всей этой большой головѣ, или которая кажется большою отъ красивыхъ свѣт-

лыхъ локоновъ, которые лежатъ у нея на плечахъ. Немножко бы побольше роста и латы -могла бы играть Жанну д'Аркъ:

О, почто на племъ воинственный
Я свой жребій обрекла,—

какъ пѣлъ когда-то Жуковскій. Въ самомъ дѣлѣ, это типичная „Іоанна изъ Шиллера",—но только совсѣмъ въ обратную сторону: ушедшая не въ мечту, а въ дѣйствительность, но со всѣмъ пыломъ мечты, и -не въ воинство, а въ рабочія толпы. Бѣлый, большой, туго накрахмаленный воротникъ крѣпко взялъ ея шею—и вся она отчетливая, сильная и невообразимо живая. Когда бы я ни взглядывалъ на нее -ей всегда „что-то хотѣлось сказать": все лицо въ движеніи, -и вотъ-вотъ что-то она сдѣлаетъ. „Это не ее облили керосиномъ, а она облила керосиномъ"—и только ей не дали зажечь. Я ее замѣтилъ, среди публики, въ первый же день, какъ пришелъ въ судъ — и нельзя было не замѣтить. Но не зналъ, кто она—и узналъ позднѣе. Когда сегодня я смотрѣлъ на лицо ея, совсѣмъ въ аршинѣ отъ себя, я подумалъ: Ну, ты однако не создана для любви и вообще „страсти нѣжной, которую воспѣлъ Назонъ", какъ говоритъ Пушкинъ въ „Онѣгинѣ". Что-то совсѣмъ другое,—общественное, групповое, не постельное, не спальное. Жёны—онѣ должны умѣть спать: а какъ заснетъ такая? Она однимъ глазомъ спитъ, а другимъ смотритъ. Подъ подушкой у нея всегда „конституція",—да и на подушку она не ляжетъ, положитъ вмѣсто себя куклу, а сама убѣжитъ къ „милу дружку", -не за

поцѣлуями, а за прокламаціями. Хороша, очень хороша: но я бы ни за что не могъ полюбить такую, я и всякій бы, кто захотѣлъ бы положить въ любовь, въ семью, въ дѣтей—все. „Не нужно!"

И я внимательнѣе смотрѣлъ въ это, во всякомъ случаѣ, замѣчательное лицо. Въ аршинѣ разстоянія можно многое разсмотрѣть: лѣпка лица вся мужская; и красота его, въ сущности, мужская же, „мыслительная и работная", и только локоны эти, такіе женственные, такъ удивительно соразмѣрные, —не длиннѣе, чѣмъ нужно, и не короче, чѣмъ нужно, для полной ихъ (локоновъ) красоты—дѣлаютъ лицо и фигуру женственною и красивою. Безъ нихъ, это „другъ", „товарищъ", лишь случайно надѣвшій юбку.

И около нея такой контрастъ: выше ея ростомъ, почти высокая, въ бѣлой-бѣлой суконной или кашемировой кофточкѣ стояла точно изъ „епархіальнаго училища" дѣвушка. Но, взглянувъ на руку, я увидѣлъ обручальное кольцо. Почти сплошь въ публикѣ - жены, сестры и матери обвиняемыхъ или важнѣйшихъ свидѣтелей. Входъ затрудненъ, безъ „особой рекомендаціи" нельзя,—и въ сущности публика вовсе отсутствуетъ, кромѣ корреспондентовъ газетъ, стенографистовъ и вообще „необходимыхъ принадлежностей",—и вотъ дальше эти, „свои". Поэтому зала суда очень семейна. Но я отвлекся: насколько г-жа Носарь была лишь повидимому женщина, а въ сущности „товарищъ", Іоанна изъ деревни Домъ-Реми, пришедшая освобождать же, но только не Францію отъ англичанъ, а „Россію отъ стараго режима", настолько эта

милая женщина, —если ее не оскорбить мой эпитетъ,—ушла вся въ бездонную свою эту женственность. Видно, что тутъ, за перилами („публика") они всѣ знаютъ другъ друга: и къ ней обращались, шепча, говоря. И она отвѣчала улыбкой, наклоненіемъ головы, но ни разу не раскрыла рта и не сказала ни слова. И въ перерывы я ее видѣлъ сидящею одиноко на скамеечкѣ. Лицо ея было чрезвычайно печально или, скорѣе, казалось печальнымъ отъ какой-то переполнявшей ее мысли, или глубокаго чувства, или большой тревоги. Точно она что-то разгадывала, тревожную и опасную загадку, и не успѣла разрѣшить „своимъ слабымъ женскимъ умомъ". Лицо умное · но умѣренно. Вся фигура спокойная, очень. Но все это обыкновенно, у всѣхъ: прелесть ея составляло то, что, разъ взглянувъ на нее,—какъ-то потомъ и не умѣешь представить себѣ „Таню Ларину въ разочарованіи" или Лизу Калитину, отходящею въ монастырь, иначе чѣмъ *только въ этой высокой, скромной фигурѣ*. Бываютъ же такія „эмблематическія фигуры"... Художники русскіе, гдѣ вы и что вы видите?

Мнѣ ужасно хотѣлось, когда она сидѣла одна на лавочкѣ, подойти къ ней и спросить: „Который изъ подсудимыхъ ея мужъ?" - и тѣмъ косвенно узнать и ея фамилію. Можетъ быть, это всѣмъ извѣстное и мнѣ извѣстное имя? Не знаю, не знаю! Она не была хороша, но была дурна. „Среднее"... Но красоты такъ много, на улицѣ, вездѣ. А души человѣческой такъ мало вездѣ же, и такъ помнится она, когда ее встрѣтишь...

„— Ну, Носарь съ Носарихой не долго потовариществуютъ: а *эта* полюбитъ разъ и разлюбитъ разъ. Жизнь, любовь, трудъ и могила".

Помню я разъ, въ Венеціи, разсматривалъ долго картину Тиціана: „Любовь земная и любовь небесная"... Какой-то длинный ящикъ, что-то въ родѣ католическаго „алтаря" или стола что ли, и по обѣ стороны его сидятъ двѣ эмблематическія фигуры—женщины. „Il amore celêste", „il amore terrestre"... Съ тѣхъ поръ я не умѣю не разграничивать эти двѣ красоты, и раза два въ жизни встрѣчалъ эти два типа красоты еще въ болѣе яркомъ противопоставленіи, чѣмъ дано у Тиціана. Вѣдь, достаточно назвать *такъ*,—о прочемъ самъ догадаешься. И здѣсь, обернувшись назадъ, „въ публику", и смотря на этихъ двухъ „подругъ въ революціи", (*эта* и жена Носаря), я повторилъ теперь въ себѣ:

— Amore celêste!

— Amore terrestre!

И—какъ изъ „катакомбъ"—изъ духовенства, откуда нибудь изъ приволжской далекой глуши, докатилась и запала эта звѣздочка въ „русское освободительное движеніе?"..

Запала... И кто знаетъ, не появится ли съ дымящимся оружіемъ здѣсь, тамъ?

Какъ мы вообще мало знаемъ.

Служба-съ, сударь вы мой, - служба! Въ 97-мъ году, когда я, въ чинѣ майора, служилъ въ Кіевѣ, мы лавливали такихъ! Теперь я полковникъ—и ловлю. Буду ген.-майоромъ—и буду ловить! тоже служба, милостивый государь, служба!

Папироска попыхиваетъ. Шпоры позвякиваютъ.

И куда, куда, „въ тѣсномъ союзѣ“ и „крѣпкихъ объятіяхъ“, понесешься *ты* съ этою amore terrestre или amore celêste?..

Голосъ у Носаря не громкій, не для публичнаго засѣданія. Это сейчасъ можно было почувствовать, когда 14-го октября послѣ его рѣчи, въ которой онъ отъ лица всѣхъ подсудимыхъ попросилъ судъ вернуть ихъ въ предварительное заключеніе, отказываясь въ дальнѣйшемъ участіи и присутствіи на судебномъ разбирательствѣ своего дѣла, — всталъ и сказалъ нѣсколько словъ Троцкій (псевдонимъ). Это еврей, по происхожденію крестьянинъ Херсонской губерніи, по образованію — университетскій. Какъ лицо Носаря типично филологическое, такъ лицо Троцкаго типично юридическое: онъ читаетъ, интересуется, агитируетъ въ сферѣ правовыхъ, экономическихъ вопросовъ, и все подъ угломъ математики и механики. Это крѣпкая, совершенно еще молоденькая, широкая фигура, съ большой волосатой головой. Но я заговорилъ о голосѣ и рѣчахъ: въ то время какъ Носарь что-то глухо и незамѣтно, не впечатлительно ни для кого *говорилъ*, Троцкій произнесъ всего нѣсколько словъ, но онъ именно *произнесъ*, а не проговорилъ ихъ. Публичная рѣчь, публичное сказываніе есть нѣчто не только не сходное, но во всемъ противоположное домашнему. Хотя говорятъ, что „oratores fiunt“, т. е. дѣлаются, приготовляютъ себя сами: но я убѣжденъ, что для этой „выдѣлки“, для самой ея возможности и успѣшности, нужна цѣлая серія прожденныхъ качествъ, хотя бы только и вспомога-

тельныхъ. „Ораторы" совершенно также „рождаются", какъ и поэты: хотя, конечно, и упражняются потомъ, какъ не обходится дѣло безъ „упражненій" и у поэтовъ. Ораторство требуетъ, я думаю, жёсткости души, нѣкоторой глухоты и притупленности всѣхъ ея высшихъ утонченныхъ даровъ; это что-то бронзированное, внѣшнее, крѣпкое снаружи и не драгоцѣнное внутри. Ну, могли ли бы мы представить себѣ Христа ораторомъ? А это—мѣра и прототипъ высшихъ душевныхъ свойствъ, сіяніе спиритуализма. Ораторами невозможно себѣ представить Пушкина, Жуковскаго, Гоголя; очень можно—Карамзина и Державина, Чернышевскаго. Словомъ, это совсѣмъ другой чеканъ человѣка: и я веду рѣчь къ тому, что ораторы, совершенно такъ же, какъ и поэты, „nascuntur", рождаются. Вернусь къ предмету своему: Троцкій *разрисовалъ* свои немногія слова, точно размазалъ ихъ по вниманію слушателей. И въ то время, какъ всѣ и весь судъ точно что-то шепталъ и шептался,— и маленькій прокуроръ и мокрый предсѣдатель,— этотъ наполнилъ небольшую залу звуками, которые были слышны въ послѣднемъ уголкѣ.

Я бы не передавалъ всѣхъ этихъ въ сущности пустяковъ, если бы они не привели меня къ недоумѣнію, довольно принципіальному, и которое важно будетъ рѣшить историку: *чѣмъ* же, *почему* же Носарь, при своей очевидной скромности и анти-публичности, такъ выдвинулся въ рабочей средѣ, сѣлъ на первое мѣсто и былъ виденъ *онъ* всей Россіи, тогда какъ другіе, шумные и крѣпкіе, скрадывались?! Не лежитъ ли разгадка въ томъ,

что я наблюдалъ вообще подсудимыхъ какъ въ *толпѣ*, отвлекаясь отъ личностей. Повторяю, въ толпѣ этой Носарь совершенно незамѣтенъ: замѣтишь многихъ другихъ раньше, чѣмъ его. Его надо выискивать всякій отдѣльный разъ, даже когда уже знаешь его въ лицо, когда вамъ указали „главнаго". „Главный", „главенство"... рѣшительно это несовмѣстимо со скромною фигурою, при высокомъ лбѣ съ большими „взлизами" на вискахъ, при негустыхъ и мягкихъ волосахъ, высоко поднятыхъ и все же легшихъ мягко въ самыхъ кончикахъ. Ни—прическа, ни не прическа. Вѣрно чешется „пятерней",—или же волосы, именно мягкіе, и безъ прически ложатся „какъ надо"...

Я заговорилъ о *толпѣ* ихъ. Есть „товарищъ"—и онъ родился изъ „товарищества". Сперва „товарищество", *духъ* товарищества, нравы его, бытъ его, вся его особенная и довольно требовательная и утонченная нравственность: и уже изо всего изъ этого рождаются мало-по-малу или ко всему этому примыкаютъ по-одиночкѣ „товарищи". Носарь едва ли что-нибудь себѣ требовалъ, добивался, интриговалъ: но всѣ почувствовали въ немъ пахѣтин „товарищескаго духа", и дали ему мѣсто, какъ *коллективному выраженію* себя, какъ человѣку, который будетъ не „себя" выражать и не „себѣ" искать, а будетъ какою-то *внутреннею душою* ихъ всѣхъ и всего ихъ дѣла. Рѣшительно, на Носаря никто не обращалъ болѣе вниманія, чѣмъ на другихъ; не было ни малѣйшей „отмѣтины" въ обращеніи съ нимъ сравнительно съ другими. „Какъ всѣ"; и „какъ со всѣми". По

странной молодости почти всѣхъ подсудимыхъ, многіе изъ нихъ, и именно самые молоденькіе, были явно тщеславны тѣмъ неудержимымъ тщеславіемъ, какого нельзя убить въ гимназистѣ, самомъ серьезномъ, миломъ и даровитомъ. Красные цвѣты въ петличкѣ пиджака или въ рукѣ—это черта задора и тщеславія. Не помню, видѣлъ ли я красный цвѣтокъ на Троцкомъ: но могу представить. Напротивъ, Носаря я совершенно не умѣю представить съ краснымъ цвѣткомъ и его, конечно, не было у него. Но тутъ мѣра. „Самъ не пошу, но никому не мѣшаю". „Товарищескій духъ", сколько я сужу по „Запискамъ" Стеняка и по нѣкоторымъ мемуарамъ въ „Быломъ", одною изъ великихъ притягательныхъ сторонъ своихъ имѣетъ эту постоянную, но необыкновенно деликатную критику и самокритику, которая поправляетъ другого, *никогда его не оскорбляя*.

Во всѣхъ, теперь уже многочисленныхъ, мемуарахъ нѣтъ ни слѣда хотя бы малѣйшей *личной обиды*, нанесенной кому-либо; нѣтъ обиженнаго; и нѣтъ обидчивости. „Ссоры Ивана Ивановича съ Иваномъ Никифоровичемъ",—увы, символизирующей всю русскую жизнь, и которую вы отыщете совершенно въ равной мѣрѣ у русскихъ министровъ и у русскихъ сапожниковъ, у журналистовъ и у священниковъ,—этой пресловутой ссоры по пресловутому поводу здѣсь не только нѣтъ, но она и умерла какою-то вѣчною смертью, безъ воскресенія. Причина этого заключается какъ кажется въ огромномъ сосредоточенномъ вниманіи на большихъ дѣлахъ, большихъ темахъ, на „общемъ

дѣлъ", которому всѣ должны быть вѣрны и преданы; затѣмъ—на предоставленіи полной личной свободы во всемъ, что этого „общаго дѣла не касается". Мало сказать въ „предоставленіи свободы:" въ какомъ-то уваженіи, въ какой-то любви и бережливости ко всему остальному міру „товарища", его особому, личному, капризному и напр. самолюбивому. Мы въ качествѣ Ивановъ Ивановичей и Ивановъ Никифоровичей постоянно желчно грыземъ другъ друга за это, напр., хотя бы самолюбіе, за „мелочность", „тщеславіе" и вообще недостаточную „добродѣтель" и „серьезность". Просто мы не умѣемъ быть *милыми* другъ другу, и въ силу этого органически неспособны поступать по пословицѣ: „не по-хорошему—мило, а по-милому—хорошо". У нихъ—потому вѣроятно, что дѣло ихъ трудновато и рисковано,—уже самая принадлежность къ „товариществу" создастъ для всякаго этотъ основной фондъ „милаго", „милости", „милованія",—на фонѣ котораго и разрабатываются эти отношенія съ подчеркнутыми мною особенностями. Далѣе,—и здѣсь-то и лежитъ одна изъ причинъ притягательности всего „освободительнаго движенія" для множества людей,—входя въ сферу такихъ отношеній къ себѣ, каждый дѣйствительно чувствуетъ себя здѣсь менѣе оскорбленнымъ, менѣе сдавленнымъ, менѣе, по человѣчеству, униженнымъ, чѣмъ гдѣ бы то ни было въ другомъ мѣстѣ и въ другомъ состояніи, въ составѣ чиновниковъ, духовныхъ, писателей, артистовъ, гдѣ бы то ни было. Отсюда, отъ этой меньшей униженности и даже отъ совершенно обратнаго этому отноше-

нія къ себѣ такъ жадно и бѣгутъ сюда униженные инородцы, эти „незаконнорожденныя дѣти“ государственности, и болѣе всѣхъ другихъ „нархатые евреи“, которые не только въ правахъ, но и въ самомъ быту вездѣ оскорбляемы. Бѣгутъ — и забываютъ свою родину, родоначальныя сѣдыя генеалогическія дерева; вѣрнѣе — не забываютъ, но болѣе и не настаиваютъ на нихъ. Кто только вглядывался ближе въ движеніе, вглядывался не черезъ очки печатной бумаги, а въ натурѣ, знаетъ непререкаемымъ образомъ, что только „ковачи нашей свободы“, они *одни*, не римляне, не греки, не нѣмцы, не англичане, не французы — сумѣли побѣдить, сумѣли истребить страшную отъединенность евреевъ, страшную ихъ замкнутость и недовѣріе ко всѣмъ инородцамъ, чужакамъ, инокультурникамъ; ко всѣмъ, кто „не мы“. Здѣсь только, въ первыхъ лучахъ русской свободы, они впервые почувствовали себя „дома“, не чужаками, не оттолкнутыми; и сказали: „здѣсь намъ хорошо— и мы не хотимъ быть больше *мы*“ или „только *мы*“; „здѣсь мы—*со всѣми*“.

— Мы, папаша, съ вами не сходимся въ убѣжденіяхъ, а потому я переѣзжаю на квартиру. Денегъ мнѣ не нужно, а только позвольте мнѣ приходить обѣдать.

Это одна фраза, услышанная старымъ евреемъ отъ молодого. Другая была еще рѣзче:

— Ахъ ты, жидовская морда! Я знаю, что̀ у тебя на умѣ и что ты ко мнѣ придираешься: ты бы уже давно меня женилъ, и тебя манитъ поиграть съ моими дѣтьми... Уѣзжаю!..

Эти двѣ фразы съ большимъ смѣхомъ мнѣ передалъ сербъ: ну, какими мѣрами и за какіе милліоны государство купило бы это душевное растворе́ніе еврейскаго духа, еврейской плоти—въ русской стихіи?! Тутъ уже, въ этихъ словооборотахъ—все русское, все отъ плоти и духа Д. И. Писарева и Ник. Добролюбова. Вотъ какъ колесо исторіи вертится и катится туда, куда мы его не гнали, и никакъ не можетъ докатиться туда, куда мы его и улащивали и подхлестывали ѣхать. Пришло *объединеніе* — да не справа, а слѣва: и „растворились въ русской стихіи“,—но не въ славянофильской, а въ Писаревской. „Кто хочетъ пріобрѣсти душу свою—пусть *потеряетъ* се“: самъ-то Писаревъ только и писалъ, что о Контѣ, Бюхнерѣ и Дарвинѣ, и какъ будто потерялъ всякую „народность“. *Потерялъ самъ*: но сколькихъ *пріобрѣлъ для русской народности!*

* * *

Вотъ впереди меня, на скамьѣ, сидитъ Рубинчикъ (какая фамилія!), еврейка-свидѣтельница. По росту, совсѣмъ крошечному, живости движеній—совсѣмъ гимназистка, даже не старшихъ классовъ: только лицо (въ выраженіи, не въ лѣтахъ), зрѣлое, и даже перезрѣлое. Сухое, дѣльное, пронырливое. „Въ щель пролѣзетъ“ и изъ „воды суха выйдетъ“. Будешь топить -не утопишь. Мнѣ сообщили, что эта, совсѣмъ по возрасту гимназистка, очевидно не старше 25 лѣтъ, ушла вся „въ движеніе“ и играетъ въ немъ видную и отвѣтственную роль. Подъ „движеніемъ“ я не разумѣю, впрочемъ, какой-

нибудь конспиративности,—а совершенно открытую и правомѣрную дѣятельность, только направленную къ свободѣ. Мнѣ назвали одинъ изъ самыхъ видныхъ и громкихъ профессіональныхъ союзовъ, гдѣ она состоитъ членомъ правящаго Совѣта. „Вотъ и такихъ маленькихъ берутъ“... Да и какъ не взять, когда въ водѣ „не тонетъ“, въ огнѣ „не горитъ“...

Сзади, на аршинъ отъ меня, въ группѣ около г-жи Посарь и той миловидной женщины-дѣвушки, что я описалъ выше, стояла темная старуха. Большой ротъ ея, раскрываясь при разговорѣ, обнаруживалъ совершенное отсутствіе верхнихъ зубовъ, и 2-3 зуба въ нижней челюсти. „Что она ихъ не вставитъ: это такъ безобразно!“ Она была очень спокойна, медлительна, и все въ ней было плавно. „Вѣрно помѣщица, затесавшаяся въ пропаганду“. Была очень скромна: при малѣйшемъ движеніи кого-нибудь встава́ла и давала дорогу. Фигура крупная, вся въ черномъ, воротничка нѣтъ. „Вотъ старая игуменья, попала въ среду молоденькихъ. Да кто она?“

— Вѣра Засуличъ,—вы не знаете? Она судилась въ этой самой залѣ. И вотъ этотъ сѣдой судебный приставъ и тогда былъ приставомъ. Все другое перемѣнилось... Сколько перемѣнъ!

„— Сколько перемѣнъ!“ сказалъ и я въ душѣ.

* * *

Я пропускаю сказать объ одной Палладѣ въ „публикѣ“, занявшей и мой глазъ и мои догадки... Она переговаривалась съ подсудимыми, т. е. тоже была изъ женъ или сестеръ. Я не буду говорить

о ней, ибо это вић исторіи и политики. Сестрой и другомъ умѣю ее представить себѣ, женою—нѣтъ. Есть такія врожденныя и вѣчныя дѣвственницы. Въ коридорѣ уже я замѣтилъ, что она одѣта очень хорошо. Вся въ черномъ же, какъ „онѣ всѣ“ (тоже форма!): но станъ высокій, полный, величественный охваченъ широкою, въ 1/4 аршина, шелковой лентой, съ какою-то бѣлою на немъ работой, и отъ него два длинные, почти до полу, конца падаютъ сбоку и сзади. Есть кокетство и въ революціи: но зачѣмъ оно ей, когда она такъ хороша?! „Должно быть она знаетъ, что хороша“. Насколько Рубинчикъ была мала, мелка въ тѣлѣ, настолько эта значительна, породиста. Смуглая, но не очень: русская. Видно было, однако, по частымъ и обильнымъ переговорамъ ея съ разными подсудимыми, что она довольно плотно вошла въ „дѣло“ и вообще не со стороны и не случайно забрела сюда. Съ ней говорили и адвокаты и судебные пристава. Вообще „своя“ и „среди своихъ“.- -Но что она дѣлаетъ въ движеніи, когда ей стоять бы гдѣ-нибудь статуею на акрополѣ, какъ Аѳина-Промахосъ, съ горящимъ на утреннемъ солнцѣ золотымъ копьемъ?!

Не знаю, что дѣлаетъ. Видно только, въ общемъ охватѣ глаза, что много таланта, силы вобрало въ себя движеніе... И ходятъ здѣсь думушки завѣтныя и страсти буйныя.

— Какая же сила *у этой?* Да сила страсти, не личной, не *своей* и не для *кого-нибудь:* а какъ *общаго фонда,* всѣмъ *нужнаго* и вездѣ *расточаемаго,* а въ борьбѣ роковой нужной удвоенно. Такъ мо-

ряки-аѳиняне ничѣмъ *не пользовались* отъ стат
Воительницы-Дѣвы: но далеко-далеко она была ви
на съ моря, еще отъ мыса Сунія. И они направлял
корабль по полосѣ золотистаго ея копья, говоря

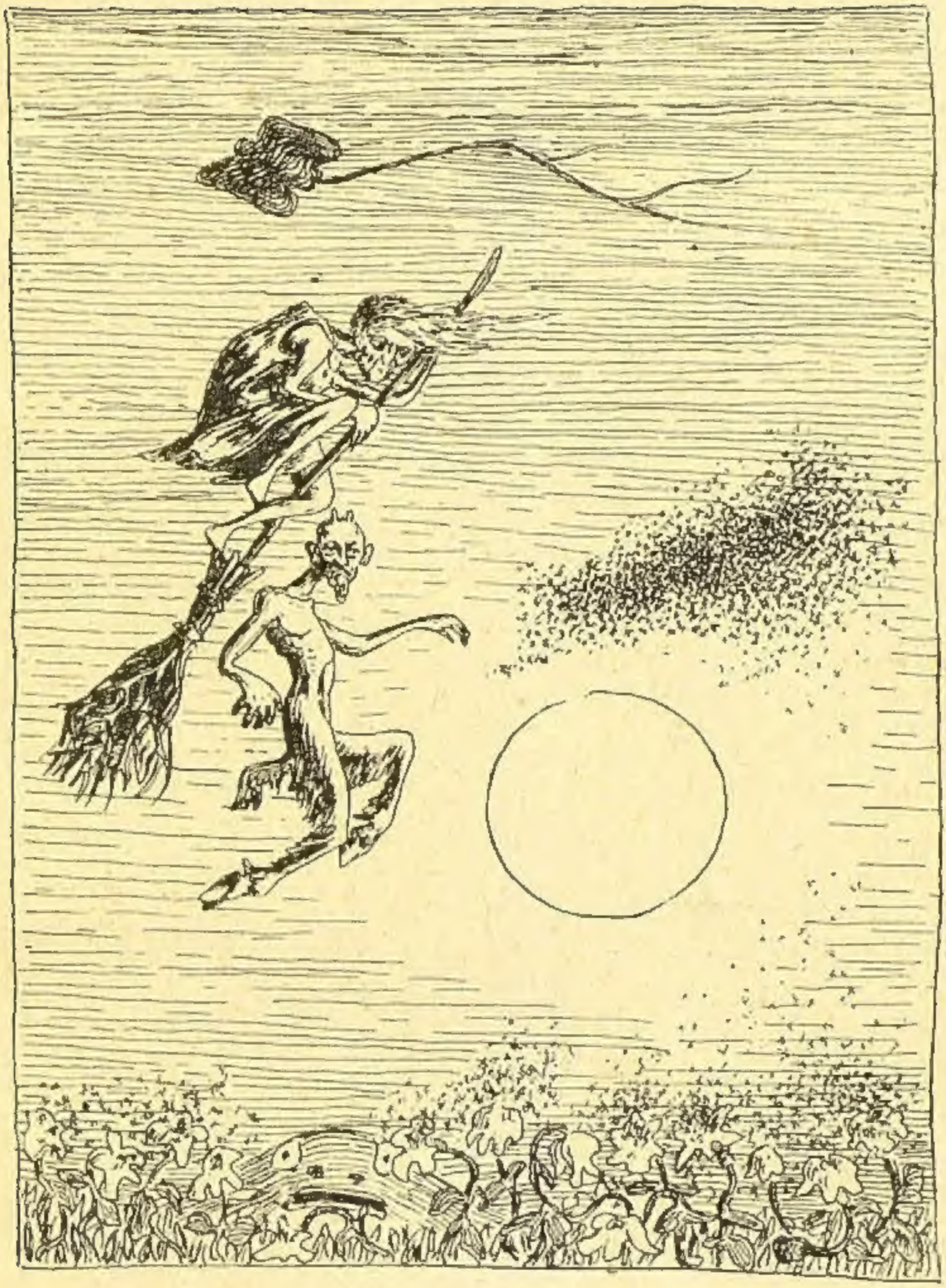
— Тамъ Аѳины!

Вотъ и только. И нужно. И вѣчно.

# 1907—1910 гг.

Увы...

Что же случилось?



# Цѣна 2 р.

Во всѣхъ извѣстныхъ книжныхъ магазинахъ
продаются слѣдующія

## книги В. В. РОЗАНОВА:

**ИТАЛЬЯНСКІЯ ВПЕЧАТЛѢНІЯ.** Римъ. — Неаполитанскій заливъ.—Флоренція. — Венеція. — По Германіи. — Съ рисунками Л. С. Бакста и тремя видами Пестума. Ц. 1 р. 50 к.

**ЛЕГЕНДА О ВЕЛИКОМЪ ИНКВИЗИТОРѢ.** Ѳ. М. Достоевскаго. Опытъ критическаго комментарія. Съ приложеніемъ двухъ этюдовъ о Гоголѣ. Изд. 3-е. Ц. 1 р. 50 к.

**ЛИТЕРАТУРНЫЕ ОЧЕРКИ.** Ц. 1 р.

**СУМЕРКИ ПРОСВѢЩЕНІЯ.** Ц. 1 р.

**ПРИРОДА И ИСТОРІЯ.** Изд. 2-е. Ц. 1 р.

**РЕЛИГІЯ И КУЛЬТУРА.** Изд. 2-е. Ц. 1 р. 20 к.

**ВЪ МІРѢ НЕЯСНАГО И НЕРѢШЕННАГО** (полъ и христіанство). Изд. 2-е. Ц. 1 р. 50 к.

**СЕМЕЙНЫЙ ВОПРОСЪ ВЪ РОССІИ.** 2 т. Ц. 4 р. 50 к.

**ОКОЛО ЦЕРКОВНЫХЪ СТѢНЪ.** 2 т. по 2 р. за томъ.

**ОСЛАБНУВШІЙ ФЕТИШЪ.** Психологическія основы русской революціи. Ц. 20 к.

2007053239